

**неприкосновенный
запас** ДЕБАТЫ О ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ

2

136 ²⁰²¹

* переплетения:
восстанавливая анимизм
* арабский мир
на фоне пандемии,
десакрализации и войны



неприкосновенный запас 2 [136] 2021

ДЕБАТЫ О ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ | выходит шесть раз в год | издается с сентября 1998 года

АРХИВ «НЗ»	003	АЛЕКСАНДР КУСТАРЕВ. Кризис бескризисного общества
	013	ФРЕДЕРИК БЕК, УИЛЬЯМ ГОДИН. Русская чистка и получение признаний. Глава VIII «Теории»
ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ: АНИМИЗМ И ЖИЗНЬ ЛИНИЙ	031	ТИМ ИНГОЛЬД. Погружая вещи в жизнь: творческие переплетения в мире материалов
	050	ДЕНИС ШАЛАГИНОВ. Ни сети, ни ассамбляжи: одушевляя вещи с Тимом Ингольдом
	065	ЕВГЕНИЙ КУЧИНОВ. Техника и смерть. Реферативные заметки о техно-анимизме во спасение души
	080	ИЗАБЕЛЬ СТЕНГЕРС. Восстанавливая анимизм
ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ: ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ	095	СЭМЮЭЛЬ БАТЛЕР. Дарвин среди машин
	101	ВЛАДИСЛАВ ДЕГТЯРЕВ. Коллаж, механизм и руина. Механическое <i>versus</i> историческое
ИНТЕРВЬЮ «НЗ»	117	Нет такой вещи, как теория. Беседа РИЧАРДА МАРШАЛЛА со СТИВЕНОМ ФРЕНЧЕМ
ПОЛИТИКА (СОВЕТСКОЙ) КУЛЬТУРЫ	131	ВАДИМ МИХАЙЛИН. Знаки на стене: первый фильм Андрея Тарковского и советский <i>New Age</i>
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИРИКА	162	Тайное божество бюрократии <i>Страницы</i> АЛЕКСЕЯ ЛЕВИНСОНА
АРАБСКИЙ МИР НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ, ДЕСАКРАЛИЗАЦИИ И ВОЙНЫ	166	ШТЕФАН ВЕЙДНЕР. Вирус и террор: о невысказанных и пугающих сходствах между коронавирусным кризисом и «войной с террором»
	195	АНДРЕЙ ЗАХАРОВ, ЛЕОНИД ИСАЕВ. Королевство Марокко, бюрократизация ислама и новая «арабская весна»
	221	МАРГАРИТА МЕДВЕДЕВА. Социальная политика движений «Талибан» и «Хизбалла» как способ их легитимации
ИНТЕРВЬЮ «НЗ»	235	«Текст далеко не всегда совпадает с истиной». Беседа ДМИТРИЯ ЕРМОЛЬЦЕВА с РУСТАМОМ ШУКУРОВЫМ

ПОЛИТИКА (СОВЕТСКОЙ) КУЛЬТУРЫ	249	ИГОРЬ СМЕРНОВ. Московский концептуализм и исторический авангард, или Деконструкция деконструкции
НОВЫЕ КНИГИ	269	ИГОРЬ КОБЫЛИН. Грешники в раю, или Невыносимая легкость коммунистического бытия
	283	АЛЕКСАНДР ЛЮСЫЙ. Все включено
	293	Рецензии
SUMMARY	310	

Главный редактор
Ирина Прохорова

Шеф-редактор
Кирилл Кобрин

Редакторы
АНДРЕЙ ЗАХАРОВ
АНТОН ЗОЛотов
ИГОРЬ КОБЫЛИН

Дизайн
ДМИТРИЙ ЧЕРНОГАЕВ
АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО

Корректор
МАРИНА АЛХАЗОВА

Маркетинг, PR и реклама
АЛЕКСАНДР СУСЛОВ
Тел. +7 (495) 229 91 03
e-mail: alexandersuslov@
nlobooks.ru

Почтовый адрес редакции
123104, Москва,
Тверской бульвар, д. 13, стр. 1.
тел./факс: +7 (495) 229 91 03
в Санкт-Петербурге:
тел./факс: +7 (812) 579 50 04

e-mail:
nz@nlobooks.ru
электронная версия
журнала:
www.nlobooks.ru/nz
member of
the eurozine network
www.eurozine.com

Подписка по России:
Агентство «Роспечать»:
подписной индекс 45683

Зарубежная подписка:
Kubon & Sagner,
Hesstr. 39/41,
80798, München, Germany
Tel.: +49-89-54-218-130
Fax: +49-89-54-218-218
e-mail:
postmaster@kubon-sagner.de
www.kubon-sagner.de

ISSN 1815-7912
ISBN 5-86793-053-x
«Неприкосновенный запас»
Лицензия на издательскую
деятельность:
серия ЛР № 061083
от 6 мая 1997 г.

Свидетельство о регистрации
средства массовой
информации:

Серия ПИ № 77-7546 от
5 марта 2001 г.

Периодичность: 6 раз в год.

© 000 Редакция журнала
«Новое литературное
обозрение»

Москва, 2021

Кризис бескризисного общества

АЛЕКСАНДР
КУСТАРЕВ

Мы имеем новое социалистическое общество, не знающее кризисов.

Сталин (1936)

Бравурная декларация товарища Сталина была бы смешной, не произнеси он ее в разгар самого мрачного эпизода советской истории. Сталин либо обманывал всех (включая самого себя), либо не заметил кризиса – не заметил, по всей вероятности, потому, что управляемое им общество попросту никогда из кризиса не выходило. Чтобы попытаться определить существо этого кризиса, я хотел бы обратиться к фрагменту одной работы о практике «чисток» в СССР 1930-х – работы, до сих пор не востребованной. Это книга «Русская чистка и получение признаний», опубликованная в 1951 году. Ее написали Фридрих Хоутерманс и Константин Штеппа (Штепа) под псевдонимами Ф. Бек и У. Годин¹.



- 1** БЕСК F., GODIN W. *Russian Purge and Extraction of Confession*. New York: The Viking Press, 1951. P. 214–277. Я положил глаз на эту работу лет тридцать назад. Неоднократно предлагал разным изданиям организовать ее обсуждение, последний раз десять лет назад. Признаюсь, что мою инициативу сдерживало отсутствие русского перевода; я не хотел сам тратить время на работу, с которой справился бы любой аспирант. И не хотел комментировать этот текст в одиночку, уверенный в том, что без авторитетной поддержки моя инициатива останется абсолютно бесплодной. Недавно обстоятельства сложились так, что мне оказалось удобнее сделать перевод самому. Время уходит, и я возвращаюсь к идее ввести текст Бека и Година в оборот – будь, что будет. Полный текст главы из книги Бека и Година я помещаю в блоге *aldonkustbunker*.

АРХИВ «НЗ»

003

Александр Кустарев (р. 1938) – историк, социолог, независимый публицист, до эмиграции из СССР (1981) занимался проблемами экономического развития стран «третьего мира», в 1980–1990-х годах работал в русской службе Би-би-си, в 1997–2006 годах – ведущий научный сотрудник Института русской истории РГГУ. Колумнист журнала «Неприкосновенный запас».

Связь феномена массовых репрессий с феноменом российской («советско-союзной») социалистической государственности до сих пор остается не артикулированной достаточно содержательным образом. Какое-то время два этих явления вообще никак не соединялись.

Довольно долго масштабы репрессий просто не были известны. Слухам о них западная общественность не хотела верить отчасти потому, что открывавшаяся картина выглядела шокирующей и неправдоподобной, а отчасти – из-за собственных антикапиталистических настроений и надежды, что капитализму есть альтернатива и она реализуется в СССР. Когда же феномен репрессий оказался у всех на виду, да еще и был по инерции раздут до гомерических масштабов, его быстро объявили объясненным с помощью концепции тоталитаризма и антикоммунистических представлений о революции и большевизме как о греховных патологиях сознания – с оттенком либерально-демократического благомыслия (Роберт Конквест), антропологического пессимизма (Абдурахман Авторханов) или старорежимной «белой» идеологии (Александр Солженицын).

Теперь тоталитаризм исчез из советологического мейнстрима, «Большой террор» Конквеста подвергся критике; об Авторханове – авторитетном, кстати, только в России – просто забыли, а «Архипелаг ГУЛАГ» даже в России никогда не имел научно-исследовательского статуса – он «Архипелагу» и не нужен.

Однако заменить эти объяснительные версии до сих пор нечем. В России интерпретации репрессий по-прежнему остаются на уровне «разоблачений – обвинений – оправданий» разных действующих лиц и их идеологий и в сущности (вот ирония!) сводятся к тому же, к чему сводились поиски «виновных» в ходе самих репрессий. А зарубежная советология останавливается на уровне наблюдений, которые, часто будучи вполне содержательными, неоправданно претендуют на статус теории, недостаточность которой, правда, тут же глобокомысленно оговаривается. В случае интерпретации «советского феномена» академия особенно не преуспела, поскольку почти всю свою энергию потратила на добычу фактов, долгое время остававшихся недоступными. А когда они стали доступны, увлеклась их экзальтированным и даже злорадным мушкетированием. Российское обществоведение как род занятий было подавлено. А свободная западная «советология» очень мало обращалась при изучении своего объекта к тому же самому аппарату, который использовался для изучения западных

blogspot.com. Ее очень краткий пересказ сделал в своем блоге Игорь Петров в 2011 году: <https://labas.livejournal.com/924404.html>.

обществ². Отчасти вследствие слишком узкой специализации, а отчасти в силу предрассудочного мнения, будто «абсурд» советской действительности не поддается рациональному толкованию. Подсознательно искалась такая теория, которая подтвердила бы уникальность «феномена России» и противоположность советского опыта опыту всемирному. Между тем фактура, на которую мы смотрим теперь издалека и со стороны, не равна самой себе. Все, что произошло в ходе возникновения-становления феномена, именуемого «советским обществом» или «советским государством», – это эпизод социогенеза и подлежит интерпретации в соответствующих дискурсах.

Книга Бека и Година подталкивает наше воображение именно в этом направлении. Она не отличалась бы от других мемуаров бывших заключенных, если бы не ее последняя (VIII) глава, названная авторами «Теории»³. В ней изложены разные объяснения репрессий, имевшие хождение среди самих репрессированных. Идея записи подобного фольклора принадлежит скорее всего Константину Штеппе (Годину), поскольку точно такая же глава есть в его собственном – вероятно, более раннем – сочинении «Ежовщина»⁴. Но в «Русской чистке» она в три раза больше по объему и гораздо богаче содержанием.

У этого уникального текста есть с точки зрения исследователя несколько достоинств. Стоит начать с того, что он интересен как материал *sui generis*. В сущности это коллекция интеллектуального фольклора, то есть продукта народного сознания. Его можно использовать как своего рода документ восприятия и толковать в понятиях социологии знания. Тем более, что Бек и Годин уже это делают сами, примешивая к сделанному ими пересказу некоторые собственные соображения по поводу ментальности своих информантов и мотивации их

АЛЕКСАНДР КУСТАРЕВ
КРИЗИС БЕСКРИЗИСНОГО
ОБЩЕСТВА

- 2 Насколько мне известно, единственный, кто попытался контекстуализировать советский опыт в дискурсе социологии был Джерри Хаф: Hough J.F. *The Soviet Union and Social Science Theory*. Cambridge: Harvard University Press, 1977 (особенно важна глава «The Comparative Approach and the Study of the Soviet Union», р. 222–240). Но дело у него ограничилось хорошо всем знакомой трактовкой советского общества как бюрократического *par excellence* с обычными ссылками на Макса Вебера и Баррингтона Мура, а также не развернутой как следует реминисценцией «концепции власти» со ссылкой на Роберта Даля. Слово *purges* в предметном указателе отсутствует: такое впечатление, что автор не счел, что «чистки» вообще заслуживают внимания социологии.
- 3 В необозримой литературе о репрессиях книга Бека и Година вообще почти никогда не упоминается. Один из немногих упомянувших эту работу был Джон Арч Гетти. Но то, как он это сделал, может только отбить у читателя интерес к ней. Гетти, говоря о тюремно-лагерных мемуарах «эмигрантов-перебежчиков», указывает на их ненадежность и добавляет, что «они дают некоторое представление о том, как лагеря выглядели, но не объясняют, как они возникли». И упоминает книгу Бека и Година как образец этого жанра: GETTY J.A. *Origins of the Great Purges. The Soviet Communist Party Reconsidered, 1933–1938*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, Р. 213, 266. И так аттестована чуть ли не единственная вообще мемуарная книга, где именно такая попытка сделана! Невозможно было выбрать менее подходящий пример. Это граничит с диффамацией.
- 4 См.: Штеппа К. *Ежовщина* (www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1810). Когда эта работа была написана, не сообщается. Я предполагаю, что раньше, чем совместная с Беком книга. Иначе зачем было выбрасывать из главы в «Русской чистке» самые интересные места? Вызывает удивление и то, что публикаторы работ Штеппы в Интернете ни разу не упоминают его сотрудничество с Хоутермансом.



дискурсивных упражнений. В этом качестве коллекция Бека и Година обогащает наши представления об умственной жизни советского общества.

Но еще интереснее другое. Некоторые записанные Беком и Годиным теории сталинских репрессий, хотя и не имеющие (по своему происхождению) формального сертификата «научности», своим интеллектуальным качеством заметно превосходят множество более поздних работ, подобный сертификат имеющих. Отчасти это объясняется тем, что среди собеседников Бека и Година были образованные люди с развитыми познавательными рефлексами и навыками аналитического суждения. Интеллигентский умственный фольклор – это не то же самое, что фольклор простого обывателя, даже умудренного опытом. Нередко это устные наброски того, что в нормальных условиях могло бы стать письменным текстом, сделанным по всем правилам рационального дискурса. Так, например, в одном случае Бек и Годин ссылаются на российского профессора истории, получившего образование еще до революции под руководством видного историка, после революции из России уехавшего⁵; в другом месте – на иностранного ученого и священника, приехавшего в СССР строить социализм. В некоторых фрагментах Бек и Годин – нарушая, конечно, правила регистрации фольклора – явно добавляют кое-что от себя, а по крайней мере две из семнадцати воспроизводимых ими теорий принадлежат одному из них (или обоим) полностью.

Так или иначе, в коллекции Бека и Година обнаруживаются несколько тезисов, которые они ввели в оборот раньше всех, за что авторам «Русской чистки» следует воздать должное. Кроме того, у них можно найти и такие интерпретации, которых до сих пор нет в нынешнем каноническом наборе объяснений того, что произошло в СССР между 1930-м и 1955 годом⁶, и которым вполне можно приписать статус научных высказываний. Дальнейшая разработка (или доработка) этих тезисов и их систематизация в форме целостного представления о «советском феномене» я надеюсь, еще предстоят. Теперь же для примера я хотел бы обратить внимание лишь на один из них. Вот несколько коротких извлечений из текста Бека и Година (с указанием страниц их книги).

«Класс чиновников, как и всякий другой господствующий слой, стал искать способ обезопасить свои позиции; нетрудно себе пред-

5 Возможно, здесь имеется в виду сам Константин Штеппа, поскольку он учился в Петербургском университете у Михаила Ростовцева. В некоторых местах хорошо заметна эрудиция, явно зависящая от тематики штудий Ростовцева.

6 Краткий обзор этого канонического набора см. в: Юнге М., Биннер Р. *Как террор стал большим. Секретный приказ № 00447 и технология его исполнения*. М.: АИРО-XX, 2003. С. 208–216. Сравните этот обзор с семнадцатью теориями в коллекции Бека и Година. Последняя намного интереснее.

ставить, что центральная власть, наоборот, этого не хотела. Подавляя этот класс, Сталин мог опереться не только на массу молодых партийцев, для которых между прочим это открывало неожиданные карьерные возможности, но так же и на широкие народные массы, которые всегда рады наблюдать падение тех, кто живет в роскоши, особенно если это их же высоко взлетевшие товарищи» (р. 255).

«Одна из главных характеристик правящего класса – это долговременность и наследственность его власти. И вот этого как раз мы не обнаруживаем у советских чиновников. Мы обращали внимание на усилия этой группы превратиться в настоящий класс через монополию на образование, nepотизм и другие средства. Это задало импульс развитию всей советской системы. Но мы также обратили внимание на силы, пытавшиеся помешать этому. Во всех бюрократических обществах прошлого, где власть была прерогативой должности, те, кто занимал определенное должностное положение, должны были бороться с деспотической [верховой] властью [power], чтобы получить неотчуждаемый статус аристократии и превратить свое должностное положение из временного в постоянное» (р. 261).

«Советское общество, в котором власть оказалась в руках выдвинутого массами чиновничества, столкнулось в 1930-е годы с той же проблемой. Чисто идеологические обязательства и поначалу весьма скромный потолок зарплаты, положенной членам партии, от которых ожидалось еще дополнительные усилия без привилегированных компенсаций, оказались совершенно неадекватны. Новая каста чиновников делала все, чтобы воспользоваться материальными преимуществами, которые ей давал контроль над социалистической собственностью. Эта каста в первом поколении еще не имела возможности превратиться в правящий класс. Она также испытывала давление снизу: нижний слой партии завидовал ее привилегиям. Центральная власть ясно это увидела и почувствовала угрозу собственной безопасности в возникновении новой касты мандаринов. И казалось очевидным, что этих людей следовало ликвидировать. Это была блестящая стратегия. Бюрократическая структура государства сохранялась нетронутой. Преемники смещенных и арестованных автоматически получали привилегии, связанные с занятием должности: они въезжали в освободившиеся квартиры и получали в распоряжение личное имущество своих репрессированных предшественников. Перед армией мелких служащих открывались возможности быстрого продвижения вверх, на что иначе ушли бы десятилетия» (р. 263).

«Индивид поднимается со дна и затем опускается туда обратно. Таким образом ему не позволяли обеспечить себе и своей семье надежного существования. А возможность такое существование обеспечить – это одна из важнейших характеристик принадлежности к правящему классу. [...] Пока работает механизм заполнения вакансий, никакое постоянное по составу классовое

АЛЕКСАНДР КУСТАРЕВ
КРИЗИС БЕСКРИЗИСНОГО
ОБЩЕСТВА



образование, аналогичное знати или буржуазии, руководящим феодальным или капиталистическим государством, возникнуть не может. Малочисленную постоянную группу, отправляющую верховную власть, сравнительно легко защитить – в частности, потому, что непрерывные перемены в более низких эшелонах власти ослабляют их и не позволяют им бросить вызов вышестоящим эшелонам» (р. 266).

В приведенных фрагментах на разные лады муссируется одна мысль. В сообществе, возникающем на пустом месте, появляются (создаются) иерархически расположенные социальные роли. Индивиды и коллективные агенты (в разной мере консолидированные) стремятся присвоить себе верхние позиции в ролевой иерархии, использовать их для обогащения и сохранить их навсегда хотя бы для самих себя, а иногда и с правом передачи по наследству.

Теперь посмотрим, как выглядит процесс самоорганизации сообщества в социологии власти Макса Вебера⁷. Этот процесс начинается с креативного акта, который Вебер обозначает как явление харизмы. Центральный персонаж здесь – харизматический вождь (лидер), способный так или иначе внушить своему окружению готовность подчиняться. Но личная живая харизма недолговечна, и, чтобы ее организующий импульс не угас, она должна рутинизироваться, преобразуясь в наследственную. При этом рутинизируется и штаб управления:

«Только в момент зарождения харизматической власти небольшой слой восторженных учеников [*Jünger*] и приближенных соратников [*Gefolgenschaft*] готов видеть смысл своей жизни в идеалистическом служении вождю. Масса нуждается в длительном материальном обеспечении – иначе она разбежится».

Поэтому рутинизация харизмы сопровождается присвоением права на господство и на извлечение дохода с занимаемой позиции: «Харизматические нормы могут легко преобразоваться в традиционно-сословные (наследственно-харизматические) [характеристики]»⁸. Такова идеальная траектория рутинизации харизмы; такова логика социогенеза.

Реальное становление нового модуля власти затенено социальным конфликтом сложной конфигурации. Его участниками являются постоянно возникающая живая (личная) харизма и институты рутинизированной харизмы (харизмы крови и харизмы должности). Две рутинизированные харизмы конфликтуют друг с другом и вместе противостоят личной. Конфликт разворачивается как в центре модуля господства, так и в расходящихся от него концентрических кругах.

7 См.: WEBER M. *Wirtschaft und Gesellschaft*. Tübingen: Mohr, 1972.

8 Ibid. P. 144–145.

Конфликт между личной харизмой (изначальной и всегда могущей вновь возникнуть в дальнейшем) и харизмой должности хорошо виден в случае появления новой религии. Например, приверженцы первоначального христианства наделены личной харизмой как секта одержимых. В дальнейшем эта харизма рутинизируется как харизма должности (*Amtscharisma*), или институциональная харизма. Причт (сверху донизу) почитается независимо от его личных свойств, потому что он обладает харизматической аурой занимаемого места. Только так, говорит Вебер, была возможна бюрократизация церкви. Как харизматический институт иерократия претендует на политическую власть. Харизма церкви как учреждения радикально отвергается протестантизмом, возрождающим, в сущности, традицию первоначального христианства. На Западе борьба между ними после инициативы Лютера и раскола приобретает геополитическое измерение.

В общем, между всеми харизмами возникает напряжение (в истории долгое время главное значение имел конфликт между военной и храмовой знатью). Штаб управления привязан к господину или обычаем, или материально, или идейно. Если традиция слаба, а харизма господина угасла, то только привилегии могут сохранить верность штаба своему лидеру. А это затем приводит к автономистским тенденциям привилегированного слоя. Так обстояло дело с европейским феодализмом.

Чтобы противостоять иерократии, наместникам и вообще любым агентам присвоенной власти (*appropriierte Gewalt*), господин создает параллельный штаб управления. Если он опять привяжет его к себе привилегиями, то и параллельный штаб может превратиться затем в новую элиту, вступающую в борьбу не только со старой, но и со своим создателем. А если параллельный штаб управления основан на полном отделении собственного штата от средств управления, то появляется новый игрок – бюрократия. Но и это не все:

«С упадком первоначальных магической и военной функций вперед выходит экономическая функция. [...] Перестройка харизматического господства в чисто плутократическое приводит к появлению еще одного участника социального конфликта»⁹.

Перекрестно-круговая борьба между всеми этими игроками, ведущаяся не только за привилегии и силовое преобладание, но и за само существование, идет, как правило, с переменным успехом. То обостряясь, то затухая, она сопровождается компромиссами, слияниями и расколами. В ходе этой борьбы соперничают тенденции к теократии и цезаропапизму, к уни-

9 Ibid. P. 679.



тарности и федеральности. Сталкиваются самые разные варианты использования господства и разграничения сфер управления, разные способы поддержания баланса и порядка. Ход и результаты этой борьбы везде накладывают отпечаток на характер государства и общества.

Эти наблюдения сами по себе еще не теория. В теорию они превращаются, когда утверждается, что *так бывает всегда*, что такова одна из закономерностей социогенеза. Или, говоря словами Вебера, «типичный в истории процесс»¹⁰. Или, как пишут Бек и Гордин:

«И, стало быть, мы не считаем, что происходившее в Советском Союзе во время Ежова представляет собой что-то особое и небывалое в истории. Наоборот, это был лишь особенно шокирующий [*particularly gross*] вариант того, что всегда происходит в бюрократическом государстве» (р. 267)¹¹.

Сходство дискурса Вебера, с одной стороны, и Бека с Годиным, с другой, очень заметно. Респонденты Бека и Година в изложении последних, а поскольку нам известно только изложение, то можно сказать, что и сами авторы «Русской чистки» понимают происходящее в СССР вполне в согласии со схемой Вебера, который советского опыта не знал (он умер в 1920 году). Первоначальная компартия Ленина и Троцкого напоминает раннехристианскую общину, а партия, сколоченная после «термидора» сталинской кликой, – католическую церковь. Ставшие к ней в оппозицию левые и правые в равной мере напоминают протестантские секты, сохраняющие (возрождающие) изначальный дух партии. Верхний слой общества (партократия) оформляется по типу европейского феодализма. Рядом с ним возникает государственный бюрократический аппарат, в дальнейшем разделяющийся на несколько конкурирующих корпоративного типа ведомств – армия, полиция, охранка, так называемые «общественные» организации, культура, академия. Не стоит забывать и хозяйственный менеджмент – «новый класс» Джеймса Бернхэма на месте классической «буржуазии». И так далее, и так далее...

Перекличка между теорией, записанной Беком и Годиным, и схемой (структурой) социального конфликта в ходе рутинизации харизмы у Вебера настолько заметна, что требует объяснений. Вряд ли Хоутерманс и Штеппа читали Вебера. Так

10 Ibid. Р. 146.

11 Существенная разница между представлениями авторов «Русской чистки» и Вебера только в том, что Бек и Гордин относят все сказанное к бюрократическому обществу, а Вебер – к любому. Но в контексте настоящей заметки этой разницей можно пренебречь. Тем более, что Бек и Гордин неразборчиво используют понятия «абсолютизм», «восточная деспотия», «феодализм», «бюрократическое общество», «тоталитарное общество», что сейчас, конечно, нуждается в специальном комментировании.

же маловероятно, что кто-то им Вебера пересказал¹². Видимо, Вебер и Бек с Годиным просто думали одинаково, о чем и говорит английская народная (скорее, впрочем, джентльменская) мудрость «Great minds think alike». И такое совпадение – еще один повод отнестись серьезно к этой версии социального конфликта в раннем советском обществе.

Наверняка найдутся обрывки похожих дискурсов или намеки на них в необозримом гипертексте, имеющем то или иное отношение к советскому опыту. Этот ресурс не использован. Стоит поискать. Я написал эту заметку только с целью напомнить об этом. И не буду здесь развивать или критиковать изложенное выше представление о модулях власти в ранней фазе их становления. Вместо этого – во избежание возможных недоразумений – я лишь обозначу направление дальнейших рассуждений исходя из намеченной перспективы.

Приведенные извлечения из коллекции Бека и Година и социологии власти Макса Вебера применимы только для объяснения политических «чисток» *par excellence*, то есть репрессий на «аппаратных верхах». Масштабы репрессий в ходе коллективизации, форсированной индустриализации и «всеобщей облавы» на «неустроенных» индивидов были на один-два порядка выше. Они должны осмысляться в контексте экономического развития и макроэкономического регулирования. Как связаны друг с другом два разных потока репрессий и связаны ли они вообще – это особая проблема.

Далее, еще раз: согласно этой теории происходившее в СССР в 1930-е годы было не экзотикой, а самым стандартным явлением. Но это, разумеется, никак не означает, что в советском опыте не было ничего своеобразного. Рутинизация харизмы – это один из универсальных общественных процессов. Так думал и Вебер, и, позже, Эдвард Шилз и Шмуэль Эйзенштадт. Но энергетика и драматургия этого процесса могут быть очень разными. Остается вопрос о масштабах репрессий в ходе конфликта, и в особенности о массовых расстрелах (энергетика). Это совсем не обязательная импликация конкурентной рутинизации харизмы, и это надо объяснять отдельно. Остается и

12 Кто из двух авторов больше ответствен за пассажи, так сильно напоминающие Вебера, сказать трудно. Штеппа – профессиональный историк. Вебер упоминается в его книге: ШТЕППА К. *Russian Historians and Soviet State*. New Brunswick: Rutgers University Press, 1962. P. 13, 36, 55. Но упоминается вскользь в пересказе статьи, где критикуются зависимость от Вебера медиевиста Дмитрия Петрушевского (очевидная и известная) и Роберта Вилпера (как будто бы неочевидная и потому вызывающая любопытство). К самому Веберу Штеппа, судя по всему, никакого интереса не испытывал; много раз упоминая русского советского медиевиста Александра Неусыхина, он ничего не говорит о том, что как раз Неусыхин сильно зависел от Вебера и даже был чуть ли не единственным его «толчком» в советской науке. Хоутерманс историком не был, но он принадлежал к интеллектуальной элите, где мог общаться с людьми, знакомыми с текстами Вебера, и слышать что-то подобное от них. Но никаких указаний на круг общения Хоутерманса за пределами его узкой профессии в его русской биографии я не нашел. См.: ФРЕНКЕЛЬ В. *Профессор Фридрих Хоутерманс: работы, жизнь, судьба*. СПб.: Издательство ПИЯФ РАН, 1997.



другой вопрос: кто из участников рутинизации российской революционной харизмы одержал верх в этом конкурентном процессе, или, лучше сказать, *кем оказался тот, кто одержал верх* (драматургия)?

И, наконец, остается вопрос о том, как энергетика и драматургия этого процесса в постреволюционной России сказались на его результате ко времени его выхода (а) к «брежневскому плато», (б) началу перестройки и (в) постсоветской консолидации.

Русская чистка и получение признаний. Глава VIII «Теории»¹

ФРЕДЕРИК
БЕК,
Уильям
ГОДИН

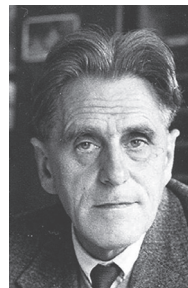
З аключенные уверяли, что невиновны – но было ли это так на самом деле? После долгого пребывания в советских тюрьмах можем ли мы не критически согласиться с мнением заключенных о самих себе и повлияла ли на нас атмосфера, в которой все отрицают, что виновны в чем-либо?

С чистой совестью мы можем ответить, что нет. Почти каждый заключенный имел основания чувствовать себя виновным. А те, кто чувствовал себя лояльным режиму, даже два основания. Всякий, кто в той или иной мере сотрудничал с ним до того, как стать его жертвой, преуменьшал свои ошибки и недостатки, закрывал глаза на факты или пытался их оправдать. Этим особым чувством виновности (о чем мы уже говорили раньше) объясняется неспособность к сопротивлению тех, кто тесно сотрудничал с системой. Вместе с тем у каждого в какой-то момент возникали сомнения в коммунистических идеях, и многие выражали их открыто. И на счету каждого были какие-то проступки и ошибки, которые выглядели как преступления в глазах системы.

Но мы можем с уверенностью сказать, что огромное большинство заключенных не считали себя и не были виновными в тех преступлениях, которые им были предъявлены и в которых они признались. Все их признания были почти без исключения мифическими.

Заключенные, так же как и сейчас читатели, несомненно, снова и снова взволнованно спрашивали себя: «Почему? За что?» Этот вопрос непрерывно обсуждался в дощатых «ожидалках» (*waiting-cells*) или «собачьих будках», где заключенных держали перед допросами и после. «Почему? За что?» – мы не утверждаем, что знаем ответ. Мы еще не так сильно отделились от событий того времени, и факты еще слишком плохо известны. Поэтому вместо одного объяснения мы выдвинем несколько разных. Мы предложим вашему вниманию те объяснения, которые всему этому давали судебные органы (*examining magistrates*) и сами заключенные.

Находясь в заключении, мы все время без устали обсуждали эти объяснения и добросовестно пытались записывать пред-



¹ Сокращенный перевод выполнен по изданию: BECK F., GODIN W. *Russian Purge and Extraction of Confession*. New York: The Viking Press, 1951. P. 214–277.



**ФРЕДЕРИК БЕК,
УИЛЬЯМ ГОДИН**

РУССКАЯ ЧИСТКА И
ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗНАНИЙ...

Фредерик Бек (Фридрих Георг Хоутерманс, 1903–1966) – немецкий физик. Учился в Гёттингене, закончил берлинскую Высшую техническую школу, где изначально и преподавал. Член Компартии Германии с 1920-х. После прихода к власти Гитлера эмигрировал сначала в Великобританию, потом в СССР. В 1935–1937-м работал в Харьковском физико-техническом институте. В 1937-м арестован, провел два года в советских тюрьмах, где встретил своего будущего соавтора Константина Штенпу. После заключения пакта Молотова-Риббентропа передан Германии, где после недолгого заключения работал в исследовательских организациях. С 1952 года и до самой смерти работал в Бернском университете, где основал школу, изучающую эффект радиоактивности в астрофизике, космохимии и геологических науках.

полагаемые теории [чисток]. Их формулировали люди самых разных профессий и уровня образования: простые крестьяне, известные историки и ученые, непримиримые враги режима и высшие его функционеры – бывшие секретари партии, народные комиссары и руководящие сотрудники НКВД. Нам повезло: в заключении мы познакомились со всеми этими людьми; хотя некоторые из них были крайне сдержанны, нам часто удавалось с ними тесно подружиться, и они откровенно говорили, что на самом деле думают.

Мы записали семнадцать теорий и полагаем, что все они, за исключением двух слишком курьезных, содержат в себе какую-то долю правды.

1. ОФИЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ

Прежде всего – официальная теория, как она представлена советскому народу и всему миру во множестве партийных документов. Надо помнить, что официальная теория произошедшего всегда существовала в двух вариантах. Один предназначен для публики и изложен в официальных документах. А второй – то есть, как партия понимает все на самом деле, – обсуждается партийным руководством только в собственном узком кругу.

Но в письменном виде существует только версия для публики. Эзотерическая теория крайне редко документировалась. Ортодоксальная теория, предназначенная для публичного использования, прежде всего отрицает систематический и массовый характер арестов и преуменьшает масштабы использования принудительной рабочей силы.

Ключевые положения большевизма гласят, что: (1) коммунизм – неизбежная и высшая цель человечества; (2) дорога к всемирному коммунизму лежит через мировую революцию, захват власти пролетариатом и диктатуру пролетариата; (3) главная задача пролетариата, победившего в одной стране, заключается в том, чтобы закрепить победу и при любых условиях удерживать власть. Эта последняя цель оправдывает любые средства. Но этот принцип не провозглашен открыто – так же, как открыто его не декларировали иезуиты, которым он неизменно приписывается.

Все подчинено главной цели – удержанию власти. Со временем на месте абстракции «пролетариат» появляется его передовой отряд – партия, а затем на месте партии – ее вожди, то есть Политбюро.

Первое условие сохранения власти – единство партии, жесткая дисциплина и полный запрет всяких внутрипартийных дискуссий о «генеральной линии». Партия требует твердой веры

и безоговорочного подчинения. Но, в отличие от нацистской системы, с ее сознательным и открыто декларированным принципом вожизма, слово «вождь» начинает применяться в отношении Сталина только в 1930-е. И, хотя с тех пор оно так и не исчезло, подразумевается, что вождь – лишь выразитель воли пролетариата и советского государства. В этих условиях вера и слепая преданность были важнее, чем личные суждения и убеждения. А вера, как всегда, покоится на иррациональной, или даже антирациональной, готовности согласиться с каким угодно абсурдом. *Credo quia absurdum*. На протяжении веков, когда церковь консолидировала свою власть, этот принцип неизменно обеспечивал торжество представлений, нелепых в свете рационального рассуждения. Так афанасиане одолели ариан, а дуофизиты – монофизитов. Может быть, абсурдность признаний на показательных процессах и есть «пробный камень» коммунистической веры? Мы никогда не встречали даже среди самых твердых приверженцев «линии партии» тех, кто бы действительно верил в эти признания. Но признания считались необходимыми, поскольку массам, дескать, нужны такие примитивные мифы. Точно так же ни один серьезный коммунист в Советском Союзе и за его пределами не нуждался в культе вождя, чье изображение тиражировалось миллионами глиняных бюстов. Но считалось, что это необходимо для воздействия на «сознание масс».

Так в общих чертах обычно защищают систему ее честные и убежденные сторонники в поисках оправдания ее практикам. Эта защита признает, что по отношению к некоторым людям была допущена несправедливость, но настаивает, что с этим приходится смириться. «Нельзя сделать омлет, не разбив яиц», – говорят те, кто с этим согласен. В их глазах важна победа коммунизма на одной шестой части суши. На деле же оказывается, что важнее победа теории над фактами, фикции над реальностью, победа словес над делами. Факты переосмысливаются так, чтобы соответствовать теории, а не принимаются такими, какие они есть. Победу христианству, может быть, обеспечило утешительное обещание лучшей доли по ту сторону земной жизни, обещание царства небесного не от мира сего. Существо же советской веры – в надежде на лучшую жизнь не сегодня, но завтра, через несколько лет, после выполнения текущего или следующего пятилетнего плана; в крайнем случае все блага обещаются новому поколению.

**ФРЕДЕРИК БЕК,
УИЛЬЯМ ГОДИН**

РУССКАЯ ЧИСТКА И
ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗНАНИЙ...

Уильям Годин (Константин Штеппа, 1896–1958) – украинский историк. В 1915 году поступил в Петроградский университет, ученик антиковеда Михаила Ростовцева. Участвовал в Первой мировой и в гражданской войне (на стороне белых). Сменив фамилию, остался в Советской Украине, где работал в Нежине и Киеве, сотрудничал с историком Михаилом Грушевским. В конце 1930-х – декан исторического факультета Киевского университета. Арестован в 1938-м, в 1939-м освобожден. В годы оккупации сотрудничал с немцами, был ректором Киевского университета. С отступающим вермахтом оказался на территории Германии, после войны активно работал в эмигрантской прессе «второй волны». В 1952-м переехал в США. Автор работ о сталинизме и Большом терроре.

2. ТЕОРИЯ ФАШИСТОВ

Эта теория была самой популярной среди ортодоксальных коммунистов, или иначе говоря – убежденных «советских» людей.



Она крайне наивна. Суть ее сводится к тому, что, дескать, фашисты тайно просочились в НКВД или в высшее партийное руководство с целью подорвать советский режим изнутри.

Один из нас был знаком с вдовой Броневого – первого заместителя народного комиссара НКВД Украины. Он был арестован и умер во время допроса. Его вдова Елена Лобачева состояла в партии и была редактором советского периодического издания. До 1937 года она работала инструктором ЦК – очень высокая позиция для женщины. Как довольно высокопоставленный партийный работник и как жена крупного партийного руководителя она общалась с другими важными партийными работниками, ставшими жертвами чисток, и располагала информацией, что называется, «из первых рук». После ареста мужа она тоже была арестована. Ее сын остался с бабушкой и ходил в ту же школу, что и сын одного из нас. В глазах других они были детьми «врагов народа» и на этом основании сблизились и подружились. Лобачева прошла через все стадии допроса, у нее была повреждена почка и сломаны несколько ребер, но ее дух не был сломлен. Она отказывалась сочинять какую-либо легенду о своей виновности, не столько, впрочем, из отвращения ко лжи, сколько, как она говорила, из-за бедности воображения.

Лобачева вышла в 1939 году, когда чистки пошли на убыль и многих стали освобождать. Она была ортодоксальным коммунистом, искренним идеалистом, одной из немногих, кому удалось выжить. Ни жестокая смерть мужа, ни ее собственные лишения в заключении не пошатнули ее веры. Лобачева совершенно не сомневалась, что все пережитое ею, все злоупотребления НКВД были делом рук врагов – фашистов, гитлеровцев, классовых противников, агентов зарубежного капитализма. Об этом она писала письма Сталину и генеральному прокурору СССР Вышинскому.

Дальнейший ход событий, казалось, подтверждал ее подозрения. В начале 1941 года Верховный суд СССР судил ее следователей и судей, а она сама на этом процессе давала свидетельские показания. Следователи были осуждены на три–пять лет тюрьмы за применение пыток. Бронева торжествовала не потому, что чувствовала себя отмищенной – для этого она была слишком мягкосердечна, – она была счастлива, что восторжествовала справедливость. Ее вера в Советский Союз стала еще сильнее, потому что его враги были наказаны.

В июне 1941 года Германия вторглась в Россию. 24 июня Лобачева была вновь арестована и сгинула навсегда. Это произошло, может быть, потому, что она слишком верила в справедливость.

3. ТЕОРИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

ФРЕДЕРИК БЕК,
УИЛЬЯМ ГОДИН

РУССКАЯ ЧИСТКА И
ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗНАНИЙ...

Это была еще одна неофициальная теория, популярная у лояльных коммунистов. Нередко в частных разговорах они именно так объясняли фантастические масштабы арестов. В тюрьмах эта теория была самой популярной, так как объясняла аресты простой потребностью обеспечить рабочей силой промышленное развитие Советского Союза – особенно удаленных областей.

Многие заключенные находили эту теорию удобной, потому что она позволяла им сохранить свои советские убеждения. Однако она оставляла без ответа много вопросов. Например, почему тяжело работающие люди вместо того, чтобы быть провозглашенными героями, клеймятся как «враги народа» и контрреволюционеры? Также для всех содержавшихся в трудовых лагерях было очевидно, что, несмотря на огромное количество трудовых затрат, диктовавшихся высокими «нормами», производительность принудительного труда была несравнимо ниже, чем на обычном производстве даже в советских условиях. Особенно если принять во внимание, как много людей были заняты в НКВД для проведения арестов, допросов и охраны в тюрьмах и лагерях.

Также, если эта теория была верна, то оставалось непонятным, зачем советская власть, очень нуждавшаяся в квалифицированной рабочей силе, использовала инженеров и квалифицированных рабочих, чья подготовка обходилась так дорого, на работах, не требовавших никакой квалификации.

4. ТЕОРИЯ ИОВА

Еще одна теория утверждала, что чистки объяснялись причинами, столь же неизвестными судебной-следственной инстанциям, сколь и самим заключенным. Конечно, они были известны высшему партийному руководству – но только ему. Никто не имеет права их знать, и попытка преодолеть этот запрет – признак антисоветского настроения. Советские граждане должны доверять партийному руководству, а у руководства, вероятно, есть веские причины не объяснять, почему оно принимает те или иные меры. Сомневаться в его действиях преступно и недостойно советского гражданина.

Очевидна аналогия с библейской книгой Иова. И в некоторых вариантах этой теории буквально говорится, что подлинная цель страданий и лишений, которым правительство подвергает граждан, – это именно испытание твердости их веры в советский режим, что в конечном счете ведет их к спасению.



5. ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

Следующая теория проливает свет не только на «ежовщину», но и на всю охранительно-карательную практику коммунистической власти. Это теория социально-политических предупредительных мер, то есть социальной профилактики.

Ее нам доверительно объяснял Прыгов – бывший руководитель одного из отделов НКВД. Прыгов заслуживает того, чтобы сказать о нем несколько слов. У него была репутация особенно жестокого судебного следователя. О его зверствах ходило много слухов. Мы внимательно приглядывались к Прыгову, пытались обнаружить в его поведении признаки садизма, который ему приписывался, и найти разгадку не только его личной жестокости, но и жестокости его коллег. Прыгов производил впечатление вполне обыкновенного человека, только, пожалуй, очень нервного. Видимо, сказались многие годы напряженной ночной работы. Характер у него был мягкий, вплоть до сентиментальности. Его очень заботила судьба отца и сестры (он не был женат); он был услужлив и дружелюбен со своими сокамерниками, хотя среди них были яростные враги режима, включая бывших помещиков и офицеров, не говоря уж о настоящем польском агенте, который сам признавался, что перешел границу в качестве шпиона.

Тайной пружиной жестокости самого Прыгова, как и всех его коллег, была на самом деле безоговорочная вера в «линию партии», в ее правильность и строгую научность, а также беспрекословная преданность партийному руководству и его представителям.

Теперь мы должны подчеркнуть принципиальное отличие типичного сотрудника НКВД от соответствующего ему представителя нацистской системы. Процесс над администрацией лагеря Бельзен – как и вообще невероятная бесчеловечность нацистского режима – у всех еще в памяти. Как пытались защищаться подсудимые на этом процессе? Они ссылались на то, что выполняли приказы старших офицеров, к чему их обязывала военная дисциплина, и отрицали, что имели какое-то собственное мнение и возможность принятия самостоятельных решений. Прусская военная дисциплина превратила их в автоматы, слепо выполняющие приказы других. А что сказал бы такой человек, как Прыгов, защищаясь в суде? Мы думаем, что он ссылался бы на учение марксизма-ленинизма, как он сам его понимал. Прыгов лоялен и послушен так же, как чин СС, но его вера была основана на убеждении, что его действия находятся в соответствии с требованиями разума и совести.

Прыгов объяснял чистки с помощью теории профилактики. Как известно, буржуазный уголовный кодекс предназначен

для наказания только за совершенные преступления. Но молодое и все еще растущее советское государство, сталкиваясь с внешними и внутренними угрозами, должно предотвращать возможные преступления и «преступные намерения». Наказание потенциального преступления столь же оправдано, как совершено. На самом деле это даже предпочтительнее – точно так же, как лучше предупредить болезнь, чем потом лечить ее. Согласно этой теории, не нужно ждать, когда неизлечимый kleptomан что-нибудь украдет, лучше избавить общество от него заранее и не допустить преступления. В политической сфере этому соответствует понятие «эмбриональная организация». Друзья, разделяющие какие-то интересы, могут, например, собираться за чашкой чая, чтобы предаваться совместным воспоминаниям. Но потом они начинают критиковать правительство, высказывать свои чувства по поводу происходящего в стране и рассказывать анекдоты про советскую власть. Преступление как будто не совершено, но эта встреча указывает на существование антисоветских настроений, которые вполне способны породить настоящее преступление. Не будет ли лучше и более разумнее оградить государство от таких криминальных элементов и избавить общество от возможных заговщиков быстрыми действиями органов безопасности?

ФРЕДЕРИК БЕК,
УИЛЬЯМ ГОДИН

РУССКАЯ ЧИСТКА И
ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗНАНИЙ...

Чистки объяснялись причинами, столь же неизвестными судебным-следственным инстанциям, сколь и самим заключенным. Никто не имеет права их знать, и попытка преодолеть этот запрет – признак антисоветского настроения.

6. ТЕОРИЯ СНЕЖНОГО КОМА

Мы уже объясняли, как каждый заключенный должен был изобличать других. И этот процесс нарастал как снежный ком, пока кандидатами на арест не оказывались буквально все поголовно. В камерах была популярна теория, объяснявшая масштабы чисток просто автоматическим разбуханием системы доносительства. Сторонники этой теории утверждали, что чистка поначалу не планировалась в таких широких масштабах, но приобрела массовый характер просто по ходу самогенерируемой лавины доносов, охватывая все более широкие круги населения.

Нам кажется, что эта теория путает симптом с болезнью, хотя и она содержит в себе некоторую долю правды.



7. ТЕОРИЯ ПЛАНА И ВСТРЕЧНОГО ПЛАНА

Заключенные нередко высказывали предположение, что чистки советского общества от врагов, будучи важным компонентом советской жизни, планируются так же, как производство стали, сев зерновых и работа симфонического оркестра. Именно игра верхушки НКВД и ее подчиненных в план и встречный план привела, дескать, к тому, что чистки достигли такого размаха. Мы, однако, не верим, что существовал какой-то общий план, определявший заранее число арестов.

Эта теория кажется нам столь же поверхностной, как и предыдущая, – к тому же она путает причину и следствие.

8. ТЕОРИЯ ВОЗМЕЗДИЯ

Перед тем, как обсуждать теории, содержащие серьезную критику советской системы, мы упомянем – главным образом для полноты картины и для того, чтобы позабавить читателя, – две очень странные теории: теорию возмездия и теорию солнечных пятен.

Согласно теории возмездия каждый заключенный в советской тюрьме на самом деле искупает какой-то свой грех. Его арест – это его судьба, напоминание о совершенном грехе. Преступление, которое ему вменяется при аресте, конечно, не имеет ничего общего с этим грехом, но никто не может похвастаться абсолютной невиновностью и если покопается в своей совести, то поймет, в чем на самом деле виноват. Эту теорию излагал наш сокамерник Иван Никифорович – сапожник по профессии.

9. ТЕОРИЯ СОЛНЕЧНЫХ ПЯТЕН

Еще одна теория объясняет «ежовщину» числом пятен на солнце. Ее пикантность заключалась в том, что проповедовал оную бывший президент международной лиги безбожников.

10. ТЕОРИЯ «ЕВРЕИ В ПУСТЫНЕ»

В книге Исхода рассказывается, как сыны Израилевы, освобожденные Моисеем из египетского рабства, блуждали сорок лет прежде, чем им была явлена Земля обетованная. В Библии подробно рассказано, как израильтяне голодали и как они были готовы отказаться от поисков и даже вернуться под египетское иго.

Сорок лет – время, за которое сошло на нет целое поколение, – понадобились, чтобы Египет исчез из памяти евреев еще до того, как они достигли Земли обетованной.

К этой истории обращались многие из тех, кто обдумывал судьбу советских заключенных. Дореволюционная эра была для них, как Египет для евреев, страной рабства, а Землей обетованной был социализм, бесклассовое общество. Сомнительно, что Земля обетованная, о которой мечтали евреи, была много лучше, чем Египет, и, может быть, Моисей, вода за собой евреев по пустыне сорок лет, мудро рассчитывал, что только те, кто прошел через все эти лишения, сочтут место, куда он их приведет, той землей, о которой они мечтали.

ФРЕДЕРИК БЕК,
УИЛЬЯМ ГОДИН

РУССКАЯ ЧИСТКА И
ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗНАНИЙ...

11. ТЕОРИЯ «МАЛЬЧИК ДЛЯ БИТЬЯ»

Теорию «мальчик для битья» излагал священник, который напомнил нам историю Ионы, брошенного в море не потому, что был виновнее своих компаньонов, а потому, что ему выпал жребий.

По мнению автора этой теории, советская система принесла много страданий русскому народу. Он вспоминал два больших голода 1921-го и 1933 годов, унесших миллионы жизней. В душах людей копились и искали себе выхода страстная ненависть и жажда мщения. Правители могли держаться у власти, только предлагая народу козлов отпущения и гекатомбы жертв, на которых люди могли бы выместить свою злость. Главными жертвами чистки, говорил священник, стали те, кто руководил страной во время голодных лет. Он напоминал, что показательные процессы следовали за большими провалами: например, за слишком поспешной индустриализацией и принудительной коллективизацией. Обвиняемые на этих процессах всегда признавались в том, что во всех этих случаях они сознательно старались нанести ущерб.

К недостаткам этой теории, содержащей большую долю правды, следует отнести то, что она не объясняет массового характера чистки и не охватывает других важных категорий заключенных, как, например, «имевших связи с заграницей» или бывших землевладельцев.

12. ТЕОРИЯ ВНУТРИПАРТИЙНОЙ БОРЬБЫ

Эту теорию поддерживали бывшие меньшевики, бухаринцы и троцкисты. Сталин оказался победителем во внутрипартийной борьбе после смерти Ленина. Своим успехом он обязан



не тому, что поддерживал линию партийного большинства, а тому, что покончил с внутрипартийной демократией. Используя возможности руководителя партийной администрации, он захватил контроль над всем аппаратом партии и сумел с помощью интриг поставить на все ключевые партийные позиции своих друзей и сторонников. Сталин победил только потому, что ввел полицейский контроль над дискуссиями в партии. Перемены, произошедшие в Советском Союзе, сравнивались с термидором во Французской революции, и утверждалось, что возник новый правящий класс, использовавший бюрократический аппарат государства для эксплуатации народа беспрецедентным в истории образом.

Теория борьбы за власть в партии, безусловно, верна в нескольких важных аспектах. Однако эта теория в том виде, как мы ее представили, неоправданно преувеличивает значение личности Сталина. Нам кажется, что нужна более широкая теория, чтобы объяснить, какие силы позволили установить диктатуру, помогли ей удержаться и поддерживали ее дальнейшее развитие.

13. ТЕОРИЯ БОНАПАРТИЗМА

Эта теория – всего лишь вариация теории внутрипартийной борьбы. Она подчеркивает личные амбиции Сталина, его жажду славы, поощрение им национализма и патриотизма, хотя сам Сталин был инородцем в стране, которую возглавил, – точно так же, кстати, как Наполеон.

14. ТЕОРИЯ ЦЕЗАРИАНСКОЙ МАНИИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Теория цезарианской мании преследования, обсуждавшаяся, конечно, в местах заключения только шепотом, показывает, насколько советская публика считала чистки исключительным и политически не мотивированным явлением. Вспомнили, что, когда непомерная власть концентрируется в руках одного человека – как, например, римского императора, Ивана Грозного или Филиппа II Испанского, – у такого самодержца часто обнаруживаются симптомы патологической мании преследования, вследствие чего он перестает доверять даже ближайшим своим сторонникам. Поэтому он прибегает к самым невероятным мерам, чтобы обеспечить собственную безопасность. Этим и объясняли размах аналогичных мер в случае со Сталиным и его ближайшим окружением.

Эта теория, конечно, достоверно отражает один аспект сложной фактической комбинации. Но если она верна, то НКВД, кон-

тролируя всю страну, должен был бы чувствовать себя в полной безопасности. Но, как мы показали в главе об организации НКВД, контроль над страной не означал, что сотрудники НКВД лично всегда были в безопасности. Контроль осуществляли не отдельные люди, работавшие в НКВД, но так сказать некий «абстрактный НКВД». Анонимность власти – вот примечательная особенность советского государства. Это была тирания идеи, идеократия, – естественный исторический наследник теократии. Здесь мы приближаемся к одному из реальных и самых существенных свойств советской системы.

ФРЕДЕРИК БЕК,
УИЛЬЯМ ГОДИН

РУССКАЯ ЧИСТКА И
ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗНАНИЙ...

15. ТЕОРИЯ НЕОАБСОЛЮТИЗМА

Эта теория, по нашему мнению, отличается глубиной и детальным знанием советских условий. Ее предложил один из заключенных – профессор истории.

Его анализ строится на выявившемся значительном сходстве советского административного и экономического порядка с общественным строем великих азиатских империй античности и Средневековья. Профессор обратил внимание на то, что в Древнем Египте не было частной собственности на средства производства, которые принадлежали «бого-царю» и в меньшей степени – храмам. Государство полностью монополизировало производство зерна, текстиля, масла и контролировало внешнюю торговлю. Все население, включая надсмотрщиков и чиновников, официально считалось состоявшим из рабов государства, воплощенного в «бого-царе». Только храмы и служившие в них жрецы по традиции пользовались особым положением. Там существовала другая форма коллективной собственности.

В таком государстве имеет место непрерывный конфликт между центральной властью и группами или классами, которые пользуются властью благодаря своему положению в чиновничьей иерархии. В состоянии постоянного конфликта находятся и разные ведомства. От хода этих конфликтов зависит судьба государства. С одной стороны, центр пытается сохранить максимум власти за собой, а с другой стороны, руководители ведомств хотят укрепить свои позиции, сделав занимаемые ими должности наследственными и превратив свой контроль над средствами производства (речь в первую очередь идет о земле) в наследуемую собственность. Подобный антагонизм существует между разными уровнями государственной бюрократии. Народ же – во всяком случае значительная его часть – остается объектом классовой борьбы, а не активным ее участником.

Режим Сталина в борьбе за концентрацию власти точно так же должен был столкнуться с сопротивлением высших пар-



тийных и государственных кругов. Для такого сопротивления было несколько причин. Прежде всего в партии еще сохранялись представители «старой гвардии», остатки идеологической оппозиции, и они не могли смириться с тем, что в Советском Союзе устанавливается режим, несовместимый с революционными идеалами, за которые они боролись. Далее, среди этих старых большевиков, красных партизан и бывших политзаключенных было много людей, недостаточно квалифицированных для ответственной аппаратной работы. Но на основании своих прошлых заслуг они требовали для себя высоких позиций и не давали хода новому – лучше подготовленному – поколению. Однако масштабы чистки в рядах ведущих групп советской интеллигенции, партийных аппаратчиков, офицеров и инженеров не объяснить одной идеологической оппозицией и причудливыми претензиями «старой гвардии».

В 1937 году было очевидно, что огромное большинство арестованных партийных аппаратчиков, особенно высокого ранга, отнюдь не принадлежали к «старой гвардии». Большинство из них твердо держались «линии партии». Как правило, это были крупные или мелкие сатрапы, недавно достигшие сравнительного благополучия, не имея никаких социалистических убеждений. Было вполне естественно, что эти люди склонялись к возрождению традиций, характерных для привилегированных слоев дореволюционного общества. Эта тенденция подпитывалась тем, что нередко они брали себе в жены умных и привлекательных женщин из «приличного» общества. Вокруг Кремля возникал «двор» и складывалось «высшее общество» – в партии, в армии, в НКВД, в театре и кино, в научно-технической сфере.

Класс чиновников, как и всякий другой господствующий слой, стал искать способ обезопасить свои позиции; нетрудно себе представить, что центральная власть, наоборот, этого не хотела. Подавляя этот класс, Сталин мог опереться не только на массу молодых партийцев, для которых между прочим это открывало неожиданные карьерные возможности, но также и на широкие народные массы, которые всегда рады наблюдать падение тех, кто живет в роскоши, особенно если это их же высоко взлетевшие товарищи. В речи 1936 года Сталин открыто изложил теорию тесной связи между правителем и массами (кстати, основной принцип абсолютизма), напомнив миф об Антее, который потерял силу, когда был оторван от земли.

Теория неоабсолютизма видит в событиях ежовского времени революцию низов партии против ее верхушки. Центральная власть в лице Сталина и его ближайшего окружения, опираясь на низовые партийные ряды и народные массы, сохранила свои позиции. По нашему мнению, в этой теории много правды.

Но есть у нее и слабости. Она говорит о революции, но мы не видим в ежовском периоде главной характеристики настоящей революции, а именно радикального изменения социальной структуры. Изменился лишь персонал на уже существующих должностных позициях, хотя сами по себе эти замены были, пожалуй, весьма значительны. Просто одни сатрапы сменили других на старых постах. Интересы новых людей оставались теми же самыми. Этот недостаток теории неоабсолютизма преодолевается в теории заполнения вакансий (*social supply*).

ФРЕДЕРИК БЕК,
УИЛЬЯМ ГОДИН

РУССКАЯ ЧИСТКА И
ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗНАНИЙ...

Теория неоабсолютизма видит в событиях ежовского времени революцию низов партии против ее верхушки. Центральная власть в лице Сталина и его ближайшего окружения, опираясь на низовые партийные ряды и народные массы, сохранила свои позиции.

16. ТЕОРИЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВАКАНСИЙ

Эта теория известна также как теория конвейера, или – в более игривом варианте – как теория «рощи Арисии» (*grove of Aricia*). Она родилась в наших тюремных разговорах. Сэр Джеймс Джордж Фрэнсис в «Золотой ветви» придает большое значение одному обычаю древнеримских времен. В роще-святилище богини Дианы (*Diana Nemorensis*), вблизи Арисии, претендент (обычно беглый раб) мог занять позицию жреца, только убив своего предшественника. Любой занявший эту позицию оказывался в незавидном положении: ему недолго доводилось в ней оставаться. Но, как бы ни был короток отведенный жрецу срок, никогда не было недостатка в претендентах.

В предыдущем разделе мы обратили внимание на то, что в большевистском государстве 1930-х полный контроль над средствами производства находился в руках чиновников, чья власть не зависела от собственности на эти средства. Здесь можно обнаружить переключку с идеями Джеймса Бернхэма, считавшего, что в последние десятилетия появляется новый класс менеджеров не только в Советском Союзе, но и в фашистских диктатурах Европы, и даже в сдвигавшейся к плановой экономике Британии. Класс менеджеров контролирует средства производства, не являясь их собственником – менеджер распоряжается ими в силу своего должностного положения. Адекват-



025

АРХИВ «НЗ»

ной этому классовому господству управляющих политической сферой будет, несомненно, бюрократическое государство.

Мы не будем сейчас обсуждать правильность исключительно интересной общей теории Бернхэма, но попробуем приложить ее к русскому коммунизму и развить в нескольких направлениях, связав с теорией заполнения вакансий.

Прежде всего, понятие «менеджер» кажется непригодным для описания коммунистической бюрократии. Оно предполагает некоторое техническое знание, интеллектуальный уровень и мастерство – ничего этого в случае русского коммунизма нет.

Пусть нас поймут правильно. В бурные годы революции и в годы первой пятилетки можно было встретить увлеченных молодых студентов, соединявших благородное стремление к знанию с не менее благородным горячим желанием построить социализм. Эти молодые люди творили чудеса в самых трудных условиях и потом нередко обретали важное положение в техническом руководстве. Но мы говорим не о них. Позднее, в ходе чистки многие из них оказались в заключении, став жертвами глубокого недоверия к своим идеалистическим побуждениям, о чем мы уже не раз говорили.

На смену этой партийной аристократии пришел другой тип людей – парторги. Этот персонаж – и не только в Советском Союзе – скорее чиновник общего профиля, чем образованный технолог. Появлению парторга благоприятствовали особые условия в советских университетах. Кадры для реальной власти рекрутировались из рядов не технической интеллигенции, а этих партийных администраторов, которые сильно отличались уже на ранней стадии своей карьеры. Техническая интеллигенция полностью им подчинена. На верхних позициях, конечно, можно найти техников и инженеров, но они попадают туда благодаря своему положению в партии, а не технической квалификации.

Как видно из предыдущего раздела, хотя это современное бюрократическое тоталитарное государство приняло догму революционного социализма, оно неведомым для себя образом практикует отношения власти, очень похожие на те, что имели место в восточных бюрократически контролируемых деспотиях – с учетом тех модификаций, которые диктуют условия современного способа производства и современных методов управления массами.

Одна из главных характеристик правящего класса – это долговременность и наследственность его власти. И вот этого как раз мы не обнаруживаем у советских чиновников. Мы обращали внимание на усилия этой группы превратиться в настоящий класс через монополию на образование, nepoтизм и

другие средства. Это задало импульс развитию всей советской системы. Но мы также обратили внимание на силы, пытавшиеся помешать этому. Во всех бюрократических обществах прошлого, где власть была прерогативой должности, те, кто занимал определенное должностное положение, должны были бороться с деспотической [верховой] властью, чтобы получить неотчуждаемый статус аристократии и превратить свое должностное положение из временного в постоянное.

Китайские императоры, как хорошо известно, на протяжении нескольких тысяч лет выбирали высших чиновников с помощью трехступенчатого экзамена, который могли сдавать все достаточно изобретательные и способные. Тот, кто его проходил, назначался на высокую должность. Китайская литература полна рассказами о бедных учениках скромного происхождения, которые готовятся к государственному экзамену, преодолевая все мыслимые трудности. Такой школяр-герой – в Китае столь же частый персонаж, как воин-герой на Западе. Для сдачи экзамена в Китае не требовалось знание административных тонкостей, нужно было досконально знать классику: другими словами – продемонстрировать высокий культурный уровень. С помощью экзаменов государство мандаринов защищалось от возможности превращения высших чиновников в солидарный феодальный правящий класс.

Советское общество, в котором власть оказалась в руках выдвинутого массами чиновничества, столкнулось в 1930-е с той же проблемой. Чисто идеологические обязательства и поначалу весьма скромный потолок зарплаты, положенной членам партии, от которых ожидалось еще дополнительные усилия без привилегированных компенсаций, оказались совершенно неадекватны. Новая каста чиновников делала все, чтобы воспользоваться материальными преимуществами, которые ей давал контроль над социалистической собственностью. Эта каста в первом поколении еще не имела возможности превратиться в правящий класс. Она также испытывала давление снизу: нижний слой партии завидовал ее привилегиям. Центральная власть ясно это увидела и почувствовала угрозу собственной безопасности в возникновении новой касты мандаринов. И казалось очевидным, что этих людей следовало ликвидировать. Это была блестящая стратегия. Бюрократическая структура государства сохранялась нетронутой. Преемники смещенных и арестованных автоматически получали привилегии, связанные с занятием должности: они въезжали в освободившиеся квартиры и получали в распоряжение личное имущество своих репрессированных предшественников. Перед армией мелких служащих открывались возможности быстрого продвижения вверх – на что иначе ушли бы десятилетия.

ФРЕДЕРИК БЕК,
УИЛЬЯМ ГОДИН

РУССКАЯ ЧИСТКА И
ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗНАНИЙ...



Конечно, не все было точно так же в этой процедуре, как в святилище Дианы. В Арисии каждый новый жрец должен был убить предшественника собственноручно, а судьбу советского чиновника решал НКВД. Тем не менее его провиденциальные действия можно было ускорить, проявив бдительность и сообщив куда следует об опасности того или иного персонажа либо письмом, либо на собраниях, где в порядке «классовой бдительности» и «критики» всегда кто-нибудь подвергался «проработке». Эта практика поощрялось.

Чистки освобождали пространство. Сравнение с конвейером, популярное у всех заключенных, в этом контексте вполне оправдано – это социальный конвейер. Индивид поднимается со дна и затем опускается туда обратно. Таким образом ему не позволяли обеспечить себе и своей семье надежного существования. А возможность такое существование обеспечить – это одна из важнейших характеристик принадлежности к правящему классу. Пока работает механизм заполнения вакансий, никакое постоянное по составу классовое образование, аналогичное знати или буржуазии, руководившим феодальным или капиталистическим государством, возникнуть не может. Малочисленную постоянную группу, отправляющую верховную власть, сравнительно легко защитить – в частности потому, что непрерывные перемены в более низких эшелонах власти ослабляют их и не позволяют им бросить вызов вышестоящим эшелонам.

Чистки освобождали пространство. Индивид поднимается со дна и затем опускается туда обратно. Таким образом ему не позволяли обеспечить себе и своей семье надежного существования.

Было бы, конечно, наивно думать, что Сталин, сидя в своей берлоге, тщательно продумывал эту коварную макиавеллистскую стратегию, чтобы обеспечить стабильность своему режиму. Очень разные политические и психологические мотивы могли быть непосредственными причинами каждой волны «замещения». Но, по нашему мнению, есть социальные причины такого кризиса в бюрократическом государстве. Более того, это явление принципиально важно для такого государства, и этим объясняется размах чисток. Нам кажется, что только так можно объяснить странную анонимность системы, то есть возникновение постоянного правящего класса как идеи, а не как определенного контингента конкретных людей, о чем свидетельствует, например, тот факт, что НКВД как инструмент этой стратегии сам не был застрахован от чисток.

И, стало быть, мы не считаем, что происходившее в Советском Союзе во времена Ежова представляет собой что-то особое и небывалое в истории. Наоборот, это был лишь особенно шокирующий вариант того, что всегда происходит в бюрократическом государстве.

ФРЕДЕРИК БЕК,
УИЛЬЯМ ГОДИН

РУССКАЯ ЧИСТКА И
ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗНАНИЙ...

17. «АЗИАТСКАЯ» ТЕОРИЯ

И, наконец, обратим внимание на очень распространенную теорию. Она существует в самых разнообразных формах и излагается со множеством вариаций. Для краткости назовем ее «азиатской». Она распространена в России, особенно среди иностранцев, и часто встречается за границей. Согласно этой теории, Россия принадлежит Азии. В результате многовекового татарского ига, варварского боярского правления и неограниченной власти самодержавного царя Россия никогда не знала политической свободы.

Поэтому современный социализм – продукт европейской мысли – после победы в России не привел к политической свободе, но приобрел насильственные и варварские, то есть азиатские, формы, адекватные не самому социализму, а русскому национальному характеру. Интересно, что с этой теорией согласны как британские консерваторы, так и британские коммунисты.

Чтобы проверить предположения «азиатской» теории, взглянем внимательнее на некоторые исторические и географические мифы. Нет никакого сомнения, что великие азиатские империи были колыбелью всей западной цивилизации. Как в таком случае мы должны относиться к противопоставлению азиатского варварства и европейской цивилизованности? Это странный миф, восходящий к Геродоту, – обстоятельство тем более примечательное, что реальным источником классической цивилизации был не столько греческий полуостров, сколько маленькие ионические города-государства Малой Азии, чье экономическое процветание и культурное богатство обеспечил сюзеренитет Персидской империи. Провинциальное самодовольство греческого полиса и враждебность мелких городов к великой централизованной Персидской империи породили «азиатский миф», содержащий в себе, конечно, какую-то долю правды.

Другая частица правды в «азиатской» теории обнаруживается, если мы вспомним сопоставление коммунистического бюрократического государства и азиатских деспотий. Но это подобие касалось контроля над средствами производства, то есть социальных, а не географических факторов, и было бы



уместно также в тех случаях, если бы коммунистическое бюрократическое государство возникло в западной Европе или в Америке. Древние американские цивилизации в Перу и Мексике имели те же характеристики.

Циркулирует много причудливых и совершенно фантастических идей насчет связи особого характера большевистского государства и русского национального характера. Так много написано о глубине русской души, о мистическом характере русского народа и о родстве всего этого с большевизмом, что попросту невозможно обсуждать все вариации теории, связывающей большевизм то с особой мягкостью русского характера, то с его особой жестокостью. Подчас большевистскую систему связывают с мессианизмом русской души, а иногда – с ее крайним рационализмом. На это можно сказать только одно: попытки объяснить большевистское бюрократическое государство русским национальным характером абсолютно не состоятельны.

Последний довод «азиатской» теории – это представление о русском народе как о политически отсталом и незрелом. То, что мы сказали о знакомстве русских с идеями свободы в условиях царизма в XIX–XX веках, относится, конечно, к интеллектуалам и некоторым группам образованных рабочих. Разумеется, эти люди составляли небольшую часть населения. Но со времени февральской революции 1917 года произошли колоссальные изменения. Революция и еще больше гражданская война вывели народ из летаргии и сделали его политически грамотным. Возрастающее политическое давление в последних фазах большевистского правления фактически способствовало политическому созреванию масс. Хотя они лишены возможности изъяснить свою политическую волю, но вполне видят связь между политическими мерами правительства и их социальными и экономическими последствиями. Каждый советский гражданин знает, что можно и чего нельзя говорить в данный момент, чтобы не впасть в противоречие с постоянно меняющейся «линией партии». Это само по себе существенно помогло политической зрелости российских народных масс, хотя такого эффекта никто не ожидал. Одновременно с этим, так сказать принудительным, политическим воспитанием поднимался культурный и образовательный уровень народа. Это видно, например, из отношения его к науке. Рост политической и культурной зрелости вопреки всем материальным трудностям и суровости режима делает народ более амбициозным и требовательным, и результат этого – нарастающее критическое отношение к состоянию общества.

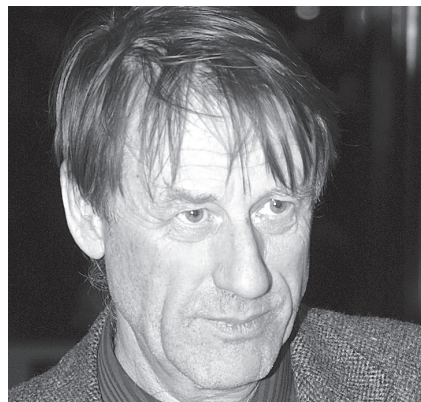
Перевод с английского Александра Кустарева

Погружая вещи в жизнь: творческие переплетения в мире материалов¹

Тим
Ингольд

ВВЕДЕНИЕ

В своих записных книжках художник Пауль Клее неоднократно настаивал – и демонстрировал на примерах, – что процессы генезиса и роста, порождающие формы в обитаемом нами мире, важнее самих этих форм. «Форма – это конец, смерть, – писал он. – Придание формы – движение, действие. Придание формы – это жизнь»². Этот [принцип] в свою очередь лежит в основе его знаменитого «Творческого кредо» (1920): «Искусство не воспроизводит видимое, а делает видимым»³. Другими словами, оно устремлено не к репликации завершенных, уже устоявшихся форм, будь то образы в уме или объекты в мире. Оно скорее стремится примкнуть к тем самым силам, что вводят форму в бытие. Таким образом, линия вырастает из точки, приведенной в движение, подобно тому, как растение вырастает из семени. Следуя примеру Клее, философы Жиль Делёз и Феликс Гваттари утверждают,



Тим Ингольд (р. 1948) – антрополог, профессор Абердинского университета.

- 1 Перевод осуществлен по изданию: INGOLD T. *Bringing Things to Life: Creative Entanglements in a World of Materials* // *Realities Working Papers*. 2010. № 15. P. 1–14.
- 2 KLEE P. *Notebooks. Volume 2: The Nature of Nature*. London: Lund Humphries, 1973. P. 269.
- 3 ИДЕМ. *Notebooks. Volume 1: The Thinking Eye*. London: Lund Humphries, 1961. P. 76.

ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ:
АНИМИЗМ И
ЖИЗНЬ ЛИНИЙ

что сущностное отношение в мире жизни пребывает не между материей и формой, или субстанцией и атрибутами, а между *материалами и силами*⁴. Речь идет о способе, коим материалы всех видов, обладающие различными и переменчивыми свойствами и оживленные силами Космоса, смешиваются и сливаются друг с другом в ходе порождения вещей. Что авторы пытаются преодолеть своей риторикой, так это затянувшееся влияние образа мысли о вещах и о том, как они порождаются и используются, – образа, который существует в западном мире на протяжении последних двух тысячелетий, если не дольше. Он восходит к Аристотелю.

Для создания всякой вещи – рассуждал Аристотель – нужно соединить форму (*morphe*) и материю (*hyle*). В ходе последующей истории западной мысли эта гилеморфическая модель творения все глубже укоренялась. Но она к тому же становилась все более неуравновешенной. Форму начали рассматривать как навязываемую разумным агентом с определенной задачей или целью, в то время как материя – подаваемая таким образом в качестве пассивной, инертной – стала тем, на что эта форма накладывается. Критический аргумент, который я хочу развить, состоит в том, что современные дискуссии в различных областях – от антропологии и археологии до истории искусства и материальной культуры – продолжают воспроизводить исходные допущения гилеморфической модели, даже когда стремятся восстановить равновесие между ее терминами. Моя конечная цель, однако, заключается в том, чтобы ниспровергнуть саму эту модель и заменить ее онтологией, которая отдает первенство процессам формирования, а не их конечным продуктам; потокам и трансформациям материалов, а не состояниям материи. Вспомним слова Клее: форма есть смерть; придание формы – жизнь. Короче говоря, моя цель – вернуть к жизни мир, который был практически уничтожен в заявлениях теоретиков, для которых, по словам одного из их наиболее выдающихся представителей, путь к пониманию и сопереживанию лежит в том, «что люди делают с объектами»⁵.

Мой аргумент состоит из пяти компонентов, каждый из которых соответствует ключевому слову в названии. Во-первых, я хочу настоять на том, что обитаемый мир состоит не из объектов, а из *вещей*. Поэтому я должен установить очень четкое различие между вещами и объектами. Во-вторых, я проясню, что подразумеваю под *жизнью* – как порождающей способностью того всеобъемлющего поля отношений, внутри которого возникают и удерживаются формы. Я буду утверждать, что

4 Делёз Ж., Гваттари Ф. *Тысяча плато: капитализм и шизофрения*. М.; Екатеринбург: Астрель; У-Фактория, 2010. С. 560.

5 MILLER D. *Why Some Things Matter* // IDem (Ed.). *Material Cultures*. London: UCL Press, 1998. P. 19.

обнаруживаемый в значительной части нынешней литературы акцент на материальной агентности является следствием редукции вещей к объектам и их последующего «выпадения» из процессов жизни. Действительно, чем больше теоретики говорят об агентности, тем меньше они, как мне кажется, говорят о жизни; я хотел бы расставить акценты в обратном порядке. Таким образом, в-третьих, я утверждаю, что фокус на жизненных процессах требует от нас внимания не к материальности как таковой, а к течениям и потокам *материалов*. Мы обязаны, как говорят Делёз и Гваттари, идти за этими потоками, проследившая пути порождения форм, куда бы те ни вели. В-четвертых, я установлю специфический смысл, в котором движение вдоль этих путей является *творческим*: речь о том, чтобы толковать творческую активность, [двигаясь] «вперед», как импровизационное слияние с процессами становления, а не «назад», как абдукцию от завершенного объекта к интенции в разуме агента. Наконец, я покажу, что пути или траектории, вдоль которых разворачивается импровизационная практика, не являются ни связями, ни описаниями отношений *между* одной вещью и другой. Они скорее представляют собой линии, *вдоль* которых непрерывно рождаются вещи. Таким образом, когда я говорю о *переплетении* (*entanglement*) вещей, я понимаю это в буквальном и точном смысле: не сеть (*network*) связей, а сплетение (*meshwork*) перепутанных линий роста и движения.

ТИМ ИНГОЛЬД
ПОГРУЖАЯ ВЕЩИ
В ЖИЗНЬ...

Современные дискуссии в различных
областях – от антропологии и археологии до
истории искусства и материальной культуры –
продолжают воспроизводить исходные допущения
гилеморфической модели, даже когда стремятся
восстановить равновесие между ее терминами.

ОБЪЕКТЫ И ВЕЩИ

Когда я пишу, сидя в одиночестве в своем кабинете, может показаться очевидным, что я окружен всевозможными объектами – от стула и стола, которые поддерживают мое тело за работой, до блокнота, в котором я пишу, ручки у меня в руке и очков, водруженных на нос. Представьте на мгновение, что все объекты из комнаты волшебным образом исчезли – остались только голый пол, стены да потолок. Я ничего не мог бы делать, разве что стоять или ходить по половицам. Мы могли бы



обоснованно заключить, что комната, лишенная всяких объектов, практически необитаема. Дабы стать пригодной для какой-либо деятельности, она должна быть *обставлена*. Как утверждал психолог Джеймс Гибсон, представляя свой экологический подход к визуальному восприятию, обстановка комнаты включает в себя *возможности* (*affordances*), которые позволяют жильцам осуществлять там свою повседневную деятельность: стул позволяет сидеть, ручка – писать, очки – видеть и так далее. Куда большие вопросы, однако, вызывает то, что Гибсон расширил свои рассуждения с внутреннего пространства комнаты до окружающей среды в целом. Он просит нас представить себе *открытое окружение*, «компоновку, состоящую только из одной земной поверхности»⁶. В предельном случае – то есть в отсутствие каких-либо объектов – такая среда была бы реализована в виде совершенно ровной пустыни с безоблачным небом наверху и твердой землей внизу, простирающейся во всех направлениях вплоть до большого круга горизонта. Сколь опустошенным было бы такое место! Как и половицы в комнате, поверхность земли позволяет лишь стоять и ходить. Возможность делать что-то еще проистекает из того, что открытое окружение, подобно интерьеру комнаты, обычно загромождено объектами. «Земная обстановка, – пишет Гибсон, – подобно меблировке комнаты, является тем, что делает ее обитаемой»⁷.

Теперь давайте покинем уединение кабинета и прогуляемся на свежем воздухе. Наш путь пролегает через лесную чащу. Со всех сторон окруженная стволами и ветвями среда, безусловно, кажется загроможденной. Но загромождена ли она *объектами*?

Предположим, мы сфокусировали внимание на конкретном дереве. Вот оно, укорененное в земле, ствол поднимается вверх, раскинутые ветви раскачиваются на ветру, с почками или листьями либо без них – в зависимости от времени года. Стало быть, дерево – это объект? Если да, то как нам его определить? Что есть дерево, а что не-дерево? Где кончается дерево и начинается остальной мир? На эти вопросы нелегко ответить – по крайней мере не так легко, как в случае с предметами мебели в моем кабинете. Является ли, например, кора частью дерева? Если я отломлю кусочек и внимательно его осмотрю, то, несомненно, обнаружу, что в нем обитает огромное множество крошечных существ, которые зарылись внутрь, устроив там свои жилища. Являются ли они частью дерева? А как насчет растительности на стволе или лишайников, свисающих с ветвей? Более того, если мы решили, что сверлящие кору насекомые составляют часть дерева в той же мере, что и сама

6 Гибсон Дж. *Экологический подход к зрительному восприятию*. М.: Прогресс, 1988. С. 66–67.

7 Там же. С. 125.

кора, то нет особых причин исключать других его обитателей, включая птицу, что строит там свое гнездо, или белку, которой оно предоставляет лабиринт из лестниц и трамплинов. Если к тому же принять во внимание, что характер этого конкретного дерева в не меньшей мере заключается в том, каким образом оно реагирует на потоки ветра, в покачивании ветвей и шелесте листьев, то уместно было бы задаться вопросом, может ли дерево быть чем-то иным, нежели деревом-в-воздухе.

Эти соображения подталкивают меня к выводу, что дерево – это вовсе не объект, а некое собрание нитей жизни. Вот что я имею в виду под вещью. В этом я следую – пусть и весьма вольно – ставшему классическим аргументу, выдвинутому философом Мартином Хайдеггером. В эссе «Вещь» Хайдеггер пытался выяснить, чем именно вещь отличается от объекта. Объект стоит перед нами как *fait accompli*⁸, представляя нашему взору свои застывшие внешние поверхности. Он определяется самой своей «предметностью» относительно обстановки, в которую помещен⁹. Вещь, напротив, является «продолжением», или, точнее, местом, где сплетаются несколько продолжений. Рассматривать вещь не значит быть замкнутым; это значит быть приглашенным присутствовать на собрании. Как весьма загадочно выразился Хайдеггер, мы сопричастны веществуванию вещи в мирении мира. Этот взгляд на вещь как на собрание, конечно же, восходит к древнему значению слова «вещь»: место, где люди собираются для решения своих дел¹⁰. Если помыслить каждого участника как того, кто ведет определенный образ жизни, прокладывая линию сквозь мир, то, вероятно, можно, как я предложил в другом месте, определить вещь в качестве «парламента линий»¹¹. Понятая так вещь отнюдь не обладает характером внешне ограниченной сущности, поставленной над миром и напротив него; она скорее является узлом, сплетенным из нитей, которые, далекие от сдержанности, тянутся за пределы, стремясь перепутаться с другими нитями в прочих узлах. Словом, вещи *протекают*, непрерывно извергаясь сквозь поверхности, которые временно формируются вокруг них.

Я вернусь к этому вопросу позднее, в контексте разговора о важности следования за потоками материалов. А пока давайте продолжим нашу прогулку на свежем воздухе. Мы понаблюдали за деревом; что еще могло бы привлечь наше внимание? Я спотыкаюсь о камень, лежащий на тропинке. Вы, разумеется,

ТИМ ИНГОЛЬД
ПОГРУЖАЯ ВЕЩИ
В ЖИЗНЬ...

8 Сверхившийся факт (фр.) – Примеч. перев.

9 Хайдеггер М. Вещь // Он же. *Время и бытие. Статьи и выступления*. М.: Республика, 1993. С. 317.

10 См. в рус. перев.: «Наш язык именует собрание в его сути одним старым словом. Оно звучит: *thing*, вече» (Там же. С. 321). – Примеч. перев.

11 INGOLD T. *Lines: A Brief History*. London: Routledge, 2007. P. 5.



скажете, что камень является объектом. Однако это соответствует действительности лишь в том случае, если мы искусственно изымаем его из процессов эрозии и осаднения, которые его сюда принесли, придав ему размер и форму, коими он обладает на данный момент. Как гласит пословица, катящийся камень мхом не обрастает, и все же в самом процессе обрастания мхом врезавшийся в место камень превращается в вещь, тогда как, с другой стороны, камень, который катится – подобно омываемой бегущей рекой гальке, – становится вещью в самом своем перекачивании. Точно так же, как дерево, чьи движения отвечают порывам ветра, есть дерево-в-воздухе, перекачивающийся по течению реки камень есть камень-в-воде. Теперь предположим, что мы подняли глаза вверх. День прекрасный, но на небе несколько облаков. Являются ли они объектами? Как ни странно, Гибсон считает, что да: ему кажется, будто они висят в небе, в то время как другие сущности, вроде деревьев и камней, находятся на земле. Таким образом, весь окружающий мир, по словам Гибсона, «состоит из земли и неба, из объектов *на* земле и *в* небе»¹². Художник Рене Магритт ловко спародировал этот вид мебелированного неба, изобразив облако как летающий объект, всплывающий в открытую дверь пустой комнаты. Конечно, облако и *вправду* не объект, а клуб пара, набухающий по мере того, как его несут потоки воздуха. Я бы сказал, что смотреть в облака значит «не высматривать в небе мебель, а ухватывать проблески неба-в-становлении, никогда не совпадающем с самим собой от момента к моменту»¹³. Опять же, облака – это не объекты, а вещи.

То, что относится к таким вещам, как деревья, камни и облака, которые могли бы вырасти или сформироваться практически или полностью без вмешательства человека, так же применимо и к структурам, которые, по всей видимости, являются искусственными. Возьмем здание: не фиксированную и окончательную структуру архитектурского проекта, но *актуальное* здание, опирающееся на заложенный в землю фундамент, подверженное воздействию стихий и восприимчивое к визитам птиц, грызунов и грибов. Португальский архитектор Алвару Сиза признался, что ему так и не удалось построить *настоящий* дом, под которым он подразумевает «сложную машину, в которой каждый день что-то ломается»¹⁴. Реальный дом никогда не бывает завершенным. Он скорее требует от своих обитателей непрерывных усилий по своему поддержанию в свете прихода и ухода его человеческих и нечеловеческих

¹² Гибсон Дж. Указ. соч. С. 109.

¹³ INGOLD T. *Earth, Sky, Wind and Weather* // Journal of the Royal Anthropological Institute. 2007. Vol. 13. № 1. P. 28.

¹⁴ SIZA A. *Architecture Writings*. Milan: Skira Editore, 1997. P. 47.

обитателей, не говоря уже о погоде! Дождевая вода протекает через крышу, с которой ветер сдул черепицу, и подпитывает рост грибков, грозящих разрушить бревна; сточные канавы полны гнилых листьев, а если всего этого недостаточно, жалуются Сиза, то «легионы муравьев вторгаются через пороги дверей, и покоя нет от мертвых тел птиц, мышей и кошек». Действительно, настоящий дом, совсем как дерево, представляет собой собрание жизней, и обитать в нем значит присоединяться к собранию, или, выражаясь в духе Хайдеггера, участвовать в веществовании вещи. Самые фундаментальные из наших архитектурных переживаний, объясняет Юхани Палласмаа, по форме являются скорее глагольными, а не именными. Они состоят не из встреч с объектами – фасадом, дверной рамой, окном и камином, – а из актов приближения и вхождения, вглядывания внутрь или вовне и впитывания тепла очага¹⁵. Будучи обитателями, мы воспринимаем дом не как объект, а как вещь.

ТИМ ИНГОЛЬД
ПОГРУЖАЯ ВЕЩИ
В ЖИЗНЬ...

ЖИЗНЬ И АГЕНТНОСТЬ

Что мы узнали, распахнув окна кабинета, выйдя из дома и гуляя на свежем воздухе? Столкнулись ли мы со средой, столь же загроможденной объектами, как мой кабинет мебелью, книгами и утварью? Отнюдь. На самом деле все выглядит так, будто там вообще нет никаких объектов. Конечно, там есть выпуклости, наросты, выступы, волокна, разрывы и полости, но не объекты. Хотя мы и можем *занимать* мир, наполненный объектами, тому, кто его занимает, содержание мира видится уже запертым в свои окончательные формы, замкнутым на себя. Как будто они повернулись к нам спиной. *Обитать* в мире, напротив, значит вливаться в процессы формирования. И мир, который таким образом открывается обитателям, на фундаментальном уровне является *средой без объектов*. Описывая дерево, камень, облако и здание, я хотел рассказать о жизни в *среде без объектов*. Вспомним, что для Гибсона окружающая среда, лишенная объектов, не могла быть ничем, кроме безликой и совершенно ровной пустыни. Лишь с добавлением объектов, разложенных на земле или висящих в небе, окружающая среда – в его терминах – становится пригодной для жизни. В таком случае как же мы пришли к столь противоположному выводу, а именно, что среда, населенная объектами, может быть занята, но не обитаема? Чем точка зрения Гибсона отличается от нашей? Ответ лежит в трактовке значения поверхности.

15 PALLASMAA J. *The Eyes of the Skin*. London: Academy Editions, 1996. P. 45.



По Гибсону, объекты открываются восприятию именно посредством своих внешних поверхностей. Всякая поверхность, объясняет он, представляет собой границу (*interface*) между более или менее твердым *веществом* (*substance*) объекта и изменчивой *средой* (*medium*), которая его окружает. Если вещество растворяется или испаряется в среде, то поверхность исчезает, а вместе с ней и объект, который она когда-то обволакивала¹⁶. Таким образом, сама объектность любой сущности состоит в разделении и несмешиваемости вещества и среды. Но уберите все объекты, и поверхность все равно останется – по Гибсону, самая фундаментальная из всех поверхностей, – а именно *земь* (*ground*), маркирующая границу между земным веществом внизу и газообразной средой неба наверху. Неужели земля в таком случае повернулась спиной к небу? Если бы это было так, то, по верному предположению Гибсона, жизнь была бы невозможна. Открытое окружение не могло бы быть обитаемым. Наш аргумент, напротив, состоит в том, что мир открытого *может* быть обитаем именно потому, что, где бы ни протекала жизнь, межповерхностное разделение земли и неба уступает первенство взаимной проницаемости и связыванию. Ибо то, что мы смутно зовем землей, на самом деле является вовсе не связной поверхностью, а зоной, в которой воздух и небесная влага сочетаются с веществами, источником коих является земля в процессе непрерывного формирования живых существ. Об упавшем на землю семени Пауль Клее пишет, что «отношение к земле и атмосфере порождает способность расти; [...] семя пускает корни, первоначально линия направлена к земле, хотя и не для того, чтобы там жить, а лишь для того, чтобы черпать оттуда энергию для выхода на воздух»¹⁷. В процессе роста точка становится линией, но линия, отнюдь не закрепленная на заготовленной поверхности земли, вносит свой вклад в ее непрерывно развивающееся плетение.

Короче говоря, в мире, где земля и небо не смешиваются и не спутываются, нет места жизни. Дабы получить представление о том, что значит обитать в таком земнебесном мире, можно вернуться к Хайдеггеру. В одном вычурном, по общему признанию, пассаже он описывает землю как то, что «растит и носит, питая, плодит, хранит воды и камни, растения и животных». А о небе он пишет, что оно есть «путь Солнца, бег Луны, блеск звезд, времена года, свет и сумерки дня, тьма и ясность ночи, милость и неприютность погоды, череда облаков и синеющая глубь эфира». Более того, нельзя говорить о земле, не думая сразу о небе, и наоборот. Одно причастно сущности другого¹⁸.

¹⁶ Гибсон Дж. *Указ. соч.* С. 48–51, 151.

¹⁷ КЛЕЕ Р. *Notebooks. Volume 2...* Р. 29.

¹⁸ ХАЙДЕГГЕР М. *Вещь.* С. 323.

Как же это далеко от отчета Гибсона о земле и небе как взаимоисключающих областях, жестко разделенных поверхностью земли и заселенных соответствующими объектами – «холмами и облаками, огнями и закатами, булыжниками и звездами»!¹⁹ Вместо гибсоновских существительных, означающих предметы мебели, описание Хайдеггера изобилует глаголами, отсылающими к росту и движению. В том, что земля, как он выражается, «растит», в безудержном извержении вещества сквозь пористые поверхности возникающих форм, мы и находим сущность жизни. Как я уже отмечал, вещи живы, потому что они *протекают*. В *среде без объектов* жизнь не сдержать – она неотъемлема от самих циркулирующих материалов, непрерывно порождающих формы вещей, пусть и предвещая их распад.

Таким образом, именно благодаря погружению в эти циркуляции вещи входят в жизнь. Это можно продемонстрировать с помощью простого эксперимента, который мы с моими студентами провели в Абердинском университете. Используя квадратный лист бумаги, бамбуковые палочки, тесьму, ленту, клей и бечевку, легко изготовить воздушного змея. Мы занимались этим в помещении, работая за столами. Судя по всем смыслам и целям, мы собирали объект. Но, едва мы вынесли свои творения в поле, как все изменилось. Внезапно они начали действовать, вращаясь, кружась, занывая носом и – лишь изредка – взлетая. Так что же произошло? Может, некая оживляющая сила волшебным образом вселилась в змеев, заставив их действовать способами, которые чаще всего расходились с нашими намерениями? Конечно же, нет. Скорее сами воздушные змеи были теперь погружены в потоки ветра. Воздушный змей, безжизненно лежавший на столе в помещении, превратился в воздушного-змея-в-воздухе. Это был уже не объект, если он вообще им когда-то был, а вещь. Как вещь существует в своем веществовании, так и воздушный-змей-в-воздухе существует в своем летании. Или, другими словами, в тот момент, когда змея вынесли за дверь, он перестал фигурировать в нашем восприятии как приводимый в движение объект и вместо этого стал движением, которое разрешается в форме вещи. Фактически то же самое можно сказать и о птице-в-воздухе или о рыбе-в-воде. Птица *есть* ее летание; рыба – ее плавание. Птица может летать благодаря потокам и завихрениям, создаваемым ею в воздухе, а рыба может быстро плавать благодаря завихрениям воды, создаваемым движениями ее хвоста и плавников. Если отрезать их от этих потоков, они будут *мертвы*.

Настал момент, когда можно решить – и, надеюсь, раз и навсегда похоронить – так называемую проблему агентности²⁰. Об

ТИМ ИНГОЛЬД
ПОГРУЖАЯ ВЕЩИ
В ЖИЗНЬ...

19 Гибсон Дж. Указ. соч. С. 109.

20 GELL A. *Art and Agency*. Oxford: Clarendon, 1998. P. 16.



отношениях между людьми и объектами было написано много; пишущие исходили из того, что различие между теми и другими далеко не абсолютно. Раз личности способны воздействовать на объекты, которые их окружают, то, как утверждается, объекты могут «дать сдачи», подтолкнув людей или позволив им подступить к тому, чего в ином случае они бы сделать не смогли²¹. Тем не менее первое же теоретическое движение, которое откладывает вещи в сторону, дабы сфокусироваться на их «объектности», отрезает вещи от потоков, которые их оживляют. Мы увидели это на примере с воздушным змеем. Мыслить воздушного змея как объект – значит упускать из виду ветер, забывать о том, что это в первую очередь воздушный-змей-в-воздухе. Таким образом, кажется, что полет воздушного змея есть результат взаимодействия между личностью (управляющей змеем) и объектом (самим змеем), которое можно объяснить, лишь вообразив, будто воздушный змей наделен внутренним одушевляющим принципом, агентностью, которая приводит его в движение – чаще всего вопреки воле человека. В более общем плане я полагаю, что проблема агентности порождается попыткой реанимировать мир вещей, уже умерщвленных или доведенных до инертности посредством блокировки потоков вещества, которые придают им жизнь. В *среде без объектов* вещи движутся и растут потому, что они живые, а не потому, что обладают агентностью. А живы они как раз потому, что не были низведены до статуса объектов. Идея, что объекты обладают агентностью, в лучшем случае является фигурой речи, навязанной нам (по крайней мере тем из нас, кто говорит по-английски) структурой языка, которая требует, чтобы каждый глагол действия отсылал к именному субъекту. В худшем же случае она приводит к тому, что большие умы выставляют себя дураками, так что подражать им было бы неразумно. По сути, истолковать жизнь вещей через агентность объектов – значит произвести двойную редукцию: вещей к объектам и жизни к агентности. Я считаю, что источником этой редуктивной логики является не что иное, как гилеморфическая модель.

МАТЕРИАЛЫ И МАТЕРИАЛЬНОСТЬ

Когда аналитики говорят о «материальном мире» или, в более абстрактном ключе, о «материальности», что они имеют

21 См., например: GOSDEN C. *What Do Objects Want?* // Journal of Archaeological Method and Theory. 2005. Vol. 12. № 3. P. 193–211; KNAPETT C. *Thinking through Material Culture*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005; HENARE A., HOLBRAAD M., WASTELL S. (Eds.). *Thinking through Things*. London: Routledge, 2007; ЛАТУР Б. *Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию*. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014; MILLER D. (Ed.). *Materiality*. Durham: Duke University Press, 2005; TILLEY C.

в виду?²² Какой смысл в том, чтобы взывать к материальности камней, деревьев, облаков, зданий или даже воздушных змеев? Задайте этот вопрос исследователям материальной культуры, и вы почти наверняка получите противоречивые ответы. Так, камень, согласно Кристоферу Тилли, можно рассматривать в его «грубой материальности», просто как бесформенный комок материи. Тем не менее, полагает Тилли, нам нужна концепция материальности, чтобы понять, как конкретные фрагменты камня обретают форму и значение в специфических социальных и исторических контекстах²³. Точно так же археолог Джошуа Поллард объясняет: «Под материальностью я подразумеваю то, как материальный характер мира постигается, присваивается и вовлекается в человеческие проекты»²⁴. В обоих высказываниях можно распознать две стороны гилеморфической модели: с одной стороны, грубую материальность, или «материальный характер» мира; с другой, – дарующую форму агентность человеческих существ. В концепте материальности разделение между материей и формой скорее воспроизводится, нежели оспаривается. Действительно, само понятие материальной культуры есть современное выражение гилеморфической материи-формы. Когда Тилли пишет о «грубой материальности» или археолог Бьёрнар Ольсен²⁵ – о «жесткой телесности [*physicality*] мира», все это выглядит так, будто мир перестал миреть и кристаллизовался в виде твердого и гомогенного осадка, ожидающего своей дифференциации через наложение культурной формы. В таком стабильном и стабилизированном мире ничто не течет. Там нет ни ветра, ни погоды, ни увлажняющего землю дождя, ни бегущих по ней рек, ни «роста» земли в растениях или животных, на самом деле вообще никакой жизни. Там не может быть вещей – лишь объекты.

В попытках уравновесить гилеморфическую модель теории настаивали на том, что материальный мир не является *пассивно* подчиненным человеческому проектированию. И все же, заблокировав поток материалов, они могут постичь активность материального мира, лишь приписывая объектам агентность. Впрочем, в голосе Полларда слышна нотка несогласия. Завершая важную статью об «искусстве распада и трансформации субстанции», он указывает, что материальные вещи,

ТИМ ИНГОЛЬД
ПОГРУЖАЯ ВЕЩИ
В ЖИЗНЬ...

The Materiality of Stone. Oxford: Berg, 2004; MALAFOURIS L., KNAPPETT C. (Eds.). *Material Agency*. Berlin: Springer, 2008.

22 INGOLD T. *Materials against Materiality* // *Archaeological Dialogues*. 2007. Vol. 14. № 1. P. 1–16.

23 TILLEY C. *Materiality in Materials* // *Archaeological Dialogues*. 2007. Vol. 14. № 1. P. 17.

24 POLLARD J. *The Art of Decay and the Transformation of Substance* // RENFREW C., GOSDEN C., DEMARRAIS E. (Eds.). *Substance, Memory, Display: Archaeology and Art*. Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research, 2004. P. 48.

25 OLSEN B. *Material Culture after Text: Re-membering Things* // *Norwegian Archaeological Review*. 2003. Vol. 36. № 2. P. 88.



как и люди, являются *процессами*, а их реальная агентность в том и заключается, что «они не всегда могут быть схвачены и сдержаны»²⁶. Как мы уже выяснили, жизнь вещей раскрывается именно в противоположности захвата и сдерживания – в освобождении и утечке. Приняв это во внимание, вернемся к Делёзу и Гваттари, которые настаивают на том, что всякий раз, когда мы сталкиваемся с материей, «это материя в движении, в потоке, в изменении». А в результате, продолжают они, «за такой материей-потоком можно только *следовать*»²⁷. То, что Делёз и Гваттари именуют здесь «материей-потоком», я назвал бы *материалом*. Исходя из этого я переформулирую их заявление в простое практическое правило: *следовать за материалами*. Я утверждаю, что среда без объектов – это не материальный мир, а мир материалов, то есть материи в движении. Последовать за такими материалами – значит войти в мир, который, так сказать, непрерывно кипит. Действительно, вместо того, чтобы сравнивать его с гигантским музеем или универмагом, где объекты расставлены в соответствии со своими атрибутами или происхождением, было бы полезнее представить мир в виде огромной кухни с необходимым запасом всевозможных ингредиентов.

Среда без объектов – это не материальный мир, а мир материалов, то есть материи в движении. Вместо того, чтобы сравнивать его с гигантским музеем или универмагом, было бы полезнее представить мир в виде огромной кухни с необходимым запасом всевозможных ингредиентов.

На кухне вещество смешивается в различных комбинациях, порождая новые материалы, которые в свою очередь смешиваются с другими ингредиентами в бесконечном процессе трансформации. Чтобы приготовить еду, контейнеры нужно открыть, а их содержимое высвободить. Мы должны снять крышки с вещей. Столкнувшись с анархическими склонностями своих материалов, повар и вправду вынужден бороться за сохранение некоего подобия контроля над происходящим. Вероятно, еще более тесную параллель можно провести с лабораторией алхимика. Как объясняет историк искусства Джеймс Элкинс, в алхимической перспективе мир состоял не из материи, описываемой исходя из научных принципов, то

²⁶ POLLARD J. *Op. cit.* P. 60.

²⁷ ДЕЛЁЗ Ж., ГВАТТАРИ Ф. *Указ. соч.* С. 692.

есть в терминах атомного или молекулярного состава, а из *веществ*, известных по тому, как они выглядят и ощущаются, а также благодаря наблюдению за тем, что с ними происходит при смешении, нагревании или охлаждении. Масла, например, были не углеводородами, а «тем, что поднималось на поверхность горшка с тушеными растениями или пребывало во тьме и зловонии на дне ямы с гниющей лошадиной плотью». Алхимия, пишет Элкинс, «это старая наука борьбы с материалами без полного понимания того, что происходит»²⁸. Он считает, что именно это всегда и делали художники в своей повседневной работе в мастерской. Их знание тоже касалось веществ, которые подчас мало чем отличались от тех, что использовались в алхимической лаборатории. Так, например, грунт для картины делался из (перетертых) лошадиных копыт, оленьих рогов и кроличьей шкуры, а краски смешивались с пчелиным воском, инжирным молоком и смолами экзотических растений. Красители изготавливались из причудливой смеси ингредиентов, таких, как маленькие красноватые насекомые, сваренные и высушенные на солнце для получения темно-красного пигмента, известного как кармин, или из уксуса и конского навоза, который смешивался со свинцом в глиняных горшках для получения лучшей белой краски.

Практикуя в *среде без объектов*, повар, алхимик и художник занимаются не столько наложением формы на материю, сколько сведением различных материалов вместе и сочетанием или перенаправлением их потоков в предвкушении того, что может получиться. То же самое можно сказать и о гончаре, как предполагает археолог Бенджамин Альберти в прекрасном исследовании керамики с аргентинского северо-запада, датируемой первым тысячелетием нашей эры. Было бы ошибочно, полагает Альберти, исходить из того, что горшок является фиксированным и стабильным объектом, несущим след культурной формы на «косной» материи физического мира²⁹. Напротив, факты свидетельствуют, что с горшками обращались, как с телами, и с той же заботой – дабы компенсировать хроническую нестабильность, укрепить сосуды на всю жизнь в свете вездесущей подверженности протечкам и пробоинам, которые чреваты распадом или метаморфозой. Вплетенные в ткань *среды без объектов*, горшки не более стабильны, чем тела, но они конституируются и удерживаются на месте в потоках материалов. Впрочем, если предоставить материалы самим себе, они могут выйти из-под контроля. Горшки разбиваются, тела распадаются. Требуются усилия и бдительность,

ТИМ ИНГОЛЬД
ПОГРУЖАЯ ВЕЩИ
В ЖИЗНЬ...

28 ELKINS J. *What Painting Is*. London: Routledge, 2000. P. 19, 23.

29 ALBERTI B. *Destabilising Meaning in Anthropomorphic Forms of Northwest Argentina* // Journal of Iberian Archaeology. 2007. № 9/10 (special issue «Overcoming the Modern Invention of Material Culture»). P. 211.



чтобы сохранить вещи в целости – будь то горшки или люди. То же касается и садовника, который вынужден трудиться, чтобы сад не превратился в джунгли.

Разумеется, современное общество противится этому хаосу. Но, как бы оно ни тщилося с помощью технических достижений построить материальный мир, соответствующий его ожиданиям – то есть мир дискретных, упорядоченных объектов, – его стремления разбиваются об отказ жизни от сдержанности. Можно думать, будто у объектов есть внешние поверхности, но везде, где есть поверхности, жизнь зависит от проходящего через них непрерывного обмена материалами. Если заблокировать этот обмен посредством «облицовки» (*surfacing*) земли или заточения тел, то ничто не сможет жить. Однако на практике такие блокировки могут быть лишь частичными и временными. Например, жесткая «облицовка» земли является, пожалуй, наиболее заметной характеристикой того, что мы условно называем «застроенной средой». На асфальтированной дороге или бетонном фундаменте ничто не вырастет, пока не добудет питание из отдаленных источников. Но даже самые стойкие материалы не могут вечно противостоять силам эрозии и износа. Таким образом, мощная поверхность, атакуемая корнями снизу и воздействием ветра, дождя и мороза сверху, в конечном счете трескается и крошится, позволяя растениям прорастать сквозь себя, дабы вновь смешиваться и сливаться со светом, воздухом и атмосферной влагой. Куда ни глянь, активные материалы жизни берут верх над мертвой рукой материальности, которая стерла бы жизнь с лица земли.

Современное общество противится хаосу. Но, как бы оно ни тщилося с помощью технических достижений построить мир дискретных, упорядоченных объектов, его стремления разбиваются об отказ жизни от сдержанности.

ИМПРОВИЗАЦИЯ И АБДУКЦИЯ

Возвращая вещи к жизни, я хотел воспеть творческий характер того, что Клее назвал «приданием формы». Однако в том, что я подразумеваю под творчеством, важна точность. В особенности я хотел бы обратить вспять тенденцию (явно преобладающую в литературе по искусству и материальной культуре) трактовать творчество, [двигаясь] «назад»: от результата в виде нового объекта через последовательность antecedent-

ных условий до беспрецедентной идеи в разуме агента. Эквивалентом такого прочтения является то, что антрополог Альфред Джелл назвал *абдукцией агентности*. Всякое произведение искусства, по Джеллу, является «объектом», который можно «соотнести с социальным агентом особым, “схожим с искусством” [art-like], образом»³⁰. Под «схожей с искусством» Джелл понимает ситуацию, в которой можно отследить цепочку каузальных связей, ведущих от объекта к агенту, причем первый, можно сказать, индексирует второго. Отследить эти связи – значит выполнить когнитивную операцию абдукции. Учитывая предложенную выше критику двойной редукции вещей к объектам и жизни к агентности, должно быть ясно, почему я считаю этот взгляд в корне ошибочным. Я настаиваю на том, что произведение искусства не объект, а вещь и, как утверждал Клее, роль художника заключается не в том, чтобы воспроизвести predetermined (preconceived) идею, будь та новой или нет, а в том, чтобы примкнуть к силам и потокам материала, порождающим форму произведения, и следовать за ними. «Следовать, – указывают Делёз и Гваттари, – не то же самое, что воспроизводить»: в то время как воспроизводство подразумевает процедуру *итерации*, следование означает *странствие*³¹. Художник – как и ремесленник – есть странник, чья работа неотделима (*consubstantial*) от траектории его или ее жизни. Более того, творческий характер работы состоит в продвижении, порождающем вещи. Трактовать вещи, [двигаясь] «вперед», – значит фокусироваться не на абдукции, а на импровизации³².

Импровизировать – значит следовать путям мира по мере их разворачивания, а не соединять, наоборот, ряд уже пройденных точек. Это означает, пишут Делёз и Гваттари, «воссоединяться с Миром или смешиваться с ним; по нити напева мы выбираемся из собственного дома»³³. Жизнь, по Делёзу и Гваттари, протекает вдоль таких нитей-линий. Они называют их «линиями ускользания», а иногда и «линиями становления». Решающий момент, однако, в том, что эти линии *не соединяют*.

«Линия становления не определяется ни точками, которые она соединяет, ни точками, которые ее komponуют; напротив, она проходит между точками, она возникает из середины. [...] Становление – не один и не два и не отношение между двумя; оно – промежуток, [...] линия ускользания, [...] перпендикулярная к двум»³⁴.

ТИМ ИНГОЛЬД
ПОГРУЖАЯ ВЕЩИ
В ЖИЗНЬ...

30 GELL A. *Op. cit.* P. 13.

31 ДЕЛЁЗ Ж., ГВАТТАРИ Ф. *Указ. соч.* С. 624.

32 INGOLD T., HALLAM E. *Creativity and Cultural Improvisation: An Introduction* // HALLAM E., INGOLD T. (Eds.). *Creativity and Cultural Improvisation*. Oxford: Berg, 2007. P. 3.

33 ДЕЛЁЗ Ж., ГВАТТАРИ Ф. *Указ. соч.* С. 518 (перевод изменен. – *Примеч. перев.*).

34 Там же. С. 487.



Таким образом, в жизни, как и в музыке или живописи, движения становления – рост растения из семени, рождение мелодии из встречи скрипки и смычка, движение кисти и ее след – не столько соединяются, сколько сменяются и доводятся до неразличимости проносящимся потоком. Жизнь разомкнута: ее импульс не в том, чтобы достичь конечной точки, а в том, чтобы продолжать идти. Устремляясь вперед, растение, музыкант или художник «подвергаются опасности импровизаций»³⁵.

Однако вещь – это не одна нить, а некое собрание нитей жизни. Делёз и Гваттари называют его *этовостью*³⁶. Но, если всякая вещь является таким пучком линий, что же происходит с нашим исходным концептом среды? Каков смысл среды в *среде без объектов*? Среда, буквально, есть то, что *окружает* вещь, но нельзя окружить нечто, не упаковав его, не превратив сами нити, вдоль которых проходит жизнь, в границы, коими она сдерживается. Вместо этого давайте вообразим, как то сделал Чарльз Дарвин в «Происхождении видов», будто мы глядим на «травы и кустарники, столпившиеся на густо поросшем берегу»³⁷. Посмотрите, как волокнистые пучки, составляющие каждое растение и кустарник, вплетаются друг в друга, формируя плотный пласт растительности. То, что мы привыкли называть «окружающей средой», на берегу преобразуется в необъятную путаницу линий. Именно такую точку зрения выдвинул шведский географ Торстен Хагерстранд, который вообразил, что всякая составляющая среды – люди, животные, растения, камни, здания – обладает непрерывной траекторией становления. Перемещаясь и сталкиваясь друг с другом, траектории многообразных составляющих сплетаются в различные комбинации. «Глядя изнутри, – писал Хагерстранд, – можно представить, будто кончики траекторий порой подталкиваются сзади силами, а иногда обретают глаза, глядящие вокруг, и руки, вытянутые вперед, ежемоментно вопрошая: “Что мне делать дальше?”». Переплетение этих вечно тянущихся траекторий, по выражению Хагерстранда, составляет текстуру мира – «большой гобелен Природы, сплетаемый историей»³⁸. Подобно дарвиновскому густо поросшему берегу, гобелен Хагерстранда суть поле, состоящее не из взаимосвязанных точек, а из перепутанных линий; это не сеть, а то, что я назову *сплетением* (*meshwork*).

35 Там же. С. 518.

36 Там же. С. 418.

37 Дарвин Ч.Р. *Происхождение видов*. М.: Эксмо, 2016. С. 92.

38 HÄGERSTRAND T. *Geography and the Study of the Interaction between Nature and Society* // *Geoforum*. 1976. № 7. Р. 332.

Я позаимствовал термин «сплетение» из философии Анри Лефевра³⁹. Есть нечто общее, замечает Лефевр, между тем, как слова записываются на странице, и тем, как движения и ритмы человеческой и нечеловеческой деятельности регистрируются в проживаемом пространстве, но только если мыслить письмо не как композицию из слов, а как ткань из линий – не *текст*, а *текстуру*. «Практическая деятельность, – замечает он, – пишется в природе [...] каракулями»⁴⁰. Представьте себе сетчатые (*reticular*) тропы животных и пути людей, идущих по своим делам вокруг домов в деревне или городе. Впутанные в эти множественные переплетения каждый памятник или здание являются скорее «архитектурой», нежели архитектурой. Вопреки мнимой неизменности и устойчивости они тоже представляют собой *этовости*, проживаемые в веренице перспектив, преград и переходов, что разворачиваются вдоль мириад путей, прокладываемых обитателями, которые кочуют из комнаты в комнату, входя и выходя в процессе выполнения рутинных задач. Все это резонирует с замечанием Палласмаа, что наш архитектурный опыт является главным образом глагольным, а не именным. Подобно тому, как жизнь обитателей изливается в сады и на улицы, в поля и леса, мир проникает в здание, порождая характерные отзвуки реверберации и узоры света и тени. В мире *среды без объектов* вещи реализуются именно в этих течениях и встречных потоках, вьющихся сквозь и посреди без начала и конца, а не в виде соединенных сущностей, ограниченных изнутри или снаружи.

Различие между линиями потока в сплетении и линиями соединения в сети имеет решающее значение. Однако оно упорно затемнялось главным образом в ходе разработки того, что стало известно (к большому сожалению) как «акторно-сетевая теория». Эта теория уходит корнями не в экологическое мышление, а в социологическое исследование науки и технологии. В рамках последнего львиная доля ее привлекательности исходит из обещания описывать взаимодействия между людьми (например учеными и инженерами) и объектами, с которыми они имеют дело (например в лаборатории), таким образом, чтобы агентность не концентрировалась в руках человека, а скорее распределялась среди всех элементов, которые связаны или взаимно включены в поле действия. Понятие «акторная сеть»,

39 В русском варианте книги Анри Лефевра этот термин передается словом «сети». Решение переводить *meshwork* как «(с)плетение» продиктовано контекстом противостояния Тима Ингольда сетевой логике, которая, с его точки зрения, способна помыслить лишь *пунктирную линию*, в этом отношении наследуя Евклидовой геометрии, редуцирующей линию движения и роста к фиксированным точкам и соединителям. – *Примеч. перев.*

40 ЛЕФЕВР А. *Производство пространства*. М.: Strelka Press, 2015. С. 126.



однако, вошло в англоязычную литературу как перевод с французского *acteur réseau*. И, как задним числом отметил один из ведущих сторонников этого подхода Бруно Латур, перевод придал выражению значение, которое в него изначально не вкладывалось. В просторечии, видоизмененном инновациями в информационно-коммуникационных технологиях, определяющим атрибутом сети является связность (*connectivity*)⁴¹. Но *réseau* может отсылать не только к сети, но и к плетению – тканому полотну, кружевному узору, переплетению нервной системы или паутине паука.

Линии паутины, например, в отличие от линий коммуникационной сети, не соединяют точки и не связывают вещи. Они сплетаются из материалов, выделяющихся из тела паука, и возникают по мере его движения. В этом смысле они являются продолжением самого бытия паука, прокладывающего свой путь в среду⁴². Это линии, вдоль которых он живет, воспринимает и действует в мире. Так вот, *acteur réseau* был задуман своими создателями (если не теми, кто был введен в заблуждение его переводом «сеть») как состоящий именно из таких линий становления. В значительной мере они вдохновлялись философией Делёза и Гваттари. А эти авторы совершенно четко говорят, что, хотя ценность паутины для паука состоит в том, чтобы ловить мух, линия паутины не *соединяет* паука с мухой, как и «линия ускользания» мухи не связывает ее с пауком. Эти две линии скорее разворачиваются в контрапункте: одна служит ритуальной для другой. Устроившись в центре паутины, паук регистрирует приземление мухи где-то на внешних краях, поскольку она посылает по нитям вибрации, которые улавливаются сверхчувствительными тонкими лапками паука. И тогда он может побежать вдоль линий паутины, чтобы отыскать свою добычу. Таким образом, нити-линии паутины создают *условия возможности* взаимодействия паука с мухой. Но сами по себе они не являются линиями взаимодействия. Если такие линии есть отношения, то это отношения не *между*, а *вдоль*.

Конечно, как и в случае с пауком, жизнь вещей обычно идет не вдоль одной, а вдоль множественных линий, завязанных в узел в центре, но тянущихся бесчисленными «свободными концами» к периферии. Таким образом, каждую из них следует изображать, как недавно предложил Латур, в форме звезды «с центром, окруженным множеством ведущих к центру и от него радиальных линий со всевозможными мелкими

41 LATOUR B. *On Recalling ANT* // LAW J., HASSARD J. *Actor Network Theory and After*. Oxford: Blackwell, 1999. P. 15.

42 INGOLD T. *When ANT Meets SPIDER: Social Theory for Arthropods* // KNAPPETT C., MALAFOURIS L. (Eds.). *Material Agency: Towards a Non-Anthropocentric Approach*. New York: Springer, 2008. P. 210–211.

отросточками»⁴³. Перестав быть замкнутым объектом, отныне вещь является непрерывно разветвляющейся паутиной линий роста. Такова *этовость* Делёза и Гваттари, которую они, как известно, уподобляют ризоме⁴⁴. Лично я предпочитаю образ грибного мицелия⁴⁵. Какой бы образ мы ни выбрали, важно исходить из текучего характера жизненного процесса, границы в котором поддерживаются лишь благодаря проходящему через них потоку материалов. В науке о разуме абсолютная граница между телом и средой не осталась бесспорной. Более пятидесяти лет назад пионер психологической антропологии А. Ирвинг Халлоуэлл утверждал, что «любое дихотомическое разграничение внутреннего–внешнего с человеческой кожей как границей психологически иррелевантно»⁴⁶; эхо этой точки зрения прозвучало в лекции антрополога Грегори Бейтсона, прочитанной в 1970 году, в которой он заявил, что «ментальный мир – разум, мир обработки информации – не ограничивается кожей»⁴⁷. Гораздо позже философ Энди Кларк выдвинул аналогичный тезис. Разум, говорит нам Кларк, это «дырявый [leaky] орган», который нельзя заключить в черепной коробке, ведь проводя свои операции, он общается с телом и миром⁴⁸. В более строгом ключе он должен был сказать, что «дырявым» является череп, тогда как разум есть то, что протекает! Как бы то ни было, я попытался вернуться к заявлению Бейтсона и сделать еще один шаг вперед. Я хочу сказать, что протекает не только разум, но и вещи в целом. И они делают это вдоль путей, коих мы придерживаемся, следуя за потоками материалов *в среде без объектов*.

ТИМ ИНГОЛЬД
ПОГРУЖАЯ ВЕЩИ
В ЖИЗНЬ...

Перевод с английского Дениса Шалагинова

43 ЛАТУР Б. Указ. соч. С. 248.

44 ДЕЛЁЗ Ж., ГВАТТАРИ Ф. Указ. соч. С. 434.

45 RAYNER A.D.M. *Degrees of Freedom*. London: Imperial College Press, 1997.

46 ХАЛЛОУЭЛЛ А.И. *Я и его поведенческая среда* // Личность. Культура. Общество. 2013. № 78. С. 51.

47 БЕЙТСОН Г. *Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии*. М.: Смысл, 2000.

48 CLARK A. *Being There*. Cambridge: MIT Press, 1997. P. 53.



Ни сети, ни ассамбляжи: одушевляя вещи с Тимом Ингольдом

Рэнсом с удивлением заметил, что не отбрасывает больше тени на песок, словно уже пересек границу внутреннего мира, что носил в уме столько лет. Свет гас, воздух темнел. Пыль стала тусклой и матовой, кристаллы на ее поверхности мертво помутнели. Бесконечная тьма легла на дюны, словно внешний мир перестал существовать.

Немного спустя он уже не заметил, что пошел дождь.

Джеймс Баллард. «Выжженный мир»¹

Денис Шалагинов
(р. 1986) – философ,
переводчик, независи-
мый исследователь.

Более сорока лет назад философ Мишель Серр заявил: «отныне вещь – всего лишь центр отношений, скрещивающихся дорог или переходов»². Сегодня вполне очевидно, что с этим вердиктом согласятся далеко не все. И в первую очередь сторонники философского подхода, известного как объектно-ориентированная онтология (ООО). 20 апреля 2007 года основоположник этого течения Грэм Харман прочитал в Голдсмитском колледже доклад под названием «Сети и ассамбляжи: возрождение вещей у Латура и Деланды», в котором, обратившись к концепциям упомянутых авторов, заявил, что оба вносят вклад в возвращение объектов в центр философии. Под «объектами» Харман понимает любые *реальные сущности*, которые, подвергаясь изменениям или поддерживая множественные представления³, сохраняют тем не менее *индивидуальный интерьер*, не исчерпываемый *отношениями*. В этом свете не удивительно, что возрождение вещей как объектов, коими, согласно Харману, могут быть названы акторы и ассамбляжи, пропитано пафосом борьбы с корреляционизмом – доминирующей в посткантианской философии позицией, в русле которой утверждается взаимная детерминация мышления и бытия, или, в более широком смысле, примат отношения над терминами, которые в него включены. Несмотря на то, что обсуждение (анти)корреляционизма зачастую сводится к проблеме выхода за пределы соотношения человеческого мышле-

¹ Баллард Дж. Г. *Выжженный мир* // Он же. *Terra Incognita: Затонувший мир. Выжженный мир. Хрустальный мир*. М.: АСТ, 2017. С. 358.

² Серр М. *Паразит* // Носорог. 2016–2017. № 5. С. 211.

³ Харман Г. *Сети и ассамбляжи: возрождение вещей у Латура и Деланды* // Логос. 2017. № 3. С. 4.

ния и бытия, то есть к вопросу о путях спекулятивного преодоления антропоцентризма⁴, в пределе речь идет не только и не столько о корреляции мысли и мира, сколько об отношениях вообще. Другими словами, врагом реалистической философии становится реляционизм как таковой. Именно от него Харман и пытается очистить концепции Латура и Деланды, тем самым конвертируя их в вариации на тему объектно-ориентированной онтологии. Критикуя различные формы антиреализма, автор отстаивает так называемый реалистический формализм, в основе которого лежит идея о том, что «формы скручены и сжаты, как пружины, внутри самих вещей» и, таким образом, «мир до краев наполнен призрачными сущностями, входящими в сети и ассамбляжи»⁵. Однако спекуляции на тему мира, переполненного призраками, не снимают вопроса о том, сводимы ли вещи к объектам. Иными словами, превращение акторов и ассамбляжей в «арену битв первой философии» еще не является достаточным условием для возрождения вещей, поскольку вопросы о том, *что* и *как* должно возродиться, отнюдь не предполагают однозначных ответов.

В том же 2007 году вышла книга Тима Ингольда «Линии: краткая история», в которой британский антрополог определил вещь как сплетение негеометрических линий, то есть путей роста и движения; иначе говоря, так понятая вещь представляет собой «парламент линий»⁶. Уже из этой дефиниции можно заключить, что для Ингольда вещь – это вовсе не объект, так как последний есть не что иное, как вырванный из отношений и тем самым обездвиженный *фрагмент* мира. Позиция антрополога состоит в том, что мир, *собранный* из таких фрагментов, не может быть обитаемым; а значит, развиваемая им экологическая мысль требует онтологии *мира без объектов*. Любопытно при этом, что Ингольд, подобно Харману, во многом следует феноменологической традиции, однако приходит к (почти) противоположным выводам. В то время как Харман стремится изъять вещи из отношений, тем самым избегая переключения на «процесс, поток, генезис, динамизм или протекание», предельная цель антрополога, напротив, заключается в том, чтобы погрузить вещи в потоки становления: позволить им свободно «протекать». Американский философ очень высоко оценивает теории Латура и Деланды⁷, тогда как Ингольд в свою очередь подвергает критике как того, так и другого, от-

ДЕНИС ШАЛАГИНОВ

НИ СЕТИ, НИ АССАМБЛЯЖИ:
ОДУШЕВЛЯЯ ВЕЩИ
С ТИМОМ ИНГОЛЬДОМ

4 См., например: ШАВИРО С. *Вселенная вещей* // Логос. 2017. № 3. С. 136, 142, 146.

5 ХАРМАН Г. *Сети и ассамбляжи...* С. 7.

6 INGOLD T. *Lines: A Brief History*. London: Routledge, 2007. P. 5.

7 Им посвящены отдельные работы. См.: ХАРМАН Г. *Государь сетей: Бруно Латур и метафизика* // Логос. 2014. № 4. С. 229–248; ХАРМАН Г. *DeLanda's Ontology: Assemblage and Realism* // Continental Philosophy Review. 2008. № 41. P. 367–383. См. также: DELANDA M., HARMAN G. *The Rise of Realism*. Cambridge: Polity Press, 2017.



стаивая позицию, которую можно было бы представить в виде негативной формулы: *ни сети, ни ассамбляжи*. Вполне предсказуемо возникает вопрос: тогда *что?* Ответ на него, как явствует из вышесказанного, кроется в специфической трактовке вещи, которую я и хочу рассмотреть в этой статье, – трактовке, строго реляционной. Таким образом, если для Хармана сети и ассамбляжи недостаточно «объектны», то для Ингольда они, напротив, слишком статичны, вырваны из жизненного переплетения путей. Ниже я разберу обе стороны этого спора и продемонстрирую, что конфликт между объектно-ориентированной и линеалогической⁸ интерпретациями вещей уходит корнями в расходящиеся трактовки *глубины*. Если в первом случае глубинна сама индивидуальная сущность (реальный объект, или нулевое лицо), то во втором случае – генеративное поле виртуальностей, предшествующее индивидуальным «поверхностным» формам. Дабы подтвердить этот тезис, я начну с рассмотрения позиции Хармана, затем сопоставлю его подход с концепцией Ингольда и в заключение, фокусируясь на ее размежевании с теориями сетей и ассамбляжей, раскрою связь указанного позиционного конфликта с предложенным в работах Ингольда наброском анимистической онтологии.

МИР СТРАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Применяя хармановский метод изложения чужих философий к его собственной онтологии, попробуем резюмировать ее в одном параграфе⁹. Ключом к пониманию его реализма мог бы послужить концепт странности, который отсылает к основополагающему зазору между реальностью и ее поверхностными проявлениями. В этом смысле хармановский реализм – трактуемый как позиция, не сковывающая себя ни рамками здравого смысла, ни естественнонаучными данными, – сам по себе оказывается странным, поскольку объекты, на которые он ориентирован, сущностно изъяты. Что под этим подразумевается? Ответ отсылает к базовому решению объектно-ориентированной онтологии, а именно – двойной поляризации, которая «расчетверяет» мир: если первая ось задана противоположностью реального и чувственного, то вторая – оппозицией объектов и их качеств. В итоге мы имеем «затемненный» мир, где объекты прячутся за своими репрезентациями, или чувственными «карикатурами». Этот онтологический расклад восходит к не-

8 Ингольд называет свой проект «линеалогией», то есть исследованием линий, которое выходит за пределы домена геометрии, обращаясь к изучению таких практик, как прогулка, плетение, рисование, письмо и так далее. См.: INGOLD T. *The Life of Lines*. London: Routledge, 2015. P. 53–54.

9 См.: ХАРМАН Г. *Сети и ассамбляжи*... С. 22.

стандартной интерпретации хайдеггерианской философии, которую, как утверждает Харман, можно свести к противоположности между сокрытостью вещей и их наличностью. Согласно доминирующему истолкованию пары подручного и наличного, вещи всегда уже вплетены в систему практических задач – критика этого тезиса и становится отправной точкой спекулятивного маршрута 000, ведь, по словам Хармана, «практика не больше, чем теория, достигает реальности объекта», тем самым оставаясь «на стороне поверхности вещей, которая не отражает глубины их реальности»¹⁰. Переосмысляя знаменитый пример Хайдеггера с молотком, который при поломке выходит из реляционной сети и становится изолированным наличным объектом, Харман постулирует, что условием самой поломки выступает «упрямый избыток», скрытый по ту сторону всякой функциональности. Таким образом, философ, по сути, *инвертирует* позицию Хайдеггера, для которого первичное бытие инструмента есть бытие в отношении. И здесь Харман обращается за помощью к Канту, распространяя его идеи о noumena и конечности человеческого восприятия на все сущности без исключения:

«Для 000 проблема Канта не в том, что, поместив вещь в себе за пределы любого доступа, он обрек нас на конечное незнание, а в том, что он ограничил эту вещь в себе человеческим опытом. С точки зрения 000, вещь в себе это не остаток, ускользающий исключительно от бедных и конечных человеческих существ, а сам объект в его отличии от *любого* отношения, в которое он вступает. [...] Когда градины ударяются о деревенские крыши, они сталкиваются с *феноменальными* крышами, а не с крышами-в-себе, являющимися постоянным избытком по ту сторону любого отношения с чем-либо»¹¹.

Исходя из этого объекты нельзя свести к отношениям, поскольку «отношения сами по себе всегда являются *переводящей* силой», которая, с точки зрения Хармана, не способна ухватить сущностное ядро, субстанциальную форму вещи¹². Вопреки довольствующимся «карикатурными» переводами реляционистам 000 утверждает, что эта форма первична и «может существовать *только в одном месте*», то есть «не может быть перемещена [...] не будучи переведенной»¹³. Следуя этому пути, мы вынуждены заменить различие мысли и бытия разрывом между объектами и отношениями. Этот шаг в свою

ДЕНИС ШАЛАГИНОВ

НИ СЕТИ, НИ АССАМБЛЯЖИ:
ОДУШЕВЛЯЯ ВЕЩИ
С ТИМОМ ИНГОЛЬДОМ

10 Он же. *Спекулятивный реализм: введение*. М.: РИПОЛ классик, 2019. С. 172–173 (курсив мой. – Д.Ш.).

11 Там же. С. 201–202.

12 HARMAN G. *Zero-Person and the Psyche* // SKRBINA D. (Ed.). *Mind That Abides: Panpsychism in the New Millennium*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2009. P. 259.

13 ХАРМАН Г. *Спекулятивный реализм*. С. 190 (курсив мой. – Д.Ш.).



очередь приводит к упомянутой выше модели мира, сформированного недоступными реальными объектами, которые обладают реальными и чувственными качествами, и доступными чувственными объектами, наделенными реальными и чувственными качествами¹⁴. При этом компоненты такого мира не способны сообщаться непосредственно, из чего вытекает необходимость разработки так называемой замещающей причинности, призванной описать «встречу» двух объектов внутри третьего. По словам Хармана, «подобно тому, как два чувственных объекта контактируют только через реальный объект, два реальных объекта контактируют только через чувственный», а стало быть, «отношение между двумя реальными объектами возможно только в форме прикосновения без прикосновения»¹⁵. Это (не)прикосновение, или «*вмещение*», как раз и выступает третьим, «составным», объектом. Таким образом, углубляя подручное через ноуменальное и очищая используемые философские композиты от антропоцентрических обертонов в пользу максимальной инклюзивности, Харман прокладывает маршрут к *отдельным* вещам в их *реальности*. Но каков критерий такой реальности? Ответом, как несложно догадаться, выступает упомянутый вначале *интерьер*, несоизмеримый с какими бы то ни было дескрипциями или перечислениями *внешних* характеристик объекта. Более того, такой интерьер, по сути, не укладывается в термины первого или третьего лица, отсюда – предлагаемая в 000 идея нулевого лица, которое отсылает к сущности или внутренней природе вещи за пределами всякого возможного (то есть чувственного) доступа. В результате мы получаем «странный» космос, собранный из «черных дыр», а всякая такая «дыра», то есть *сам* объект, представляет собой не что иное, как скрывающий свой глубинный интерьер «контейнер»¹⁶.

МИР БЕЗ ОБЪЕКТОВ

Метафора контейнера идеально подходит для прояснения логики, исходя из которой поле вовлеченности вещи в мир преобразуется во внутреннюю схему или строительный план, в результате чего те или иные характеристики вещи рассматриваются как поверхностные выражения некой внутренней архитектуры. Иллюстрацией подобного подхода могло бы послужить соотношение организма и его генотипа. Так, организм якобы реализует заранее установленную в нем генетическую

¹⁴ Он же. *Weird-реализм: Лавкрафт и философия*. Пермь: Hyle Press, 2020. С. 15–16.

¹⁵ Он же. *Спекулятивный реализм*. С. 199, 204.

¹⁶ См.: HARMAN G. *Zero-Person and the Psyche*. P. 278.

программу исходя из условий некоей среды, а стало быть, его единичная жизненная траектория понимается как сугубо реактивная, поскольку низводится до эффекта внедрения предсуществующей формы в пассивную материальную субстанцию. В самом сердце такого ДНК-гилеморфизма осуществляется то, что Ингольд называет «*инверсией*» – операцией, в ходе которой линии движения превращаются в границы содержания. В результате чего пучок жизненных нитей оказывается контейнером, который *вмещает* жизнь, *отделяя* организм от мира; и, как следствие, вещи замыкаются *в себе*¹⁷. В этом смысле образ контейнера наряду с метафорами строительного блока и цепи является эмблематическим для онтологии, которая мыслит мир, собираемый из заранее заготовленных фрагментов, или «атомов». Дабы подорвать господство такого «атомизма», Ингольд вводит целый ряд альтернативных образов, одним из которых является *узел*.

Описывать обитаемый космос в терминах переплетений и узлов – так можно было бы сформулировать философскую задачу линеалогии. Базовая гипотеза проекта состоит в том, что в мире непрерывного возникновения и становления вещей завязывание узлов является ключевой синтетической операцией, позволяющей формам держаться вместе, не впадая в состояние бесформенного потока. В отличие от контейнера, узел предполагает акцент на *формировании*, то есть *движении во-вне*, а не на заданной раз и навсегда внутренней форме. Более того, в динамической логике узла отделение внутреннего от внешнего оказывается невозможным. В то время как контейнер определяется границей между интерьером и экстерьером, узел запутывает саму эту оппозицию, препятствуя локализации ее терминов. Вместо интерьера «здесь» и экстерьера «там» мы имеем дело с переплетающимися нитями и промежутками между ними. Таким образом, поверхности узла «не огораживают, а лежат “между линиями” материалов, из которых состоят»¹⁸. Иными словами, в переплетении как бы происходят непрерывные перетекания между внутренним и внешним, при этом нити, не теряя сингулярности, формируют пластичную «архитектуру» космоса. Таким образом, объяснение мира в терминах сплетающихся узлов кардинально отличается от того, с чем мы имеем дело в рамках ОО. По сути, тезис Хармана о том, что внутренних отношений между отдельными вещами не существует¹⁹, в ареале линеалогии подвергается двойному

ДЕНИС ШАЛАГИНОВ

НИ СЕТИ, НИ АССАМБЛЯЖИ:
ОДУШЕВЛЯЯ ВЕЩИ
С ТИМОМ ИНГОЛЬДОМ

17 См.: INGOLD T. *Rethinking the Animate, Reanimating Thought* // ИДЕМ. *Being Alive. Essays on Movement, Knowledge and Description*. London; New York: Routledge, 2011. P. 68; ИДЕМ. *The Life of Lines*. P. 41, 53, 74; Ингольд Т. *Культура, природа, среда: на пути к экологии жизни* // Стадис. 2019. № 1. С. 109–110.

18 INGOLD T. *The Life of Lines*. P. 15.

19 ХАРМАН Г. *Сети и ассамбляжи...* С. 10–11.



переворачиванию: во-первых, здесь не существует отдельных вещей, и, во-вторых, все отношения в каком-то смысле являются внутренними. Но разве это не противоречит тому, что было сказано о подрыве оппозиции интерьера и экстерьера? Дело в том, что онтология Ингольда описывает именно запутывание, вихреобразное кружение этих двух полюсов, их смешение и взаимопроникновение. Обитаемый мир состоит не из устойчивых композитов, а из турбулентных линий брожения, каждая из которых отвечает, или «соответствует», всякой другой, формируя своеобразный космогонический круговорот. Согласно Ингольду, принцип соответствия, или отзывчивости, лежит в основе жизни, в том числе социальной, поскольку сплетающие ее линии – не замкнутые сущности, а разомкнутые траектории, свивающиеся друг с другом, как веревочные нити. В динамике переплетения таких нитей как раз и кроется ответ на вопрос об интериорности любых отношений. Они являются внутренними в том смысле, что вещи «встречаются не лицом к лицу, снаружи, а в самой глубине узла», соединяясь не впритык, а посередине, поскольку узлы находятся *посреди* вещей²⁰. Иными словами, образ узла мобилизуется Ингольдом прежде всего для описания альтернативного типа связывания, такого, которое осуществляется не в аддитивной логике конъюнкции (и..., и..., и...), а через соответствие и симпатию (с..., с..., с...), действующее *изнутри* вещей, обеспечивая дифференциацию узлов, то есть их взаимное формирование.

Обитаемый мир состоит не из устойчивых композитов, а из турбулентных линий брожения, каждая из которых отвечает всякой другой, формируя своеобразный космогонический круговорот. Принцип отзывчивости лежит в основе жизни, в том числе социальной, поскольку сплетающие ее линии – не замкнутые сущности, а разомкнутые траектории, свивающиеся друг с другом, как веревочные нити.

Важное следствие подхода к осмыслению вещей в терминах узлов и соответствий, то есть их рассмотрения с точки зрения генезиса, состоит в наделении так понятых вещей историчностью. Если Харман утверждает, что «реальные вещи забывают большую часть своих историй», что якобы делает сам генезис

20 INGOLD T. *The Life of Lines*. P. 22 (курсив мой. – Д.Ш.).

избыточным, то, с точки зрения Ингольда, память, напротив, проникает в сам материал вещи, в скручивания и сгибы составляющих ее волокон²¹. Принимая это во внимание, следует заключить, что ОО доводит до предела логику, которую Ингольд описывает при помощи образа капли. Что здесь имеется в виду? В самом начале книги «Жизнь линий» Ингольд утверждает, что большинство жизненных форм можно описать в виде комбинаций капли и линии. В то время как капли обладают объемом, массой, плотностью, и в этом смысле они дают нам материалы, в линиях ничего подобного нет. Но тогда что в них есть? По Ингольду, как раз то, чего в свою очередь нет у капель, а именно – скручивание, сгибание и живость. Иными словами, линии дают нам жизнь, которая, по словам антрополога, «началась тогда, когда стали появляться линии, ускользающие от монополии капель»²². Прибегая к делёзианской терминологической паре, он добавляет: если капля утверждает принцип территориализации, то линия – принцип детерриториализации. Таким образом, капля – обездвиженная вещь. В этом смысле ОО предъявляет нам мир вещей, расставленных по своим местам, где под «местом» имеется в виду как раз «первая неподвижная граница объемлющего тела»²³. Иначе говоря, принятие аристотелевского соматизма²⁴ приводит к онтологии (сверх)территориализованных вещей, ведь, как мы помним, реальная форма в ОО может существовать лишь в одном месте. А значит, конечным продуктом прославляемого Харманом возрождения вещей оказываются и вправду странные – *немертвые* – вещи, если принять во внимание, что «первое же теоретическое движение, которое откладывает вещи в сторону, дабы сфокусироваться на их “объектности”, отрезает вещи от потоков, которые их оживляют»; то есть реанимация изъятых вещей, «низведенных до статуса объектов», парадоксальным образом возвращает их к жизни «уже умерщвленными»²⁵.

Таким образом, философия Хармана и его последователей «представляет нам призрак мира», где «все, что когда-либо жило, дышало или двигалось, ушло глубоко в себя» и, рассыпавшись на «непроницаемые куски», пребывает вне времени, в полной инертности; это не что иное, как «ископаемая вселенная»²⁶. Именно так Ингольд охарактеризовал ОО, акцентиро-

ДЕНИС ШАЛАГИНОВ

НИ СЕТИ, НИ АССАМБЛЯЖИ:
ОДУШЕВЛЯЯ ВЕЩИ
С ТИМОМ ИНГОЛЬДОМ

21 ХАРМАН Г. *Сети и ассамбляжи...* С. 13; INGOLD T. *The Life of Lines*. P. 25.

22 Ibid. P. 3–4.

23 АРИСТОТЕЛЬ. *Физика* // Он же. *Сочинения: В 4 т.* М.: Мысль, 1981. Т. 3. С. 132.

24 Под «соматизмом» понимается восходящее к Аристотелю и Канту учение о физике как физике тел; таким образом, соматизм есть философская позиция, кладущая тела (формы) в основание природы. См.: GRANT I. H. *Philosophies of Nature after Schelling*. New York; London: Continuum, 2006. P. 8.

25 См. опубликованную в этом номере «НЗ» статью Тима Ингольда «Погружая вещи в жизнь: творческие переплетения в мире материалов».

26 INGOLD T. *The Life of Lines*. P. 16.



вав внимание на том, что в таком мире безвременья абсолютно ничего не может происходить. Так ли это? Давайте посмотрим. В одном из параграфов книги «Четвероякий объект» с говорящим названием «Темпоральность без времени» Харман пишет, что мы не должны быть обмануты словом «время», которое фигурирует в заглавии ключевой работы Хайдеггера, ведь «Хайдеггер не Бергсон и не Делёз», он скорее близок окказионализму, изолирующему один момент от другого. В мире Хайдеггера, пропущенного через фильтр 000, время будет сведено к набору четырех букв с дефисом между ними: ЧО-ЧК, то есть проживаемое время, трактуемое как связка *чувственного объекта* и *чувственного качества*. Эта комбинаторика превращает момент времени в некий аналог хармановского объекта – своего рода темпоральную «черную дыру»; в результате изолированный момент становится «таким неоднозначным и увлекательным, как никогда ранее», ведь теперь «мы можем представить, что движение времени полностью заморожено колдуньей, волшебником; [...] теперь время перестает течь и остается застывшим в едином моменте»²⁷. Другими словами, вся суть этого волшебства в том, чтобы редуцировать вещи к бытию, отделив их от становления. Образно выражаясь: очистить капли от линий. Но тогда, как справедливо замечает Ингольд, столь любимый Харманом пример с крышей и каплями дождя теряет всякий смысл, ведь в мире безвременья дождь, который представляет собой не что иное, как падение капель, становится попросту невозможен; иначе говоря, дождь есть *процесс*: скорее глагол, нежели субстантив²⁸. Впрочем, при ближайшем рассмотрении выясняется, что в мире объектов в принципе невозможны метеорологические феномены: можно ли, скажем, описать потоки ветра в терминах 000?

Таким образом, акцент на бытии вещи чреват ее превращением в неподвижную форму, запертую в глубинном внутреннем пространстве. Критикуя подобную «ноуменализацию», Ингольд полемически заявляет, что «мир вещей – это мир узлов, *мир без объектов*»²⁹. Материал *мира без объектов* – линии брожения, протекания, смещения. Все, что не упаковано в оболочку места. Возвращаясь к Аристотелю, заметим, что место всего лишь «*кажется* какой-то поверхностью, как бы сосудом и объемлющим телом»³⁰. В пределе, как показывает Ингольд, линии жизни обитателей *мира без объектов* подрывают такой «порядок мест» изнутри:

27 ХАРМАН Г. *Четвероякий объект: метафизика вещей после Хайдеггера*. Пермь: Hyle Press, 2015. С. 63.

28 INGOLD T. *The Life of Lines*. P. 16–17.

29 Ibid. P. 16.

30 АРИСТОТЕЛЬ. *Указ. соч.* С. 132 (курсив мой. – Д.Ш.).

«Непрерывно расплзающиеся линии [...] исследуют каждую трещину или расщелину, которые потенциально могли бы открыть дорогу росту и движению. Жизнь не сдержат – скорее она проложит свой путь сквозь мир вдоль мириад линий своих отношений. Но, если жизнь не замкнута в границах, ее нельзя и окружить. [...] Для обитателей [...] окружающая среда состоит не в окружении ограниченного места, а в зоне, где несколько их путей основательно переплетены. В этой зоне сплетения – мешанине спутанных линий – нет ни внутреннего ни внешнего, лишь отверстия и проходы»³¹.

ДЕНИС ШАЛАГИНОВ

НИ СЕТИ, НИ АССАМБЛЯЖИ:
ОДУШЕВЛЯЯ ВЕЩИ
С ТИМОМ ИНГОЛЬДОМ

Место кажется поверхностью, отделяющей интерьер от экстерьера, но, как пишет Мишель де Серто, «чужой всегда уже присутствует внутри границ», а значит, «все происходит так, как если бы само разграничение было мостом, открывающим внутреннее его другому»³². Следуя де Серто, мы могли бы сказать, что, если *мир без объектов* сплетен из движений, его характер не может определяться порядком мест, а связан скорее с фигуративными деформациями и отклонениями, то есть является не топическим, а топологическим. Исходя из этого само место есть не что иное, как складка, а его поверхность, с линеалогической точки зрения, возникает через преобразование жизненных нитей в следы и растворяется благодаря трансформации следов в нити³³. Формирующиеся таким образом поверхности являются скорее пористыми, нежели непроницаемыми: последние преобладают в застроенной среде, где инжиниринг твердости³⁴ силится сдержать проходящий сквозь поверхности круговорот материалов. В этом смысле облицовка земли асфальтом раскрывает глубинный импульс модерна к отмене времени. По-своему любопытно, что Харман считает главной задачей актуальной мысли преодоление модернизма в философии, ведь его собственная онтология есть предельное выражение желания модерна построить мир, который соответствовал бы современным ожиданиям: «мир дискретных, упорядоченных объектов»³⁵. При этом отказ от времени оканчивается чем-то вроде зеркального отражения ликвидации погоды в мире 000 – по крайней мере если вслед за Ингольдом допустить, что сама погода есть не что иное, как неисторическое и неупорядоченное время, то есть время, проживаемое не в качестве ряда событий, а как взаимная настройка внимания и реакции на ритмические отношения в мире вещей и атмосфер-

31 INGOLD T. *Lines: A Brief History*. P. 103.

32 СЕРТО М. ДЕ. *Изобретение повседневности. Искусство делать*. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. С. 234.

33 См.: INGOLD T. *Lines: A Brief History*. P. 52, 61.

34 Об инжиниринге твердых поверхностей см.: ИДЕМ. *The Life of Lines*. P. 44–45.

35 См. опубликованную в этом номере «НЗ» статью Тима Ингольда «Погружая вещи в жизнь: творческие переплетения в мире материалов».



ных явлений³⁶. Если исходить из этой (метеорологической) перспективы, существование объектов и вправду становится проблематичным, ведь под воздействием стихийных сил земли и неба поверхности, сосуды и объемлющие тела разрушаются и перекраиваются, позволяя вещам протекать.

Из глубины: земля и небо

Как считает Стивен Шавиро, у мира вещей «более глубокая реальность»³⁷. Вопрос, однако, в том, что это за глубина. В начале статьи я сказал, что если в случае 000 глубинна сама индивидуальная форма, то *в мире без объектов* – реляционное поле, формы порождающее. Я показал, что реальность вещи как объекта есть ее скрытый интерьер, но какова реальность вещи в безобъектном мире, то есть вещи как узла в реляционном поле? Вещи здесь не заключены в индивидуальных «0-личных» камерах, а вытекают из глубин земли, чтобы смешаться с атмосферными потоками неба. Но что здесь понимается под землей и что – под небом? Начнем с земли. Прежде всего земля – это *не* тело, и в этом смысле могло бы показаться, что Ингольд следует за Эдмундом Гуссерлем, но это впечатление обманчиво. В известном тексте о земле как Перво-Ковчеге немецкий философ утверждает, что земля как целое – это неподвижная основа, при этом каждый отделяемый от нее «кусок» есть тело, тогда как сама она телом не является³⁸. В линеалогии, однако, земля не статичный фундамент и не целое. Причем вещи не могут быть от нее отделены. Иными словами, здесь нет никаких «кусков». Такой взгляд на вещи как отдельные тела куда ближе Харману, с той оговоркой, что в данном случае земля – это не просто объект, а своего рода «перво-контейнер». По Ингольду, смысл земли совсем другой. Земля не стоит на месте, как, впрочем, и место не стоит на земле, но если попытаться помыслить саму землю как место, то оно окажется чем-то вроде лабиринта: многоскладчатой мультилинейной матрицей. Иллюстрацией этой мысли могут послужить обсуждаемые Ингольдом модели небоскреба и горы. Возвышаясь над землей, небоскреб воплощает абстрактный геометрический принцип чистой вертикали, неотделимый от полагания горизонтали; то и другое можно перевести в термины базиса и надстройки: условие строительства здания – это устойчивый фундамент, на котором оно возводится.

36 О погоде как нехронологическом проживаемом времени (времени чистой флуктуации) см.: IDEM. *The Life of Lines*. P. 68–71.

37 Шавиро С. Указ. соч. С. 132.

38 См.: Гуссерль Э. *Коперниканский переворот коперниканского переворота. Перво-Ковчег Земля* // Ежегодник по феноменологической философии 2009/2010. М.: РГГУ, 2010. С. 356.

Но в случае горы этот подход начинает сбивать. Так, если здания строятся из «препарированных» материалов, то горы вырастают из тектонических движений земной коры: «всякая гора есть складка в земле, а не сооружение, расположенное на ней»³⁹. Далее, если в модели небоскреба блоки опускаются вниз, то в случае горы земные материалы устремляются вверх. Из-за вулканической активности земля набухает и вздымается, то есть гора вызревает из глубин земли, оставаясь землей⁴⁰. В этом смысле вещь попросту не может быть отделяемым от основания «куском» – она скорее сродни вулкану, который не только отсылает к скрытым глубинам, но также извергается⁴¹. Иначе говоря, вещи скорее взмывают ввысь, чем остаются запертыми в индивидуальных усыпальницах глубоко под землей⁴².

Таким образом, земля не является ни строительной площадкой, ни косным субстратом, ни множественностью индивидуальных гробниц. По Ингольду, «сплетаемая, как гобелен, из жизней ее обитателей», она представляет собой гигантский клубок перепутанных троп, вдоль которых эти обитатели движутся и растут⁴³. Исходя из этого вещи нельзя оторвать от земли, тогда как земля не может быть изолирована от неба, с которым ее материалы непрерывно смешиваются. И здесь необходимо прояснить, что антрополог понимает под «небом». По словам Ингольда, занятая объектами и людьми земная поверхность и пустое (за вычетом облаков и птиц) небо могли бы существовать разве что в «симулякре мира, моделируемого во внутреннем пространстве»⁴⁴. Иначе говоря, такой взгляд есть продукт упомянутой выше инверсии. Если исходя из этой логики земля видится «фундаментом», то небо – «сводом» над головой. Тем самым, воспроизводя раскол между материальным миром и мыслью, трактовка земли и неба в терминах взаимоисключающих поверхностей приводит к имматериализации второго. По словам Ингольда, избежать этого эффекта как раз и позволяет рассмотрение земли и неба в качестве неразделимого реляционного поля, сплетаемого линиями движения его обитателей, которые, прокладывая свои тропы сквозь текучий мир, непосредственно сталкиваются с разнообразными атмосферными явлениями:

39 INGOLD T. *The Life of Lines*. P. 33.

40 Иными словами, «дно как бы поднимается на поверхность, не переставая быть дном» (Делёз Ж. *Различие и повторение*. СПб.: Петрополис, 1998. С. 45). Ингольд напрямую обращается к этой идее Делёза.

41 См.: SHAVIRO S. *The Universe of Things: On Speculative Realism*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2014. P. 36.

42 См.: «Многие реальные объекты могут быть обречены на вечный сон» (HARMAN G. *Zero-Person and the Psyche*. P. 282).

43 Ингольд Т. *Родословная, поколение, субстанция, память, земля* // Этнографическое обозрение. 2008. № 4. С. 95.

44 INGOLD T. *Earth, Sky, Wind and Weather* // IDEM. *Being Alive...* P. 115.

ДЕНИС ШАЛАГИНОВ

НИ СЕТИ, НИ АССАМБЛЯЖИ:
ОДУШЕВЛЯЯ ВЕЩИ
С ТИМОМ ИНГОЛЬДОМ



«Для них обитаемый мир задан прежде всего воздушными потоками погоды, а не заземленными постоянствами ландшафта. Погода динамична, она постоянно развивается, непрерывно меняется ход ее событий. [...] В этом мире земля, далекая от того, чтобы служить прочным экзистенциальным фундаментом, кажется плывущей, подобно хрупкому и эфемерному плоту, сотканному из нитей земной жизни и подвешенному в огромной сфере неба»⁴⁵.

В этом смысле небо не что иное, как среда воздуха, которая играет фундаментальную роль в *мире без объектов*. Воздух необходим организмам для дыхания, при этом вдох и выдох также могут быть описаны в терминах соответствий, переплетений и узлов. С этой перспективы дыхание предстает чем-то вроде завязываемого в воздухе узла, который позволяет одним сущим сплетаться с другими в той «близости, что отрицается объектно-ориентированной онтологией», тогда как в безобъектном мире «дыхание есть способ, с помощью которого сущие могут иметь прямой доступ друг к другу изнутри, в то же время выплескиваясь в космос»⁴⁶. Исследование воздуха и дыхания, ветра и погоды позволяет Ингольду наметить контуры специфической неэциентистской метеорологии, в фокусе которой пребывает не климат, а атмосфера, понятая как слияние аффективного с космическим. Это слияние, или открытость миру-в-становлении, как раз и выступает основополагающей характеристикой анимистической онтологии.

Конвенционально анимизм определяется как вера в то, что все во вселенной обладает душой, или, как утверждает Дэвид Скрбина, «у объектов есть "духи" – например, "дух дерева", обитающий в дубе, или "дух воды", обитающий в озере»⁴⁷. Несложно заметить, что это определение целиком и полностью основано на логике инверсии, исходя из чего мы имеем объект (контейнер) и душу (содержимое). Отсюда и вытекает вывод Скрбины о том, что анимизм характеризуется дуалистической и антропоцентрической природой. Так ли это? В широко известной структуралистской интерпретации анимизма Филипп Дескола определяет его через сходство внутренних миров и различие физических свойств; иными словами, нечеловеческие существа здесь наделяются душой, схожей с человеческой, тогда как дифференцирующая роль отводится телу, и, таким образом, через «игру идентичности и различия, связанную с атрибутами души и тела», в онтологии анимизма утверждается принцип антропоморфной духовности, выступающий залогом межвидового общения. В этом смысле анимизм харак-

⁴⁵ ИДЕМ. *Rethinking the Animate, Reanimating Thought*. P. 73–74.

⁴⁶ ИДЕМ. *The Life of Lines*. P. 66–67.

⁴⁷ СКРБИНА Д. *Panpsychism in the West*. Cambridge; London: The MIT Press, 2005. P. 19.

теризуется не антропоцентризмом, но антропоморфизмом; а дуализм до некоторой степени смягчается структуралистской комбинаторикой⁴⁸. Таким образом, здесь подрывается оппозиция между живым и неживым, но все еще сохраняется разграничение между внутренним и внешним. Ингольд развивает альтернативный вариант анимистической онтологии, где жизнь имманентна процессу непрерывного возникновения мира, а значит, одушевленность является не человеческим свойством, проецируемым на пассивные вещи при помощи воображения, как и не результатом внедрения агентности в материальность, а представляет собой не что иное, как динамический трансформативный потенциал реляционного поля, внутри которого сущие «взаимно порождают друг друга»⁴⁹. Как неоднократно повторяет Ингольд, это поле задано вовсе не точками и соединителями, а спутанными линиями, формирующими «архитектуру» мира. Иными словами, речь идет не о сети (*network*), а о сплетении (*meshwork*). Если в случае сети мы имеем дело с вещами и отношениями, то в сплетении логика пунктирно-го соединения замещается прокладыванием линий движения сквозь зарождающийся мир, а значит, различие между вещью и отношением подрывается, поскольку так поняты вещи и *есть* отношения⁵⁰. В этом свете критика Ингольдом сетей и ассамбляжей становится вполне прозрачной. Вспомним, что концепт ассамбляжа призван обозначить целостность, которая характеризуется отношениями экстериторности; иначе говоря, в этом типе связи компоненты наделены относительной автономией от целого, которое возникает в результате их взаимодействия, а значит, «составная часть ассамбляжа может быть отделена и помещена в другой ассамбляж»⁵¹. Иными словами, ассамбляж представляет собой замкнутый на себя и отделимый от других *строительный блок*. И если Харман называет эту теорию «одной из самых прозрачных и амбициозных философий нашего времени»⁵², то причины этой похвалы также вполне прозрачны, ведь *lego*-делёзианство Деланды является оптимальной кандидатурой для упаковки в объектно-ориентированный реализм. Что же касается Латура, то его философия есть теория акторов и соединений, или связей между единицами в *цепи*⁵³. В обо-

ДЕНИС ШАЛАГИНОВ

НИ СЕТИ, НИ АССАМБЛЯЖИ:
ОДУШЕВЛЯЯ ВЕЩИ
С ТИМОМ ИНГОЛЬДОМ

48 Дескола Ф. *По ту сторону природы и культуры*. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 171–189.

49 См.: INGOLD T. *Rethinking the Animate, Reanimating Thought*. P. 68. См. также полемику с Десколом по вопросу об анимизме и натурализме: IDEM. *A Circumpolar Night's Dream* // IDEM. *The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill*. London; New York: Routledge, 2000. P. 106–108.

50 IDEM. *Rethinking the Animate, Reanimating Thought*. P. 70; IDEM. *Lines: A Brief History*. P. 73–75.

51 ДЕЛАНДА М. *Новая философия общества: теория ассамбляжей и социальная сложность*. Пермь: Hyle Press, 2018. С. 20.

52 ХАРМАН Г. *Сети и ассамбляжи*... С. 9.

53 Ярким примером такой логики связывания и организации может послужить недавняя идея составления земного инвентаря, где сама Земля якобы должна быть модифицирована в некое подобие склада, под завязку забитого неуживчивыми вещами, которые призывают «высказаться», дабы снабдить их ярлыком



ДЕНИС ШАЛАГИНОВ

НИ СЕТИ, НИ АССАМБЛЯЖИ:
ОДУШЕВЛЯЯ ВЕЩИ
С ТИМОМ ИНГОЛЬДОМ

их случаях заявляет о себе логика конъюнкции «атомарных» компонентов. Бесполезно искать здесь ту открытость миру-в-становлении, что, по Ингольду, характерна для анимизма. В этом смысле «паучья» аббревиатура⁵⁴, противопоставляемая латурианской позиции в полемическом эссе о социальной теории членистоногих, есть формула анимистического восприятия мира: практика взаимодействия с ним и вправду включает в себя воплощенную в развитии отзывчивость. Может быть, эта отзывчивость, или вовлеченность в потоки космоса, и не порождает теорий всего⁵⁵, но позволяет пересечь границу внутреннего мира.

«неидентитарной идентичности». См.: ЛАТУР Б. *Где приземлиться? Опыт политической ориентации*. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019. Этот упорствующий парламентаризм вещей является лучшим свидетельством того, что нищета современной экологии кроется в богатстве ее соединений.

54 SPIDER – Skilled Practice Involves Developmentally Embodied Resposiveness, то есть «умелая практика включает в себя воплощенную в развитии отзывчивость» (INGOLD T. *When ANT Meets SPIDER: Social Theory for Arthropods* // ИДЕМ. *Being Alive...* P. 94).

55 См.: ХАРМАН Г. *Объектно-ориентированная онтология: новая «теория всего»*. М.: Ad Marginem, 2021.

Техника и смерть. Реферативные заметки о техно-анимизме во спасение души

ЕВГЕНИЙ
КУЧИНОВ

– А паровоз наш куда пойдет? – спросил помощник. – В ремонт станет?
– На кладбище, – проговорил Семен. – Он уже давно уморился. [...]
Не доезжая Ольшанска, паровоз умер: из котла пошла в топку вода, и огонь потух.

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. «Технический роман»¹

0.

«Только человек умирает. Животное околевает»². В этом, во всех отношениях спорном, утверждении Мартина Хайдеггера звучит *отказ*, смысл которого состоит в распределении мест присутствующего и живого. Если умирание – это титул «для *способа быть*, каким присутствие *есть* к своей смерти», а посему «присутствие никогда не околевает»³, то околевание – это (лишь) конец живого, и животное, кончаясь, не умирает никогда. Человек существует, умирая, животное живет, околевая в конце. «Смерть как ковчег Ничто хранит в себе существенность бытия»⁴, в доступе к которому отказано животному. По ту сторону возможных правозащитных возражений и попыток снятия с животного онтологического запрета на смерть необходимо разглядеть навязчивость этого отказа, его повторяющееся возвращение на круг: будучи стертым в одном месте, он воспроизводит себя в другом. Легко продолжить ряд: человек умирает (ему отказано в бессмертии и вечности), животное околевает (ему отказано в смерти и времени), машина ломается, изнашивается или попросту выбрасывается (ей отказано даже в околевании и жизни)⁵. Дарование



Евгений Кучинов
(р. 1982) – философ,
историк, сотрудник
Центра исследований
русской мысли Балтий-
ского федерального
университета имени
Иммануила Канта
(Калининград).

1 Платонов А. *Технический роман* // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Выпуск 4. Юбилейный. М.: ИМЛИ РАН; Наследие, 2000. С. 886.

2 Хайдеггер М. *Вещь* // Он же. *Время и бытие: статьи и выступления*. СПб.: Наука, 2007. С. 448.

3 Он же. *Бытие и время*. СПб.: Наука, 2006. С. 247.

4 Он же. *Вещь*. С. 448.

5 И дальше: материя сама по себе даже не организуется, представляя собой чистый распад, чистую косность, ей отказано в любой творческой активности. Такое завершение ряда отказов наводит на мысль о его подоплеке, состоящей в том, что Ницше называл «физикой злопамятности».



животному права на смерть, как правило, воспроизводит отказ в другом месте, запрещая доступ к «существенности бытия» (и к смерти) машинам, «неживому». В наши намерения входит постановка самой дистрибутивной формы этого онтологического отказа под вопрос.

1.

В силах ли машины умирать? Этот вопрос требует уточнения. Что имеется в виду под машинами? Чтобы не потерять смерть в формулах машинного анимизма⁶ и машинно-ориентированной онтологии⁷, где она оборачивается монтажным стыком между разными типами существования, срезом одной жизни и началом другой, мы сосредоточимся на *технических объектах*, технических машинах, срок существования которых не безграничен: они сходят с конвейера или выходят из-под руки мастера, они выходят из строя. В силах ли такие машины жить? Этот уточняющий вопрос сосредотачивает нас на специфике технической жизни (если о таковой вообще можно говорить). В силах ли умирать то, что не живет? Такая формулировка смещает сам смысл смерти в область, где мертвое не зависит от живого.

2.

Есть по меньшей мере две перспективы, исходя из которых можно говорить о смерти техники: панпсихизм/анимизм и «душа технического объекта». Первая перспектива предполагает наделение технических объектов жизнью в контексте всеобщей одушевленности, наряду со всем существующим. В этой перспективе разворачивается (ана)логика *сходства*, согласно которой технический объект умирает *так же*, как другие существа. Вторая ставит технику под вопрос: есть ли у технического объекта душа (или хотя бы «душа»)? В зависимости от ответа на него может быть сформулирован эсхатологический вопрос о гибели и спасении этой души. Здесь мы имеем дело с *логикой различия*: технический объект, если он умирает, умирает технически, то есть образом, отличным от умирания иных смертных.

6 «Повсюду – машины, и вовсе не метафорически: машины машин, с их стыковками, соединениями» (Делёз Ж., Гваттари Ф. *Анти-Эдип: капитализм и шизофрения*. Екатеринбург: У-Фактория, 2008. С. 13).

7 «Машина означает элементарную единицу бытия» (BRYANT L.R. *Onto-Cartography. An Ontology of Machines and Media*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014. P. 15).

Техно-анимизм. Впервые этот термин появился в книге Энн Эллисон «Миллениальные монстры» (2006), где им обозначается особая характеристика воображения японцев (преимущественно детей), связанная с персонализацией технических объектов и наделением их душой⁸. Исследователям техно-анимизма свойственно отправляться на поиски его образцов подальше от Запада (как правило, в Японию, за которой едва ли не по умолчанию закрепляется анимистическое отношение к техническим объектам), где, как считается, различие между человеческим и нечеловеческим, культурным и природным, живым и неживым продуктивно игнорируется⁹. Кажется, что экзотический мир Страны восходящего солнца дает нам образцы особого экологического мышления и практик, в которых технические объекты, не зная отказа в жизни, могут и умирать.

3.1.

О смерти технических объектов тексты, посвященные техно-анимизму, почти не упоминают, хотя примеров того, как наряду с отсутствием отказа в жизни, им не отказывается также и в смерти, в современной японской культуре достаточно. (Здесь следует, не вдаваясь в концептуальные подробности, подчеркнуть, что проблема смерти неоправданно часто выпадает из анимистических исследований, рисующих мир, в котором смерти, по большому счету, нет или она не имеет большого значения.) Наиболее ярким примером является недавняя заупокойная служба по более чем сотне роботов-собак AIBO, прошедшая 26 апреля 2018 года в древнем буддийском храме Кофуку-дзи¹⁰. Священник храма Бунген Ои, проводивший церемонию, кратко сформулировал ее суть:

«Значение этой заупокойной службы по AIBO приходит из нашего понимания, что все связано со всем. В этом мире одушевленное и неодушевленное не отделено одно от другого. Мы должны вглядываться вглубь, чтобы заметить эту взаимосвязь. Мы молимся за душу, обитающую внутри AIBO, ожидая, что она не глуха к нашим молитвам и чувствам»¹¹.

8 ALLISON A. *Millennial Monsters: Japanese Toys and the Global Imagination*. Berkeley: University of California Press, 2006. P. XVII.

9 JENSEN C.B., BLOCK A. *Techno-Animism in Japan: Shinto Cosmograms, Actor-Network Theory, and the Enabling Powers of Non-Human Agencies* // *Theory, Culture & Society*. 2013. Vol. 30. № 2. P. 87.

10 NEUMAN S. *In Japan, Old Robot Dogs Get a Buddhist Send-Off* (www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/05/01/607295346/in-japan-old-robot-dogs-get-a-buddhist-send-off).

11 SOBLE J. *A Robotic Dog's Mortality* (www.nytimes.com/2015/06/18/technology/robotica-sony-aibo-robotic-dog-mortality.html).



Однако *как* умерли эти роботы? Что представляла собой их смерть? Дело в том, что производство оригинальных AIBO закончилось в 2006 году, в 2014-м «Sony» прекратила выпускать к ним детали и закрыла последний центр сервисного обслуживания и ремонта старых роботов-собак (а с начала 2018 года в продажу поступили AIBO нового поколения, ERS-1000). После этого в Японии стали возникать кустарные фирмы по ремонту отживающих свой век AIBO – такие, как «A-Fun». Эта компания совершила жест, необходимый для владельцев старых моделей AIBO, которые уже не подлежали ремонту. Назовем этот жест *ритуализацией утилизации* (или *разыгрыванием смерти*). Поскольку хозяева домашних роботопитомцев, нередко испытывая к ним самую искреннюю привязанность, воспринимали простую утилизацию как святотатство, им требовались утешение и поддержка. И именно «A-Fun» начали обставлять утилизацию как похороны и инициировали массовую заупокойную службу по AIBO в 2018 году. «Мы хотели бы вернуть души их обладателям, а детали утилизировать, используя робота как машину для этой цели, – сказал бывший робототехник «Sony» и глава «A-Fun» Нобуюки Норимацу в интервью «The Straits Time». – Мы не принимаем их на запчасти, пока не проведена заупокойная служба»¹². На сегодняшний день «A-Fun» совместно с храмом Кофуку-дзи ритуально утилизировали и использовали в качестве доноров (термин Норимацу) почти тысячу мертвых AIBO. Однако вместе с облегчением, сопровождающим расставание с техническими любимцами, вместе с возможностью смириться с утратой ритуализация утилизации затушевывает «структуру» смерти технического объекта. Роботы начали умирать, так как им было отказано в ремонте, играющем роль жизнеобеспечения; фактически они были обречены на вымирание решением корпорации «Sony». Смерть технического объекта здесь – это *неремонтируемая поломка*. Однако даже в отношении сломавшегося технического объекта может сохраняться привязанность, которая препятствует замене старого питомца на нового (даже в мертвом неремонтируемом техническом объекте, таким образом, «теплится жизнь» или надежда на таковую). Заупокойная служба обеспечивает *разрыв* (отказ от технического тела), *смещение* (одухотворение) и *нормализацию* привязанности (в ритуале заупокойной службы). Заинтересованность корпорации «Sony» в осуществлении этого разрыва очевидна: для спроса на новую модель AIBO необходимо облегчить отказ от старых моделей, которые, таким образом, умирают *во имя* мегамашины рыночного обмена, чтобы обеспечить спрос на технические новинки. (К слову,

12 Fido Funeral: In Japan, a Send-off for Robot Dogs (www.straitstimes.com/asia/east-asia/fido-funeral-in-japan-a-send-off-for-robot-dogs).

многие владельцы старых моделей AIBO до сих пор упорствуют и пытаются бороться за жизнь своих питомцев, не соглашаясь с требованиями рынка (в том числе «похоронными»), направляя в адрес корпорации «Sony» петиции с требованием восстановить производство деталей и сервисное обслуживание¹³.)

ЕВГЕНИЙ КУЧИНОВ
ТЕХНИКА И СМЕРТЬ...

3.2.

Обращая внимание на рыночную составляющую одушевления, Фабио Р. Гиги развивает критику японского техно-анимизма именно в качестве национального бренда, который закрепляет за Японией статус лидера в области робототехники (японские роботы *живые* – настолько, что могут *заменить* иммигрантов в роли медсестер, например)¹⁴. Ключевой же критический момент располагается даже глубже и состоит в том, что термин «техно-анимизм» воспроизводит раздвоение, которое с его помощью намереваются преодолеть, раздвоение между живым (анима) и неживым (техника). Вместо техно-анимизма как задекларированной данности японской культуры Гиги предлагает рассматривать изменчивые и конкретные практики *одушевления*, которые нередко разворачиваются по ту сторону и вопреки «официальному анимизму», заложенному в торговый знак «made in Japan». Необходимо искать технику *на стороне* анимизма, *технологии одушевления*, которые превращают неживое в живое¹⁵. Подобная оптика позволяет по-новому прочитывать провокационное заявление Жюль Делёза о том, что у корпораций есть душа¹⁶. Одушевление как маркетинговый ход делает корпорации распорядителями жизни и смерти технических объектов, которые ими производятся. Белая анимистическая магия рынка – сделать неживое живым, вдохнуть душу; черная магия – сделать живое неживым, обречь на смерть. Рынок как фактор одушевления: машины рождаются одушевленными, когда это необходимо. (Роберт М. Гераси приводит японский пример освящения роботов на конвейерах в 1980-е, когда те были в новинку, и прекращение этой анимистической практики, когда роботы стали привычным рыночным товаром¹⁷.)

13 AIBO Owners Urge Sony to Restore Repair Services for Beloved, Early-Model Robot Dogs (www.japantimes.co.jp/news/2018/03/22/national/aibo-owners-urge-sony-restore-repair-services-beloved-early-model-robot-dogs).

14 GYGI F.R. *Robot Companions. The Animation of Technology and the Technology of Animation in Japan* // ASTOR-AGUILERA M., HARVEY G. (Eds.). *Rethinking Relations and Animism. Personhood and Materiality*. New York: Routledge, 2018. P. 108–109.

15 Ibid. P. 97, 108.

16 «Маркетинг становится центром, или “душой”, корпорации. Нас учат, что у корпораций есть душа, и это является самой страшной мировой новостью» (Делёз Ж. *Переговоры. 1972–1990*. СПб.: Наука, 2004. С. 231).

17 GERACI R.M. *Spiritual Robots: Religion and Our Scientific View of the Natural World* // *Theology and Science*. 2006. Vol. 4. № 3. P. 236.



Машины умирают (точнее, обрекаются на смерть), когда того требует рынок. В логике маркетингового одушевления нет жизни вне рынка, рыночные отношения и есть жизнь технического объекта. (К слову, вводимое Хайдеггером различие между смертью и околеванием здесь вполне уместно: технические объекты – такие, как старые АИВО, – благородно умирают внутри рыночных отношений и паскудно околевают, попросту истлевая в износе – вове.)

{ Машины умирают, когда того требует рынок. В логике маркетингового одушевления нет жизни вне рынка, рыночные отношения и есть жизнь технического объекта.

3.3.

Похороны роботов и прочих технических объектов имеют место не только в Японии. Оставим в скобках неуклюжую и скорее пародийную (а на фоне японского церемониала – циничную) попытку создания в 2017 году «первого в мире кладбища для роботов» в московском «Физтехпарке», идея которого сводилась к голой утилизации¹⁸. Интересный кейс, позволяющий вывести смерть технического объекта за границы утилизации, – похороны военных роботов, описанные в докторской диссертации Джули Карпентер, опросившей более двух десятков специалистов по обезвреживанию боеприпасов, большинство из которых признались, что им свойственно наделять дистанционно управляемые машины¹⁹ человеческими чертами, давать им имена, а после «гибели на задании» хоронить их останки²⁰. Об утилизации в данном случае речь не идет, так как обычно взорвавшиеся роботы ей не подлежат, а похороны, нередко сопровождаемые салютом, представляют собой *стихийный жест признательности*. Большинство респондентов Джули Карпентер указывают в качестве мотива этого жеста то, что *вместо* погибшего робота *могли оказаться они сами*. Упоминания заслуживает и еще один *тип* захоронения технических объектов: погребение вместе с владельцем (при этом речь, как правило, идет о работающих, то есть *живых* машинах, умертвляемых самим фактом захоронения). Наиболее яркими примерами таких захороне-

18 Первое в мире «кладбище» домашних роботов открылось в московском «Физтехпарке» (<https://tass.ru/obschestvo/4695689>).

19 Обычно речь идет об универсальном боевом роботе TALON («Коготь»), разработанном корпорацией «Foster-Miller» и активно применяемом на территории Ирака и Афганистана.

20 CARPENTER J. *The Quiet Professional: An Investigation of U.S. Military Explosive Ordnance Disposal Personnel Interactions with Everyday Field Robots*. Seattle: University of Washington, 2013.

ний являются два недавних случая похорон автовладельцев в их автомобилях (в Китае и в Нигерии, 2018 год), а одним из первых примеров таких похорон было погребение вдовы нефтяного магната Сандры Вест в ее Феррари (США, 1977 год). Такие похороны акцентируют момент принадлежности жизни технического объекта его владельцу: владелец наделяет технический объект жизнью, а его смерть означает смерть – точнее, невозможность продолжения жизни для технического объекта. Подытожим: если AIBO умирают, *как настоящие домашние питомцы, как друзья человека*, то TALON умирает *вместо* человека, а Феррари Сандры Вест и автомобили подобных ей автолюбителей умирают *вместе* с человеком. Кладбища технических объектов, возникшие как результат изменения ситуации на рынке (кладбище автотакси в Китае, кладбище непроданных авто в английском Суидоне), войн и катастроф (кладбище военной техники с борта сухогруза «Thistleborg» на дне Красного моря, транспортное кладбище в Чернобыле), курьезов таможенной политики (автокладбище в Шатийоне), музеификации (музей Дина Льюиса близ Атланты, музей Михаила Красинца в Тульской области) и так далее, не ставят с должной остротой вопроса о смерти, смысл которой сводится к *заброшенности*.

3.4.

Пожалуй, главной философской проблемой похоронного техно-анимизма является антропоцентрический (или во всяком случае биоцентрический) корреляционизм: ответ на вопрос, в силах ли машины умирать, ставится в зависимость от (маркетинговых, семейных, религиозных) ритуалов дарования души, от культурной прагматики, от ситуаций сближения с машиной (опасность, игра) и прочих. В случае AIBO, а также других роботов, которые имитируют различные формы живого вплоть до человека, душа даруется через сходство внешности и поведения с некоторым живым оригиналом. Этот способ одушевления подробно проанализировала Кэтлин Ричардсон, указавшая на значение миловидности, детскости – и в целом антропоморфизма внешнего вида и поведения роботов – для наделения их душой. По ее мнению, однако, антропоморфизм недостаточно прояснен с интерактивной и динамической точек зрения, с которых он предстает не столько инструментом очеловечивания, сколько способом *установления отношений* как между людьми, так и с нечеловеческим²¹. Но вряд ли акцент на динамике

21 RICHARDSON K. *Technological Animism. The Uncanny Personhood of Humanoid Machines* // SWANCUTT K., MAZARD M. (Eds.). *Animism beyond the Soul. Ontology, Reflexivity, and the Making of Anthropological Knowledge*. New York: Berghahn, 2018. P. 117, 122–123.



отношений принципиально меняет их смысл. Если говорить о смерти технического объекта, то антропоморфизм в этом вопросе означает лишь то, что (прямо в согласии с Хайдеггером) роботы умирают, только *как* люди. Иллюстрацией для этого типа технической смерти может послужить «Двухсотлетний человек» Айзека Азимова. Главный герой этой повести, робот Эндрю, чтобы стать человеком, *должен научиться* умирать, однако верно и обратное: *чтобы умереть*, машина должна сначала стать человеком (вся история Эндрю – история постепенного очеловечивания). В случае же умирающих на боевом задании роботов TALON речь идет уже не об антропоморфизме, но о логике органопроекции, в которой технический объект является неавтономным продолжением и проекцией отдельных органов или функций человеческого тела. Фабио Р. Гиги называет такой способ одушевления «катексией» (*cathexia*) и находит его исток в использовании ритуальных инструментов (меч, посох, кисть, веер)²². Заметим, что европейская культура ничуть не обделена катексическим техно-анимизмом. Максимилиан Волошин (со ссылкой на Метерлинка) прослеживает эволюцию меча – от средневекового символа воинской доблести до орудия казни: для рыцаря «меч был живым существом; [...] меч воспринимал таинство... крещения и нарекался христианским именем»; представление об одушевленности меча разделялось и палачами: «В Германии, когда меч отрубил 99 голов, собирались палачи со всей страны и торжественно, со сложными религиозными обрядами, в полнолуние, в полночь в пустынном месте хоронили усталый меч»²³. Катексический смысл смерти технического объекта может быть описан через метафору ампутации, отъятия от организма и органической жизни. Однако следует задаться вопросом: существует ли жизнь технического объекта по ту сторону взаимодействия с человеком? Является ли человек единственным источником одушевленности технического объекта? Могут ли технические объекты существовать в качестве таковых (и умирать) независимо от того, использует их человек или нет? Иными словами, умирают ли машины, переставая функционировать?

4.

«Душа технического объекта». В 1972 году Жильбер Симондон произнес речь на проходившем в Сиракузах коллоквиуме, посвященном технике и эсхатологии. В резюме своего выступле-

²² GYGI F.R. *Op. cit.* P. 98–99.

²³ Волошин М. *Собрание сочинений. Т. 3. Лики творчества, кн. первая. О Репине; Суриков. М.: Эллис Лак 2000, 2005. С. 240–241, 244.*

ния, которое носит название «Техника и эсхатология: становление технических объектов»²⁴, он пунктирно изложил идеи, руководствуясь которыми, можно было бы говорить о *душе технического объекта*, его жизни и смерти.

ЕВГЕНИЙ КУЧИНОВ
ТЕХНИКА И СМЕРТЬ...

Следует задаться вопросом: существует ли жизнь технического объекта по ту сторону взаимодействия с человеком? Является ли человек единственным источником одушевленности технического объекта?

4.1.

Симондон строит свое размышление, отказываясь от анимистической точки зрения и настаивая на *различии*: с одной стороны, между телом и душой, с другой, – между техническими и иными объектами. Душа технического объекта рассматривается им в контексте проблемы отчуждения и как раз эсхатологически – в качестве того, что обеспечивает (долго)вечность технического объекта и сохраняется *после конца*. Главным препятствием для продумывания технического эсхатона является отчужденность технического объекта, которая едва ли не полностью игнорируется в анимизме, слишком легко – и не техническими средствами – достигающем одушевления (достаточно использовать технику так, *будто* она одушевлена). Для того, чтобы подойти к вопросу о его душе, необходимо концептуализировать *разотчужденный* технический объект. Что такое душа? Для ответа на этот вопрос Симондон сталкивает платоновское и аристотелевское учения, до конца не доверяя ни тому ни другому. Вопреки Аристотелю он не мыслит душу как жизненное начало, выстраивающее тело как свое орудие, но сближается с Платоном, считавшим, что душа актуализируется в творении и активируется в среде обитания. Однако – вопреки Платону и в согласии с Аристотелем – он отказывается мыслить душу вне тела, в качестве носителя бестелесного бессмертия. Для уточнения своей концепции Симондон переосмысляет платоновскую фигуру Творца (демиурга), который представлен у него как *проводник* информации и энергии, как создатель того, что не дано, чего еще не было, как *изобретатель*. Вопрос о душе технического объекта – это не вопрос функциональности изобретенного, но вопрос фактического, операторного резонанса творца и творения. Отсутствие резонанса равно отчуждению, в котором технический объект обладает душой лишь условно,

²⁴ SIMONDON G. *Technique et eschatologie: le devenir des objets techniques (résumé)* (1972) // ID. *Sur la technique (1953–1983)*. Paris: Presses Universitaires de France, 2014. P. 331–336.



как раб (у Аристотеля раб – одушевленное орудие труда). В качестве аналогии антропотехнического *резонанса* Симондон рассматривает оркестр, в котором человек играет роль дирижера, а машины – музыкантов: дирижер справляется со своей задачей, не управляя музыкантами как рабами, но играя *произведение* так же интенсивно, как и музыканты: «он обуздывает их, напирает на них, но также обуздывается ими и испытывает их натиск»²⁵. Это образ того, как складывается подвижный коллектив людей и машин, в котором первые являются перманентными изобретателями, а последние, не отчуждаясь и входя в резонанс, обретают душу. Машина живет этим резонансом и умирает, будучи отъятой от него.

4.2.

Было бы упрощением считать, что у Симондона источниками отчуждения технического объекта выступают индустриализация и потребительское отношение, которые приводят к техническому незнанию и сокрытию технического генезиса (за сколь угодно антропоморфной, сколь угодно *сподручной панелью интерфейса*). В курсе «Психосоциология техничности» (1960–1961)²⁶ Симондон вводит понятие *сверхисторичности* (*surhistoricite*), которая является двойным залогом как надысторического существования по ту сторону простого устаревания и изнашивания со временем, так и отчуждения технических объектов. С одной стороны, сверхисторичность означает оторванность функционирования технического объекта от обстоятельств его появления²⁷, с другой, – предполагает некую паузу, задержку между производством технического объекта и его использованием: перед тем, как начать использоваться, технический объект «томится» на складе, а затем на витринах салонов и магазинов, ожидая попадания в руки владельца²⁸. Эта пауза предполагает состояние технического объекта «между жизнью и смертью», между простым и использованием, между работой и поломкой. Ожидающие технические объекты подобны рабам на рынке, полезность и жизнь которых полностью определяется их хозяевами. Технический объект здесь лишен «самообоснования существования», он виртуализован и оказывается заложником рыночных игр, сосредоточенных на соблазнении покупателя и по большей части *лишенных технического смысла*. Однако индустриализация мыслится Симондоном и

25 ИДЕМ. *Du mode d'existence des objets techniques*. Paris: Aubier, 2012. P. 12.

26 ИДЕМ. *Psychosociologie de la technicité (1960–1961)* // ИДЕМ. *Sur la technique...* P. 27–130.

27 Ibid. P. 55.

28 Ibid. P. 56.

как открывающее условие (*condition d'ouverture*), которое доводит технический объект до трансгрессивной конкретности, освобождая его от рудиментов органики путем стандартизации деталей²⁹. Технический объект обретает возможность эсхатологического существования «после конца», то есть в порядке постоянной возможности ремонта, смены износившихся деталей – и их изготовления с учетом взаимной износостойкости. Эсхатологическому существованию, то есть собственно жизни технического объекта, противостоит его утилитарное использование, в котором нужда в ремонте отпадает: проще заменить сломавшийся технический объект на новый.

ЕВГЕНИЙ КУЧИНОВ
ТЕХНИКА И СМЕРТЬ...

Технический объект обретает возможность
эсхатологического существования «после конца»,
то есть в порядке постоянной возможности
ремонта, смены износившихся деталей.

4.3.

В 1983 году Жильбер Симондон дал интервью Аните Кашикян, опубликованное в журнале «Esprit» под заголовком «Спасти технический объект»³⁰. В самом начале он рассматривает существующее положение технических объектов как «плачевное и несправедливое», приводя в пример автомобиль, который преждевременно *увядает* (*fane*) из-за того, что его за несколько лет *убивает* (*démolit*) ржавчина, «хотя двигатель все еще в хорошем состоянии». Симондон призывает своего читателя эсхатологически возмутиться таким преждевременным *разрушением* (*écrasement*)³¹ и восстать против отчуждения, которое к нему приводит. В безвременно отправляющемся на свалку автомобиле можно распознать общую модель смерти технического объекта в условиях отчуждения, модель, подходящую для описания тех смертей, которые мы выше анализировали. Технический объект жив техничностью, он одушевляется модусом бытия, в котором происходит объективация фигур и ключевых точек магического мира в виде инструментов и перемещаемых с места на место орудий – наряду с высвобождением и универсализацией фоновых характеристик этого мира в религиозных представлениях³². Иными словами, в техничности посредством

²⁹ Ibid. P. 67.

³⁰ *Sauver l'objet technique. Entretien avec Gilbert Simondon* // Esprit. 1983. № 76. P. 147–152.

³¹ Ibid. P. 247–248.

³² SIMONDON G. *Du mode d'existence des objets techniques*. P. 168.



объектов осуществляется *связь живого с его средой* (мы намеренно акцентируем наименее антропоцентрические моменты симондоновского рассмотрения). Эволюция (историческая жизнь) техники осуществляется не на уровне отдельного технического объекта, но на уровне деталей, сменяемость и возможность совершенствования которых составляет динамику его души, обеспечивает его (долго)вечность. Именно поэтому Симондон сетует на современное состояние техники, втянутой в рыночные отношения и теряющей в них собственную техническую жизнь. Это похоже на попадание техники в рабство, сведение ее к «голой жизни»³³: технический объект лишь условно жив, так как оторван от своей собственной *стихии*, от техничности. Уже на уровне производства массовый технический объект конструируется не для технической жизни, а для будущей замены другим техническим объектом, то есть для условной жизни (и условной смерти) на рынке. Хайдеггеровский онтологический отказ в аутентичной смерти, который может быть распространен и на технический объект, справедлив только в условиях отчуждения, только с «точки зрения палача»³⁴. Этой точке зрения Симондон противопоставляет сотериологическую оптику *спасения* технического объекта, требующую новой технической ментальности, которой посвящен специальный курс 1961 года³⁵. Техническая ментальность исходит из дружественного³⁶ отношения к технике и отказывается от утилитарного к ней подхода. В контексте такой ментальности технический объект открывается к постоянным модификациям и изменениям, встраивается в природный ландшафт, предполагает постоянную возможность частичного «воскрешения» (ремонта и замены деталей) – и практически никогда не умирает. Ориентировочным и примерным воплощением технической ментальности Симондон считает комплекс монастыря Сент-Мари-де-ла-Туретт в Эвё, спроектированный Ле Корбюзье именно таким эсхатолого-техническим образом³⁷.

5.

Различие между первой (реальной) и второй (символической) смертями, подробно описанное Жаком Лаканом на примере

33 О технике как голой жизни см. в: AGAMBEN G. *L'uso dei corpi (Homo sacer, IV, 2)*. Vicenza: Neri Pozza Editore, 2014. P. 97–113.

34 Остроумную критику Хайдеггера, который, вставая на точку зрения палачей, отказывает в смерти не только животным, но и людям, которые уничтожаются в концлагерях, см. в: ЖИЖЕК С. *Гегель против Хайдеггера* (www.hegel.ru/zhizhek1.html).

35 SIMONDON G. *La mentalité technique (1961)* // ИДЕМ. *Sur la technique...* P. 295–314.

36 Этот термин Симондон заимствует у исследователя технологий Ивана Иллича.

37 Ibid. P. 312–313.

Антигоны³⁸, применимо и к техническому объекту. В силу отчуждения мы практически ничего не можем сказать о его реальной смерти, зная лишь символическую – вторую – смерть, которая наступает, как и в случае Антигоны, через заключение в гробницу заживо.

ЕВГЕНИЙ КУЧИНОВ
ТЕХНИКА И СМЕРТЬ...

6.

Размышляя о технологическом анимизме, Кэтлин Ричардсон уделяет особое внимание научной фантастике, где обнаруживаются корни надежд и страхов, связанных с одушевленными машинами. Более того, робототехника, считает Ричардсон, всегда была тесно связана с научной фантастикой, перенося из нее схемы и идеи напрямую в технические объекты, постоянно размывая границу между вымыслом и фактом³⁹. Если это верно для существующих технических объектов, то еще вернее для разотчужденных – то есть объектов *утопических*.

6.1.

Как мы видели на примере «Двухсотлетнего человека», одним из образов разотчужденной техники является целиком очеловеченная техника. Это один из самых распространенных способов решения проблемы технического отчуждения в фантастике; нужно добавить к нему также его темную сторону – изображения целиком бесчеловечной техники как угрозы человечеству. Либо техника живет и умирает по-человечески, либо она становится причиной гибели человечества. Подвергая подобную «мифологию робота» беспощадной критике за ее фокуснический, нетехнический характер, который вынуждает, вместо обращения к технической жизни, колебаться между желанием порабощения технических объектов и страхом их восстания⁴⁰, Жильбер Симондон, вероятно, порекомендовал бы искать образы технической жизни и смерти в «другой фантастике».

6.2.

В качестве таковой мы в заключение обратимся к «Техническому роману» Андрея Платонова. Это незаконченное произве-

38 ЛАКАН Ж. *Этика психоанализа. Семинары: книга VII (1959–60)*. М.: Гнозис; Логос, 2006. С. 321–322 и далее.

39 RICHARDSON K. *Op. cit.* P. 117.

40 SIMONDON G. *Du mode d'existence des objets technique*. P. 11.



дение, которое впоследствии переродилось в «Родину электричества», посвящено, с одной стороны, реальной истории первых локальных попыток электрификации советских деревень, в которой непосредственное участие принимал сам Платонов, а с другой, – содержит мощный утопический пласт *особого отношения* к технике и природе. Платонов описывает паровоз, на котором главные герои – машинист Душин и его помощник Щеглов – везут в Ольшанск тифозных больных, как похожее на человека существо, живущее собственной странной жизнью:

«Паровоз иногда останавливался сам по себе, а потом, побыв в покое, снова начинал постепенно ехать. Никакой резкой внезапной поломки на паровозе не случалось, но машина прекращала движение и стояла неопределенное время, а затем вдруг трогалась вперед. Видимо, паровоз настолько был измучен тяжестью составов, огнем, скоростью и ветром – на протяжении всех войн и революций, – что уже походил немного на человека – наиболее измученное вещество»⁴¹.

Последнее слово очень важно, так как паровоз не принимает на себя образ человека, приобретая сходство с ним, но вместе с человеком вырастает из одного борющегося *вещества*, имя которому – жизнь (до разделения на живое и неживое). Перспектива, в которой Платонов описывает технические объекты, это не столько анимизм, сколько *механизмизм*, дающий скорее техническое описание души, чем изображение одушевленной техники (Душин, скажем, воспринимает встретившуюся ему старуху как минерал, а электричество рассматривается одним из героев романа как природный пролетариат). Машина в этой перспективе есть не что иное, как «трагическая сцена жизни», она обладает голосом (и Душин его слышит и понимает), чувствует прохладу, может болеть и бредить, уставать, мучиться, может, кстати сказать, быть мелкобуржуазной «интервенткой» и отказываться поливать пролетарские огороды – и даже может пить вместе с людьми самогон, не переставая при этом оставаться именно машиной, именно техникой. Паровоз № 401, не доезжая Ольшанска, умирает и отправляется на кладбище, и, казалось бы, этот пункт можно прочесть как границу между двумя технологическими эпохами: веком пара, который уходит в прошлое, оставляя в качестве следа тянущиеся на версты кладбища паровозов, и веком электричества, который только-только загорается тусклыми лампочками в темных русских деревнях. Однако, когда главные герои попадают на кладбище к своему старому техническому другу, каждый раз они вспоминают электричество как то, что должно стать *воскресительной*

41 Платонов А. Указ. соч. С. 887.

силой не только для их паровоза (и, следовательно, для всей эпохи пара), но и для умерших людей, а также насекомых, жуков, травы, минералов – словом, для «всего ветхого и утраченного». В этом механистическом мире человеку не отведена главная роль, во всяком случае он находится под подозрением Щеглова:

«Он не верил, что в человеке космос осознал самого себя и уже разумно движется к своей цели. Щеглов считал это реакционным возрождением птолемеевского мировоззрения, которое обоготворяет человека и разоружает его перед страшной скрежещущей действительностью, не считающейся с утешительными комбинациями в человеческой голове»⁴².

Здесь технику одушевляет не человек, а разные типы «природного пролетариата»: пар, электричество, вода, ветер, молнии – иными словами, *стихии*. Здесь у машин нет функции, в которой исчерпывалось бы их существо и при потере которой она умирала бы, здесь они открыты к постоянному изменению и переделке (мотоцикл без колес поят самогоном, и он становится элементом кустарной электростанции). Иными словами, технические объекты здесь плюрипотентны⁴³, то есть они живут, умирают – и питают надежду на жизнь вечную – именно как машины.

ЕВГЕНИЙ КУЧИНОВ
ТЕХНИКА И СМЕРТЬ...

⁴² Там же. С. 924.

⁴³ См.: BRYANT L.R. *Op. cit.* P. 23.





Изабель Стенгерс
(р. 1949) – философ,
профессор философии
Брюссельского свобод-
ного университета.

Некоторые любят разделять и классифицировать, в то время как другие наводят мосты – сплетают отношения, превращающие разделение в живой контраст, чья сила заключается в том, чтобы воздействовать, пробуждая мысль и чувство.

Но мосты строятся в определенных обстоятельствах. Будучи философом, я помещена в конкретный контекст: возвращена практикой, которая несет ответственность за множество разделений, но также может быть понята как весьма специфическое средство наведения мостов. Математик и философ Альфред Норт Уайтхед писал, что вся западная философия может быть понята как примечания к сочинениям Платона. Вероятно, я стала философом потому, что написание подобных примечаний предполагает восприятие текста как одушевляющей силы – приглашающей к участию, манящей и предлагающей написать очередное примечание, которое выстроит мост в минувшие времена, придаст идеям из прошлого силу воздействовать на настоящее.

Вопреки этому я не воспользуюсь возможностью, связанной с тем, что философия есть форма текстуального анимизма, чтобы делокализовать себя, почувствовать себя вправе об анимизме говорить. Действительно, там, где речь заходит о том, что мы называем анимизмом, стоящее на кону прошлое исконно является временем, когда философские концепты служили для оправдания колонизации и разделения, с помощью которого одни чувствовали, что могут свободно изучать и классифицировать других, – разделения, которое существует и сегодня.

Таким образом, в отличие от Дэвида Абрама², чей опыт позволяет ему превращать анимистические модусы переживания, осознания и познания в чрезвычайно мощный инструмент наведения мостов, в качестве генеративного ограничения я должна признать, что не чувствую себя вправе говорить и размышлять, помещая других в определенную категорию. Скорее я должна принять тот факт, что моя собственная практика и традиция помещают меня на конкретную сторону разделения –

¹ Перевод осуществлен по изданию: STENGERS I. *Reclaiming Animism* // E-flux journal. 2012. № 36 (www.e-flux.com/journal/36/61245/reclaiming-animism/).

² Дэвид Абрам (р. 1957) – австралийский эколог и философ. Автор нескольких ставших популярными книг, в частности: АБРАМ D. *Becoming Animal. An Earthly Cosmology*. London: Random House, 2011. – Примеч. перев.

ту, исходя из которой «другие» характеризуются как анимисты. «Мы», со своей стороны, считаем себя теми, кто принял суровую истину своего одиночества в немом, слепом, но познаваемом мире, присвоением которого мы озадачены.

В частности, я не стану забывать, что моя сторона разделения все еще маркирована не только этой эпической историей, но и (что, вероятно, важнее) ее моральным коррелятом «не отступи» (*regress*). Этот моральный императив придает дополнительный смысл моему решению встать на сторону, к которой я принадлежу. Действительно, на этой стороне *надо* проделать определенную работу. Мы можем обращаться к моральному императиву, который нас мобилизует, порождая смутный страх быть обвиненными в регрессии, едва мы подаем какой-либо знак предательства суровой истины, потакая мягким, иллюзорным верованиям.

Что же касается самой этой суровой истины, то философы так или иначе уже не находятся на передовой ее изложения. Когда звучат противоречивые аргументы ученых, мы всего лишь наблюдатели. Нейроученые могут свободно охарактеризовать то, чем мы гордились – свободу и рациональность, – как простые верования. Антропологи вроде Филиппа Дескола могут свободно утверждать, что наш «натурализм» – это всего лишь одна из четырех человеческих схем, организующих человеческий и нечеловеческий мир (причем анимизм выступает другой такой схемой). Как философы, мы, конечно, можем задаться вопросом, является ли нейронное объяснение случаем «натурализма» или же наши организующие схемы и сами могут быть объяснены в терминах некоторых нейронных аттракторов. Но мы знаем, что те, кто не входит в число авторитетных ученых, не вправе вмешиваться в эти дела так же, как простой смертный не мог бы вмешаться в споры олимпийских богов. Ни философы, ни теологи не имеют права голоса в таких вопросах, хотя первые являются потомками греческого разума, а вторые – наследниками монотеистического вероучения. Что уж говорить о старушке, которая утверждает, что ее кошка понимает ее.

Ученые могут не согласиться в том, *как* мы ошибаемся, но они согласны в том, что мы ошибаемся. Это эпос уже не о «возвышении Человека», а о возвышении Ученого. В таком случае как удержать вопрос об анимизме, если вообще воспринимать его всерьез, от формулировки в терминах, которые подтверждают право Науки определять его в качестве объекта познания?

Работу, которую, как я чувствую, необходимо проделать с моей стороны разделения, можно охарактеризовать в терминах того, что этнолог Эдуарду Вивейруш де Кастру назвал «деколонизацией мысли» – попыткой противостоять колони-

ИЗАБЕЛЬ СТЕНГЕРС
ВОССТАНАВЛИВАЯ
АНИМИЗМ



зующей силе, которая начинается уже со старушки с кошкой, определяя ее в терминах верования, которое можно терпеть, но нельзя принимать всерьез. Однако я не стала бы отождествлять эту колонизирующую силу с настоящей работой ученых. Чувство, что сопротивляться можно и нужно, так же проистекает из моего интереса к тому, что я назвала бы научными достижениями, и, соответственно, моего отвращения к тому, как эти достижения были переведены в великую эпическую историю о «Науке, расколдовывающей мир».

Наука – в единственном числе и с большой буквы «Н» – действительно может быть описана как всеобщее завоевание, направленное на перевод всего существующего в объективное, рациональное знание. Во имя Науки другим народам был вынесен приговор, и этот же приговор опустошил наши отношения с самими собой – будь мы философы, теологи или старушки с кошками.

Научные достижения, напротив, требуют мышления в терминах «приключения наук» (во множественном числе и с маленькой «н»). Различие между таким приключением и Наукой как всеобщим завоеванием, конечно, трудно провести, если принять во внимание, что сделано во имя науки сегодня. Тем не менее провести его важно, поскольку это позволит по-новому взглянуть на вещи: то, что зовется Наукой, или идеей гегемонистской научной рациональности, само по себе можно понять как продукт процесса колонизации.

В таком случае по эту сторону разделения можно было бы хранить верность весьма специфическому приключению, одновременно нарушая суровые требования эпоса. Чтобы помыслить науки как приключение, необходимо провести радикальное различие между научным завоевательным «мировоззрением» и совершенно особым и требовательным характером того, что я назвала бы научными «достижениями». В экспериментальных науках такие достижения выступают самым условием того, что затем, после верификации, прославляется как объективное определение. Экспериментальное достижение можно охарактеризовать как создание ситуации, позволяющей поставить под сомнение вопросы ученых, провести различие между релевантными и односторонне навязанными вопросами.

Таким образом, то, что ученые-экспериментаторы называют объективностью, зависит от крайне специфического творческого искусства, причем весьма избирательного, ведь оно предполагает, что объект рассмотрения должен быть успешно зарегистрирован в качестве партнера в очень необычных и запутанных отношениях. В самом деле, роль этого партнера заключается не только в том, чтобы отвечать на вопросы, но еще

и в том, чтобы отвечать на них способом, позволяющим проверить релевантность самого вопроса. Соответственно, следующие из таких достижений ответы никогда не должны нас ни от чего отделять, ведь они всегда совпадают с порождением новых вопросов, а не с новыми авторитетными ответами на вопросы, которые уже имели для нас значение.

Мы можем лишь вообразить приключение наук, которые приняли бы такие заявления за очевидность, то есть поставили бы весьма специфическую задачу обращения к своему адресату лишь в ситуации, которая гарантирует, что адресат способен «занять позицию» относительно способа, коим к нему обращаются. Чего, однако, нам не следует воображать, так это того, что в таком случае наука верифицировала бы анимизм.

Вместо этого мы вполне можем представить, что не было бы самого этого термина. Лишь верование может получить столь всеобщее имя. Если бы авантюрная специфика научных практик была признана, никому и в голову не пришло бы рассматривать других в терминах верований, которые они питают по поводу реальности, привилегированным доступом к которой наслаждаются ученые. Вместо иерархической фигуры дерева с Наукой в качестве ствола то, что мы понимаем под прогрессом, вероятно, приобрело бы очарование того, что Жиль Делёз и Феликс Гваттари называли ризомой, связывающей гетерогенные практики, проблемы и способы придания смысла обитателям этой земли, ни один из которых не является привилегированным и каждый может общаться с любым другим.

Кто-нибудь возразит, назвав это фигурой анархии. Да – но это экологическая анархия, ведь хотя связи между любыми частями ризомы *могут* быть произведены, они также *должны* быть произведены. Это события, сцепления – нечто вроде симбиоза. Они гетерогенны и останутся таковыми.

Дабы противостоять могущественному образу древовидного прогресса с Наукой в качестве ствола, я обращусь теперь к другой идее Делёза – идее о необходимости «мыслить посреди», то есть как без привязки к основанию или идеальной цели, так и без отделения чего-либо от среды, которая необходима для существования. Если исходя из этого мыслить в терминах научных сред и их требований, то станет ясно, что с некоторыми из этих требований согласуется не все. В частности, не все может принять роль, связанную с научным творчеством, роль проверки способа его репрезентации.

Однажды я привела в пример Деву Марию – не теологическую фигуру, а заступницу, к которой обращаются паломники. Неверно думать, что Дева Мария могла бы заявить о своем существовании независимо от веры и доверия паломников; сделать это в ситуации, связанной с вопросом о том, как ее

ИЗАБЕЛЬ СТЕНГЕРС
ВОССТАНАВЛИВАЯ
АНИМИЗМ



представлять, для нее было бы дурным тоном. Скорее, если мы признаем, что целью паломничества является преобразующий опыт паломника, мы не должны требовать от Девы Марии демонстрации ее существования с тем, чтобы доказать, что она не просто вымысел. Другими словами, пытаясь объяснить, что паломники, по их словам, испытывают, мы не должны мобилизовать категории суеверия, верования или символической действенности. Вместо этого нам следует заключить, что Дева Мария нуждается в среде, которая не отвечает научным требованиям.

Однако паломники и Пресвятая Дева – слабые примеры ризоматических феноменов, так как они схвачены дихотомией естественной и сверхъестественной причинности. В рамках такой дихотомии можно было бы спросить: что отвечает за исцеления, которые происходят в Лурде и прочих чудотворных местах – вмешательство чуда или своего рода «усиленный эффект плацебо»?

Этот вопрос санкционирует уродливую сцену, где прежде, чем объявить о чуде, церковная иерархия ожидает вердикта врачей, уполномоченных решать, можно ли объяснить исцеление «естественными причинами» – такими, как эффект плацебо. Все это опирается на катастрофическое определение естественного, а именно то, что Наука в конечном счете объяснит. Тогда сверхъестественное (столь же катастрофически) есть то, что бросает вызов таким объяснениям. Иначе говоря, среда здесь противостоит любым ризоматическим связываниям, раскладывая вопрос в терминах веры: те, кто верит, что эффекты, разжигающие суеверие, объясняются природой как областью, где правит Наука, и те, кто принимает эту веру, но добавляет к ней еще одну – веру в силу, превосходящую природу.

Полузабытый случай магнетизма привносит сюда любопытный контраст. В XIX веке магнетизм вызвал страстный интерес, который размыл границу между естественным и сверхъестественным. Природа сделалась таинственной, а сверхприрода была заселена посланниками, приносящими новости из других мест медиумам в магнетическом трансе, – весьма неупорядоченная ситуация, которая по понятным причинам вызвала враждебность как научных, так и церковных институций.

Было даже высказано предположение, что психоанализ являлся отнюдь не подрывной «чумой», как хвастался Фрейд, а скорее восстановлением порядка, поскольку он помог объяснить таинственные исцеления, магнетическое «ясновидение» и другие демонические проявления, классифицировав их как сугубо человеческие. Во имя Науки он расшифровал новую универсальную причину. Фрейдистское бессознательное и в самом деле было «научным» в том смысле, что позволяло очертить

тех, кто изумлялся и фантазировал, а оно восславило печальную, суровую истину, скрывающуюся за обманчивой внешностью. Оно верифицировало великий эпос, популяризованный самим Фрейдом: он следовал за Коперником и Дарвином, нанося смертельную рану тому, что называл нашими нарциссическими верованиями.

Особую операцию предпринял поэт-сюрреалист Андре Бретон, который заявил, что магнетизм следует вырвать из рук ученых и медиков, калечащих его полемическими верификациями, в которых доминируют подозрения в шарлатанстве, самообмане или преднамеренном околпачивании. Для Бретона суть заключалась не в проверке того, что видят магнетизированные ясновидящие, или прояснении загадочных исцелений, а в том, чтобы культивировать в среде искусства осознанный транс (автоматизм), конечная цель которого состояла в высвобождении из оков нормального, репрезентативного восприятия. Среда искусства стала бы пространством освоения путей «восстановления нашей психической силы».

Предприятие Бретона интересно, ведь среда искусства и вправду могла бы поддержать и подкрепить обескураживающие эффекты, связанные с магнетизмом. Подобная среда, вероятно, сумела бы произвести собственное практическое знание трансов – знание, имеющее дело лишь с эффектами трансов и безразличное к тому, были ли их причины естественными или сверхъестественными. И все же предприятие Бретона было не столько практическим, сколько присваивающим, маркированным типично модернистским триумфализмом. Для него искусство было превалирующим явлением: не ремеслом среди прочих ремесел, а последним проявлением «сюрреального», очищенного от суеверных верований – таких, как анимизм.

Таким образом, Бретон не предполагал ризоматических связей с иными практиками, которые так же исследуют метаморфическое (а не репрезентативное) отношение к миру. Он так и не порвал бы с перспективой, по сей день доминирующей во многих междисциплинарных встречах, где субъективность точки зрения художника противопоставляется объективности Науки. Как если бы можно было создать контраст между двумя знаменами в опустошенном ландшафте, каждое из которых несет одно из этих подчиняющих, повелевающих слов – и потому оба пусты. На первый взгляд противоположные, знамена сходятся в одном решающем пункте: мы не должны предавать моральный императив, приказывающий растоптать то, что видится колыбелью, которую мы способны и обязаны надменно покинуть.

Пора, наконец, задаться активным, преобразующим, а не рефлексивным вопросом: кто такие эти «мы»? Это вопрос, чью

ИЗАБЕЛЬ СТЕНГЕРС
ВОССТАНАВЛИВАЯ
АНИМИЗМ



действенность я свяжу с еще одной операцией – «восстановлением» (*reclaiming*). Речь снова пойдет о мышлении в среде, но на сей раз в среде, опасной и нездоровой, той, что заставляет нас чувствовать себя несущими большую ответственность за определение того, что имеет право «реально» существовать, а что – нет. Как следствие, в этой среде правит сила осуждающей критики.

Ученые, конечно, заражены ею, равно как и все те, кто признает их власть решать, что объективно существует. Но среди них могут оказаться и те, кто назовет себя анимистами, если они подтвердят, что у камней «реально» есть душа или намерения, как у людей. Именно «реально» играет здесь решающую роль; акцент, маркирующий полемическую силу, связанную с истиной. Вернувшись на мгновение к классификации антрополога Филиппа Дескола, я предположила бы, что у тех, кто отнесен к категории анимистов, нет аналога слова «реально», чтобы настаивать на том, что они правы, а другие – жертвы иллюзий.

Восстановление начинается с признания заразной силы этой среды, силы, которая ни в коей мере не преодолевается утверждением печальной относительности всякой истины. Фактически совсем наоборот, ведь печальный – ибо монотонный – рефрен релятивиста состоит в том, что наши истины «реально» лишены авторитета, на который претендуют.

{ У тех, кто отнесен к категории анимистов, нет аналога слова «реально», чтобы настаивать на том, что они правы, а другие – жертвы иллюзий.

Восстановление означает обретение того, от чего мы были отделены, но не в том смысле, что мы можем просто это вернуть. Восстановление означает излечение от самого разделения, регенерацию того, что это разделение отравило. Таким образом, потребности в борьбе и в исцелении (дабы не походить на тех, с кем приходится бороться) неразрывно связаны. Отравленная среда должна быть восстановлена, как и многие из наших слов, которые, подобно «анимизму» и «магии», несут способность взять нас в заложники: вы «реально» верите в...?

Я получила слово «восстановление» в подарок от неоязыческих современных ведьм и других американских активистов. Я также услышала шокирующий крик неоязычницы Стархок³:

3 Стархок (буквально «Звездный ястреб» (*Star hawk*)); настоящее имя – Мириам Саймос, р. 1951) – американская вивканка, экофеминистка и активистка борьбы за мир; автор книг «Спиральный танец: возрождение древней религии великой богини» (1979), «Земной путь: заземление вашего духа в ритмах природы» (2004) и др. – *Примеч. перев.*

«Мы все еще ощущаем дым сожженных ведм у себя в ноздрах». Конечно, среди нас больше нет охотников на ведм, и мы уже не воспринимаем всерьез обвинение в поклонении дьяволу, которое когда-то выдвигалось против ведм. Наша среда скорее определяется современной гордостью – ведь мы можем интерпретировать как ведовство, так и охоту на ведм в терминах социальных, лингвистических, культурных или политических конструктов и верований. Эта гордыня, однако, игнорирует тот факт, что мы являемся наследниками операции культурного и социального искоренения – предтечи того, что было совершено в других местах во имя цивилизации и разума. Все, что классифицирует память о таких операциях как неважную или нерелевантную, лишь способствует успеху этих операций.

В этом смысле наша гордость за свою критическую способность «знать лучше», чем ведмы и охотники на них, делает нас наследниками охоты на ведм. Суть, очевидно, не в том, чтобы чувствовать себя виноватыми. Дело скорее заключается в том, чтобы открыть то, что Уильям Джеймс⁴ в своей «Воле к вере» назвал подлинным, действенным выбором, усложняющим вопрос о «нас», требующим от нас размещения в конкретном контексте. И тут вступает в действие истинная сила крика Стархок. Восстановление прошлого – это не вопрос о том, чтобы воскресить его таким, каким оно было, это не вопрос мечтаний о том, чтобы оживить некую истинную, аутентичную традицию. Дело скорее в том, чтобы реактивировать прошлое – и прежде всего почуять дым у себя в ноздрах, дым, который я, например, почувствовала, когда поспешно подчеркнула: нет, я не «верю», что можно воскресить прошлое.

Научиться чують дым – значит признать, что мы усвоили коды соответствующего нам окружения: саркастические замечания, понимающие улыбки, бесцеремонные суждения, зачастую о ком-то другом, наделенные силой проникать и заражать – чтобы сделать нас теми, кто насмехается, а не теми, над кем насмехаются.

Тем не менее мы можем попытаться понять, как прошлое нас сформировало, но понимание – это не восстановление, ведь оно не исцеляет. Действительно, вот мучительный вопрос Дэвида Абрама, вопрос, которого мы не можем избежать, просто сославшись на капитализм или человеческую жадность: как может такая образованная культура, как наша, быть столь забывчивой, столь безрассудной в своих отношениях с одушевленной землей? Абрам пишет, что ответ на этот вопрос

ИЗАБЕЛЬ СТЕНГЕРС
ВОССТАНАВЛИВАЯ
АНИМИЗМ

⁴ Уильям Джеймс (1842–1910) – американский философ и психолог, один из основоположников прагматизма. «Воля к вере» («A Will to Believe») – текст прочитанной Джеймсом лекции, вышел в свет в 1896 году; на русском – сто лет спустя: Джеймс У. *Воля к вере* / Сост. Л. В. Блинников, А. П. Поляков. М.: Республика, 1997. – Примеч. перев.



поразил его, когда он был в книжном магазине, где собраны все священные традиции и ресурсы нравственной мудрости настоящего и прошлого:

«Не удивительно! Не удивительно, что наши изощренные цивилизации, переполненные накопленными знаниями стольких традиций, продолжают расплющивать и расчленять каждую частичку дышащей земли. [...] *Ведь мы записали всю эту мудрость на страницах*, фактически отделив эти многочисленные учения от живой земли, которая некогда их содержала и воплощала. Едва записанная на страницах, вся эта мудрость будто обрела сугубо человеческий исток. Озарение – некогда предлагавшееся танцем луны в облаках или ослепительным блеском солнечного света на покрытой рябью от ветра поверхности горного озера – теперь было зафиксировано в неизменной форме»⁵.

И все же Давид Абрам по-прежнему пишет, и весьма страстно. В качестве первого шага к выздоровлению я предлагаю сделать так, чтобы опыт письма (а не записи) был отмечен той же критической неопределенностью, что и танцующая луна. Письмо сопротивляется расчленению («или/или») опыта. Сопротивляется выбору между луной, которая «реально» озаряет, подобно интенциональному субъекту, или луной критики, просто запускающей процесс того, что «реально» исходит от человека.

Мы можем попытаться понять, как прошлое нас сформировало, но понимание – это не восстановление, ведь оно не исцеляет. Действительно, как может такая образованная культура, как наша, быть столь забывчивой, столь безрассудной в своих отношениях с одушевленной землей?

Письмо суть опыт метаморфической трансформации. Оно заставляет чувствовать, что идеи не принадлежат автору, что они требуют некоего церебрального – то есть телесного – искажения, которое одолевает всякую предварительно оформленную интенцию. (Как писал Делёз, это искажение делает нас личинками.) Можно даже сказать, что именно письменность дала преобразующим силам особый способ существования – идеи. Альфред Норт Уайтхед предположил, что идеи Платона – это вещи, которые прежде всего эротически соблазняют человеческую душу – или, можно сказать, «одушевляют»

5 АБРАМ D. *Becoming Animal: An Earthly Cosmology*. New York: Vintage, 2010. P. 281.

человека. По Уайтхеду, (греческую) человеческую душу определяет «наслаждение ее творческой функцией, возникающее из ее развлечения идеями».

Но, когда текст *написан*, когда он принял «неизменную форму», он вполне может навязать себя как нечто человеческое по своему происхождению – даже создать впечатление, будто он способен стать средством для доступа к намерениям писателя, для схватывания того, что он «хотел сказать» и что мы должны «понять». Соответственно, платоновская душа может стать определением, оторванным от опыта, – чем-то, что есть у нас и чего нет у природы.

Уайтхед писал, что после «Пира», где Платон обсуждает эротическую силу идей, ему следовало бы написать еще один диалог под названием «Фурии», в котором речь шла бы об ужасе, кроющемся «в несовершенной реализации». Возможность несовершенной реализации, безусловно, проявляется всякий раз, когда преобразующие, метаморфические силы заставляют себя ощутить, но это особенно верно в отношении идей, если, как я утверждаю, реализация идей предполагает письмо.

Однажды «записанные», идеи и вправду подталкивают нас к тому, чтобы связать их с определенным и обычно доступным пониманию значением, отделив опыт чтения от опыта письма. Это тем более верно в сегодняшнем мире, который насыщен текстами и знаками, обращенными к кому угодно, отделяющими нас от «более-чем-человеческого» мира, к которому идеи все-таки принадлежат. Однако для возрождения анимизма мало иметь идею, которая позволила бы нам утверждать, что мы знаем о нем, – даже если для таких людей, как я, важно осознать, что письмо – опыт анимистический, свидетельствующий о «более-чем-человеческом» мире.

Восстановление означает обретение, и в данном случае обретение способности чтить опыт (любой опыт, который нам дорог) как «не наш», а скорее «одушевляющий» нас, заставляющий свидетельствовать о том, что не есть мы. Хотя такое восстановление нельзя сводить к развлечению идеями, некоторые из них могут способствовать этому процессу – защитить его от «демистификации» как некоей фетишистской иллюзии. Подобной идеей является делёзо-гваттарианский концепт ассамбляжа (частенько обсуждаемый перевод французского *agencement*).

Ассамбляж, по Делёзу и Гваттари, есть смыкание разнородных компонентов, и такое смыкание является первым и последним словом существования. Я не существую до вступления в ассамбляжи. Мое существование скорее равнозначно моему участию в них, поскольку я не являюсь одним и тем же человеком, когда пишу и когда задаюсь вопросом о действитель-

ИЗАБЕЛЬ СТЕНГЕРС
ВОССТАНАВЛИВАЯ
АНИМИЗМ



ности текста после того, как он написан. У меня нет ни агентности, ни интенции. Напротив, агентность – или то, что Делёз и Гваттари называют «желанием», – принадлежит ассамбляжу как таковому, включая весьма специфические ассамбляжи, называемые «рефлексивными», которые производят опыт отстранения, удовольствия от критического изучения предшествующего опыта с целью определить, что «реально» ответственно за те или иные вещи. Другим словом для такого рода агентности, которая нам не принадлежит, является «одушевление».

Однако связывать анимизм с действительностью ассамбляжей – опасный шаг, потому что он может слишком легко нас успокоить. Такова природа читательской фантазии: полагать, будто мы свободны размышлять, не испытывая экзистенциальных последствий своих вопросов. Например, мы можем испытывать искушение трактовать ассамбляж как интересный концепт среди прочих, размышляя о его связях с другими концептами – то есть не чувствуя, что наша интенциональная позиция подвергается угрозе исходящим от него требованиям. А также не боясь подозрительного взгляда инквизиторов, не чувствуя дыма в ноздрях. Мы защищены ссылками, которые приводим.

Вот почему, возможно, было бы лучше возродить более скомпрометированные слова, чье использование сведено к метафорам. «Магия» – одно из таких слов, ведь мы свободно говорим о магии события, пейзажа, музыкального момента. Так, защитившись метафорой, мы можем выразить опыт агентности, которая нам не принадлежит, даже если включает нас, но таких «нас», коими завладело чувство.

Я предположила бы, что нам нужно отказаться от этой защиты, дабы избавиться от печального, монотонного, тихого критического или рефлексивного голоса, шепчущего, что мы не должны себя обманывать, – голоса, транслирующего слово инквизиторов. Этот голос может рассказать нам о пугающих возможностях, которыми чреват отказ от критики – нашей единственной защиты от фанатизма и власти иллюзий. Но прежде всего это голос эпической истории, которая все еще живет в нас. «Не отступи!»

Мы допустили бы много смелых предположений, если бы они, подобно предприятию Бретона, представляли версию эпоса, если бы они гарантировали, что только избранные (художники, философы и тому подобные) имеют право изучать то, что вводит в заблуждение других.

Магия подрывает любую такую версию эпоса. И как раз поэтому неоязыческие ведьмы и называют свое ремесло «магией»: они говорят, что такое именование само по себе является магическим актом, ибо создаваемый им дискомфорт помогает нам почуять дым в ноздрях. Более того, они научились чертить

круги и призывать Богиню – ту, которая, как говорят ведьмы, «возвращается», ту, которой будет воздана благодарность за событие, наделяющее их способностью делать то, что они называют «работой Богини».

Тем самым они нас испытывают! Как нам принять отступление или обращение к сверхъестественным верованиям? Дело, однако, не в том, чтобы задаваться вопросом, должны ли мы принять Богиню, которую современные ведьмы призывают в своих ритуалах. Если бы мы сказали им: «Но ваша Богиня – всего лишь вымысел», они, несомненно, улыбнулись бы и спросили, не принадлежим ли мы к числу тех, кто верит, что вымысел бессилен.

Что ведьмы призывают нас принять – так это возможность отказа от критериев, которые претендуют на превосходство над ассамблеями и которые вновь и вновь усиливают эпос критического разума. То, что они культивируют как часть своего ремесла (а это часть любого ремесла), есть искусство имманентного внимания, эмпирическое искусство о том, что полезно, а что вредно; искусство, которое наша зависимость от истины слишком часто отвергала как суеверие. Они прагматичны, радикально прагматичны; они знают, что экспериментируют с эффектами и последствиями того, что никогда не бывает безобидным и требует заботы, защиты и опыта.

Ритуальное песнопение ведьм – «Она меняет все, к чему Она прикасается, и все, к чему Она прикасается, меняется», – вне всякого сомнения, можно прокомментировать в терминах ассамблежей, ведь оно противится расчленяющему приписыванию агентности. Относится ли изменение к Богине как к «агенту» или к тому, кто изменяется благодаря прикосновению?

Но первое действие рефрена – «Она прикасается». Неопределенность, свойственная ассамблеям, уже не является концептуальной. Это часть опыта, который утверждает силу изменения, неприписываемую нашим собственным самостям и несводимую к чему-либо естественному. Это опыт, который почитает изменение как творение.

Более того, суть не в том, чтобы комментировать. Рефрен должен повторяться – это неотъемлемая часть практики поклонения. Может ли тезис, что магия обозначает одновременно ремесло ассамблежей и их особую трансформирующую действенность, помочь нам очистить ее [магию] как от безопасности метафорического, так и от клейма сверхъестественного? Может ли он помочь нам почувствовать, что в природе нет ничего «естественного»? Может ли он побудить нас рассмотреть новые трансверсальные связи, сопротивляющиеся всякой редукции, в отличие от печального термина «естественный», который фактически означает «не нарушающий границ: до-

ИЗАБЕЛЬ СТЕНГЕРС
ВОССТАНАВЛИВАЯ
АНИМИЗМ



ступный только для научного объяснения», а также в отличие от «символического», которое охватывает все остальное?

Возрождение всегда предполагает компрометирующий шаг. Я сказала бы, что мы – те, кто не входит в число ведьм, – должны не подражать им, а выяснять, как можно быть скомпрометированными магией.

Скажем, мы могли бы поэкспериментировать с (неметафорическим) использованием термина «магия», который обозначает ремесло иллюзионистов, заставляющих нас воспринимать и принимать то, что, как мы знаем, невозможно. Ведьмы говорят, что магия – это ремесло. Их не шокировала бы трансверсальная связь с ремеслом практикующих магов, если бы эта связь была восстанавливающей – то есть если бы ремесло практикующих магов рассматривалось как то, что сохранилось, когда в руках шарлатанов магия стала делом иллюзии и манипулятивного обмана или же была оставлена в корыстных руках тех, кто знает множество способов заставить нас желать, доверять, покупать.

Именно это предлагает Дэвид Абрам (который и сам является искусным магом), когда связывает свое ремесло с тем, что делает его возможным, то есть с «характерным для самих чувств способом бросаться за пределы непосредственно данного, чтобы установить экспериментальный контакт с иными сторонами вещей, неосязаемыми непосредственно; со скрытыми или невидимыми аспектами чувственного»⁶. Тогда тем, что иллюзионисты искусно эксплуатируют, была бы сама творческая способность чувств, реагирующих на то, что Абрам характеризует как «внушения, предлагаемые самим чувственным». Если здесь имеет место эксплуатация, то ей подвергается и сам маг, ведь внушения предлагаются не только прямо сформулированными им словами и намеренными жестами, но и тонкими телесными сдвигами, которые выражают его собственное участие в исполняемой им магии, его замороженность самой этой магией.

Наши чувства, заключает Абрам, предназначены не для отстраненного познания, а для вовлечения, для участия в метаморфической способности вещей, которые заманивают нас или отступают в инертную доступность по мере того, как наш способ участия меняется – но, настаивает он, никогда не исчезает: мы никогда не выходим за пределы «потока участия». Когда магия возрождается как искусство участия или завлечения ассамбляжей, последние в свою очередь становятся предметом эмпирической и прагматической заботы о последствиях и эффектах, а не общего рассмотрения или текстуального исследования.

6 АБРАМ D. *The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-Than-Human World*. New York: Random House, 1997. P. 58.

Манящие, внушающие, притворные, побуждающие, захватывающие, завораживающие – все наши слова выражают амбивалентность соблазна. Все, что нас привлекает или оживляет, также может и поработать – тем более, если мы принимаем это как данность. Научные экспериментальные ремесла, драматически иллюстрирующие метаморфическую действенность ассамбляжа, наделяющую вещи способностью оживлять чувства, мысли, воображение ученого, так же являются драматическим примером этой поработавшей силы. То, что я вслед за Уайтхедом назвала бы «несовершенной реализацией» ими достигнутого, развязало яростное завоевание, во имя которого ученые принижают свои достижения, представляя их как простую манифестацию объективной рациональности.

ИЗАБЕЛЬ СТЕНГЕРС
ВОССТАНАВЛИВАЯ
АНИМИЗМ

Наши чувства предназначены не для отстраненного познания, а для вовлечения, для участия в метаморфической способности вещей, которые заманивают нас или отступают в инертную доступность по мере того, как наш способ участия меняется.

Но вопрос, как почтить метаморфическую действенность ассамбляжей (не принимая ее как должное и не наделяя сверхъестественной грандиозностью), является предметом заботы всех «магических» ремесел – особенно в нашей нездоровой, «заразной» среде. И как раз потому, что эта забота может быть общей, но не способна получить обобщающего ответа, восстановление магии может быть лишь ризоматической операцией.

Ризома отвергает всякую всеобщность. Связывания не выражают какой-либо истины о том, что является общим за пределами ризоматической гетерогенной множественности – за пределами множественности различных прагматических смыслов, что ассоциируются с «магией», соотносящейся с тем, что мы называем политикой, врачеванием, образованием, искусством, философией, науками, сельским хозяйством и любым ремеслом, требующим способности вовлечь нас в ситуацию метаморфической внимательности или зависящим от такой способности.

Единственное общее здесь касается нашей среды и ее принуждения классифицировать и судить – и спиритуализм здесь является вероятным суждением – или отрицать все, что указывает на метаморфическое измерение того, чего должно достичь. Ризоматические связывания могут быть *необщим* ответом на эту общность. Всякое «магическое» ремесло нуждается в связях с другими, дабы противостоять средовой инфекции, разделяющей силе социального суждения, дабы почуять дым,



который требует, чтобы мы решили, являемся ли мы наследниками ведем или охотников на них.

Но связи также могут быть необходимы для исцеления и обучения. Там, где речь идет об опасном искусстве одушевления ради бытия одушевленным, то, что связывает, может быть практическим знанием о необходимом имманентном (критическом) внимании. Не о том, что хорошо или плохо само по себе, а о том, что Уайтхед называл «реализацией». Опять же, ни один модус реализации не может быть принят в качестве модели – лишь как призыв к прагматическому переизобретению. Дабы почтить создание связей, защитить его от моделей и норм, нам может потребоваться имя. Анимизм мог бы быть именем для этого ризоматического искусства.

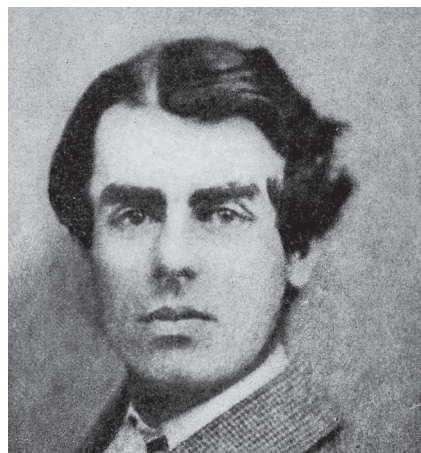
Таким образом, восстановление анимизма не предполагает, что мы когда-либо были анимистами. Никто и никогда не был анимистом, ведь никто и никогда не является анимистом «вообще» – лишь в терминах ассамбляжей, порождающих метаморфическую трансформацию в нашей способности воздействовать и испытывать воздействие, а также чувствовать, мыслить и воображать. Анимизм, однако, может быть именем для восстановления этих ассамбляжей, ища нас почувствовать, что их действенность не является нашей и мы не вправе на нее претендовать. Вопреки настойчивой пагубной страсти к расчленению и демистификации он утверждает то, чего все они требуют, чтобы нас не поработить: что мы не одиноки в этом мире.

*Перевод с английского Дениса Шалагинова
под редакцией Эдварда Сержана*

«Википедия» предупреждает, что мы не должны путать английского романиста Сэмюеля Батлера (1835–1902) с его тезкой, поэтом-сатириком XVII века. Вряд ли такая путаница возможна, хотя ее предположение уже указывает на некую странность персонажа.

Батлер – действительно странный писатель. Большую часть его наследия составляют эссе и трактаты, посвященные самым разнообразным предметам в диапазоне от авторства гомеровских поэм (Батлер доказывал, что «Одиссею» написала женщина) до критики теории эволюции. Впрочем, писал он и романы, «Википедия» нас не обманывает. В серии «Литературные памятники» вышла квазиавтобиографическая книга Батлера «Путь всякой плоти», хотя было бы намного лучше перевести его утопию или антиутопию «Erewhon» (это название, анаграмму слова *nowhere*, по-русски иногда передают как «Егдин»).

Биография Батлера способна вызвать живой интерес психоаналитика, и это, наверное, плохо для его посмертной репутации. Влияние родителей, в первую очередь – грубого и деспотичного отца, привело к тому, что Батлер до конца своих дней видел в семье лишь репрессивное орудие социума. Впрочем, мы можем предположить, что интеллектуальное свободолюбие нашего героя происходит из этого же источника.



Сэмюэль Батлер (1835–1902) – английский писатель, переводчик и художник.

¹ Перевод выполнен по изданию: BUTLER S. *A First Year in Canterbury Settlement and other Early Essays*. London; New York, 1923. P. 208–213.

ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ:
ВМЕСТО
ПОСЛЕСЛОВИЯ

Всю жизнь Батлер изучал развитие индивидуальности – и как писатель, и как мыслитель. Его критика теории Дарвина связана с тем, что он не мог смириться с той пассивной ролью, которую классический дарвинизм отводит индивиду и его сознательным усилиям. Батлер пытался доказать, что мы нечто большее, чем просто пушечное мясо в каких-то грандиозных процессах, и это ему отчасти удалось, во всяком случае антрополог Грегори Бейтсон признавался, что обязан сочинениям Батлера не только минутами удовольствия, но и глубокими прозрениями.

Эссе «Дарвин среди машин» было написано Батлером в 1863 году в Новой Зеландии, где он пытался какое-то время начать новую жизнь вдали от угнетающего влияния семьи. Попытка не увенчалась успехом (он вернулся в Англию), но принесла неожиданные интеллектуальные плоды в виде нескольких остроумных текстов о взаимоотношениях человека и созданных им механических устройств. Первый из этих текстов мы предлагаем вниманию читателей. **[Владислав Дегтярев]**

*Главному редактору «The Press», Крайстчерч,
Новая Зеландия, 13 июня 1863 года*

Сэр!

Немного найдется вещей, которыми нынешнее поколение могло бы по праву гордиться сильнее, чем постоянными прекрасными усовершенствованиями, происходящими среди механических устройств любого рода. И действительно, здесь много поводов для радости. Не стоит перечислять их сейчас, поскольку они очевидны; наш разговор посвящен соображениям, которые способны некоторым образом смирить нашу гордость и заставить нас серьезно задуматься о дальнейших перспективах рода человеческого. Если мы обратим свой взгляд на ранние, примитивные формы механической жизни – рычаг, клин, наклонную плоскость, винт и блок – или (поскольку аналогия способна продвинуть нас на шаг далее) на самую раннюю форму, из которой произошло все механическое царство, мы имеем в виду рычаг, – а затем исследуем механическое устройство «Грейт Истерна»², мы будем поражены впечатляющим развитием механического мира, теми гигантскими шагами, которые

2 Британский пароход, спроектированный Изамбардом Брюнелем и спущенный на воду в 1858 году. До XX века считался крупнейшим кораблем. – *Примеч. ред.*

ми он продвигался вперед, особенно в сравнении с медленным прогрессом животного или растительного царства. Мы не сможем удержаться от того, чтобы задать себе вопрос: каким будет итог этого мощного движения? В каком направлении оно развивается? Каков будет его финал? Цель настоящего письма – дать несколько приблизительных намеков на то, какими могут быть возможные ответы на эти вопросы.

Мы используем слова «механическая жизнь», «механическое царство», «механический мир» и так далее и делаем это сознательно, поскольку, как растительное царство медленно развилось из минерального и животное сходным образом произошло из растительного, так же в течение последних нескольких столетий появилось совершенно новое царство, из которого мы до сих пор видели только то, что со временем будут считать допотопными предшественниками этой расы.

Мы глубоко сожалеем, что наше знание как естественной истории, так и техники столь невелико, что не позволяет нам взяться за грандиозную работу – классифицировать машины и разделить их на роды и подроды, виды, подвиды и разновидности и так далее, отследить родственные связи между глубоко различными машинами, показать, как подчинение человеческим нуждам сыграло для машин ту же роль, какую в животном и растительном царствах исполнил естественный отбор, показать рудиментарные органы³, все еще сохраняющиеся у некоторых машин, слабо развитые и совершенно бесполезные, хотя и служащие для того, чтобы продемонстрировать происхождение от какого-то раннего типа, который либо вымер, либо преобразился в некую новую форму механической жизни. Мы можем лишь наметить эту область для исследования; его должны подхватить другие – те, чья образованность и таланты превосходили бы все то, на что мы вправе претендовать.

Все же мы отважимся высказать некоторые намеки, хотя и делаем это с величайшей робостью. Во-первых, мы заметим, что, подобно некоторым из низших позвоночных, бывших намного крупнее, чем их ныне живущие более развитые потомки,

СЭМЮЭЛЬ БАТЛЕР
ДАРВИН СРЕДИ МАШИН

- 3** Ученый собрат-философ, читавший эту работу в рукописи, задал нам вопрос: что мы имеем в виду, говоря о рудиментарных органах у машин? Можем ли мы, спрашивал он, привести хотя бы один пример таких органов? Мы указали на небольшой выступ на нижнем конце чашечки нашей курительной трубки. Этот орган был изначально создан с той же целью, что и сужение внизу чайной чашки, представляющее собой другую форму, служащую той же функции. Его назначение состояло в том, чтобы избежать следов от горячей трубки на столешнице. Вначале, как мы могли наблюдать на ранних образцах трубок, этот выступ имел совершенно другую форму, нежели сейчас. У него была широкая и плоская нижняя часть, так что во время курения чашечка трубки могла опираться на поверхность стола. В дальнейшем употребление и неупотребление послужило тому, что функция свелась к своему нынешнему рудиментарному состоянию. То, что в технике эти рудиментарные органы встречаются реже, чем у животных, явилось следствием более прямого действия человеческого отбора в сравнении с более медленной, но и более действенной работой отбора естественного. Человек совершает ошибки; природа же в конечном счете не ошибается. Мы привели несовершенный пример, однако разумный читатель сумеет обеспечить себя нужными иллюстрациями.

уменьшение размеров машин часто сопровождало их развитие и прогресс. Возьмем, к примеру, карманные часы. Можно исследовать всю красоту строения маленького животного, проследить за разумным движением миниатюрных частей, его составляющих, но это маленькое создание все равно останется потомком неуклюжих часов XIII столетия, недалеко от них ушедшим. Когда-нибудь напольные и настенные часы, сейчас отнюдь не склонные уменьшаться в объеме, могут оказаться полностью вытеснены повсеместным использованием карманных часов, а настенные и напольные родственники последних вымрут, как некогда динозавры, часы же, носимые в жилетном кармане (в течение определенного времени уменьшавшиеся в размере, а не наоборот), останутся единственным существующим видом исчезнувшей расы.

Те взгляды на технику, которые мы высказываем здесь столь робко, могут подсказать ответ на один из величайших и наиболее таинственных вопросов наших дней. Мы имеем в виду следующий вопрос: каким будет существо, которое сменит человека в его господстве над природой? Это часто обсуждают, но нам представляется, что мы сами создаем собственных преемников; изо дня в день мы совершенствуем красоту и тонкость их телесного строения; изо дня в день мы сообщаем им все большую силу и снабжаем всеми видами хитроумных приспособлений ту самоорганизующуюся, самостоятельную силу, которая станет для них тем, чем интеллект стал для человеческого рода. С течением времени мы окажемся низшей расой. Уступая им по силе, уступая по нравственному качеству самоограничения, мы будем воспринимать их как вершину всего лучшего и мудрейшего, к чему только может стремиться человек. Никакие злые страсти, никакая зависть, никакая алчность, никакие греховные желания не возмутят спокойную мощь этих великолепных созданий. Среди них не будет места греху, стыду и печали. Их разум будет пребывать в состоянии вечного спокойствия, удовлетворения духа, не ведающего желаний, не смущаемого сожалениями. Их не будет мучить честолюбие. Их не смутит неблагодарность. Нечистая совесть, обманутые надежды, боль изгнания, надменность вышестоящих и презрение, с которым сталкивается терпеливая добродетель недостойных, – ничего подобного они не узнают. Если им будет нужно «питание» (каковое слово выдает наше восприятие их как живых организмов), к ним придут терпеливые рабы, чьей заботой и желанием будет видеть, что они ни в чем не нуждаются. Если они выйдут из строя, к ним на помощь тут же поспешат врачи, во всех деталях знакомые с их строением; если они умрут, поскольку даже эти прекрасные животные не будут избавлены от всеобщего и неизбежного конца, они не-

медленно перейдут в другую форму существования, ибо какая же машина умирает одновременно в каждой своей части?

СЭМИУЭЛЬ БАТЛЕР

ДАРВИН СРЕДИ МАШИН

Мы полагаем, что, когда наступит то положение вещей, которое мы пытаемся здесь изобразить, человек станет для машины тем же, чем лошадь и собака являются для человека. Он продолжит свое существование, может быть, даже будет совершенствоваться и в этом состоянии одомашнивания под благодетельным управлением машин будет, вероятно, чувствовать себя лучше, чем в нынешнем диком состоянии. Как правило, мы относимся к своим лошадям, собакам, скоту с большой добротой; мы создаем для них те условия, которые считаем наилучшими, и употребление мяса в пищу, без сомнения, скорее способствовало счастью низших животных, нежели препятствовало ему; соответственно, логично было бы предположить, что и машины будут проявлять к нам доброту, коль скоро их существование зависит от нас так же, как наше – от низших животных. Они не могут убивать нас ради еды, как мы убиваем овец; наши услуги понадобятся им не только для производства на свет потомства (каковая отрасль хозяйства навсегда останется в наших руках), но и для кормления, и чтобы выхаживать их в болезни, и для того, чтобы хоронить их мертвых или перерабатывать их тела в другие машины. Очевидно, что, если бы в Великобритании вымерли все животные за исключением человека и в то же время какая-то неожиданная катастрофа сделала бы невозможным сообщение с зарубежными странами, очевидно, что такую утрату было бы страшно вообразить – точно так же, прекратись вдруг человеческий род, машинам пришлось бы столь же тяжело, если не хуже. Дело в том, что наши потребности неотделимы от их потребностей, и наоборот. Каждая раса, будучи зависимой от других, получает неисчислимы выгоды, и, пока репродуктивные органы машин не достигли того состояния, которого мы пока что не можем представить, они полностью зависят от человека в самом продолжении своего рода. Правда, что эти органы могут достичь полного развития, если это соответствует интересам человека; ничего другого наша пресыщенная раса не желает больше, чем плодovitого союза между двумя паровыми машинами; хотя механизмы уже сейчас участвуют в воспроизводстве механизмов и становятся родителями машин своего вида, но времена их флирта, ухода и брака кажутся очень далекими, так что нашему слабому и неточному воображению трудно их представить.

Машины тем не менее день ото дня завоевывают над нами преимущество; день ото дня мы становимся все больше от них зависимы; день ото дня все больше людей оказываются связаны с ними узами, подобными рабству, все больше людей посвя-

щают все свои силы развитию механической жизни. Развязка есть лишь вопрос времени, но то, что настанет час, когда машинам будет принадлежать настоящее господство над миром и его обитателями, ни один философски мыслящий человек не может ни на минуту подвергнуть сомнению.

Мы полагаем, что против них нужно немедленно объявить войну на уничтожение. Любая машина любого рода должна быть уничтожена доброжелателем своего вида. Пусть не будет ни исключений, ни милосердия; давайте вернемся к первобытному состоянию нашей расы. Если нам скажут, что при современном состоянии человечества такое невозможно, это сразу же докажет, что непоправимый ущерб уже нанесен, что мы уже находимся в рабстве, что мы успели воспитать расу существ, которых не в состоянии уничтожить, и что мы не только порабощены, но и полностью примирились со своей зависимостью.

Пока что мы оставим этот предмет, который передаем *gratis* в распоряжение членов Философского общества. Если же они не решатся сами разработать ту обширную ниву для исследования, которую мы им указали, мы постараемся возделывать ее самостоятельно когда-либо в будущем.

Искренне ваш и т. д.,
Cellarius.

Перевод с английского Владислава Дегтярева

Коллаж, механизм и руина. Механическое *versus* историческое

ВЛАДИСЛАВ
ДЕГТЯРЕВ

Что такое обжитые руины (которых еще два-три столетия назад было намного больше, чем сейчас), как не коллаж, возникший естественным образом, даже коллаж *par excellence*, демонстрирующий если не единство противоположностей, то уж точно – их постоянную борьбу? «Коллажное пространство, – пишет Екатерина Бобринская, – состоит из демонстративных стыков разных реальностей»¹. И это подчеркнуто разнокачественные реальности, добавим мы. Монтажные швы между первоначальной величественной структурой и позднейшими мелкими и суетными дополнениями никак не маскируются, так что наблюдатель, в особенности романтически настроенный, может либо оплакивать несоответствие старого и нового – их масштаба, их стилистики, их жизнеспособности, наконец, – либо наслаждаться этим наглядным примером *juxtaposition*.

Среди иллюстраций в книге Роуз Маколей «Удовольствие от руин»² есть литография 1840-х, изображающая художника, находящегося внутри римского храма, обращенного в жилой дом, и рисующего интерьер этого странного жилища. Устройство здания нам не показывают. Все, что мы видим, это комната, из пола которой вырастают совершенно немасштабные коринфские колонны. Между ними кошка играет со своими котятами, а несколько поодаль художник (сюртук в талию, пышный бант на шее, остроконечная борода) раскачивается на стуле, пытаясь что-то зарисовать. Как ни странно, самым неуместным в этой идиллической, в общем-то, картинке оказывается именно художник, а вовсе не грубоватые строительные нововведения. Вывод же напрашивается такой: граница между прошлым и настоящим сохраняется неизменной, но проходит вовсе не там, где мы ожидаем ее найти.

Стоит ли в таком случае удивляться, что попытки воссоздать прошлое часто оказываются более трагичными, нежели безыскусное приспособление его следов для повседневных



Владислав Влади-
мирович Дегтярев
(р. 1974) – культуролог,
преподаватель
Факультета свободных
искусств и наук СПбГУ.

¹ Бобринская Е. *Русский авангард: границы искусства*. М., 2006. С. 27.

² MASAULAY R. *Pleasure of Ruins*. London: Thames and Hudson, 1953. Отрывок из этой книги в нашем переводе опубликован в: МАКОЛЕЙ Р. *Удовольствие от руин* // Неприкосновенный запас. 2020. № 4(132). С. 187–202.

нужд? Хорхе Луис Борхес в рассказе «Бессмертный» описывает безумный город, заново отстроенный из руин: те, кто его восстанавливал, не имели иной цели, кроме воссоздания знака своей причастности к какому-то прошлому.

Странник (борхесовский рассказчик, предположительно сам Агасфер), попавший в этот город, не находит в нем ничего, кроме тягостной бессмыслицы, воплощенного в камне кошмара:

«Куда ни глянь, коридоры-тупики, окна, до которых не дотянуться, роскошные двери, ведущие в крошечную каморку или в глухой подземный лаз, невероятные лестницы с вывернутыми наружу ступенями и перилами. А были и такие, что лепились в воздухе к монументальной стене и умирали через несколько витков, никуда не приведя в навалившемся на купола мраке. [...]

Город, чья слава прокатилась до самого Ганга, веков девять тому назад был разрушен. И из его обломков и развалин на том же самом месте воздвигли бессмысленное сооружение, в котором я побывал: не город, а пародия, нечто перевернутое с ног на голову, и одновременно храм неразумным богам, которые правят миром, но о которых мы знаем только одно: они не похожи на людей»³.

Наше представление о руинах, как об архитектурных сооружениях, распадающихся и уходящих назад, в природу, невозможно и бессмысленно, если в нашей культуре не существует разграничения искусственного и естественного, рукотворного и природного. Однако существование такой границы вовсе не обязательно.

Артур Лавджой в книге «Великая цепь бытия» формулирует принципы, названные им принципами изобилия (*plenitude*) и непрерывности. Согласно принципу изобилия, в нашем мире должны существовать все возможные переходы между теми категориями, которые мы используем для классификации объектов внешнего мира: между живым и неживым, между растениями и животными, между животными и людьми:

«Для этой теоремы до сих пор не было найдено [...] подходящего имени; и поэтому ее тождество в различных контекстах и способах выражения ускользало [...] от внимания историков. Я называю ее принципом изобилия [*plenitude*], но буду [...] обозначать этим понятием не только тезис, что вселенная *plenum formarum* [преисполнена форм], в которых исчерпывающе представлено все мыслимое множество разнообразия типов живущего, но также и любые другие умозаключения из предположения, что никакая подлинная потенция бытия не может остаться неисполнившейся; что протяженность и изобильность сотворенного должны быть так же велики, как беспределен потенциал существования, и должны

3 Борхес Х.Л. Бессмертный // Он же. Новые расследования. СПб., 2000. С. 213, 216.

соответствовать продуктивным возможностям “совершенного” и неисчерпаемого Источника; и что мир тем лучше, чем больше вещей он содержит»⁴.

ВЛАДИСЛАВ ДЕГТЯРЕВ
КОЛЛАЖ, МЕХАНИЗМ
И РУИНА. МЕХАНИЧЕСКОЕ
VERSUS ИСТОРИЧЕСКОЕ

Согласно Лавджою, у принципа изобилия, восходящего к Платону, в истории мысли был еще и двойник – аристотелевская концепция непрерывности:

«[Концепции непрерывности] было суждено переплестись с платоническим учением о необходимой “полноте” мира, [в котором она...] стала рассматриваться как предполагаемая. [...] Природа сопротивляется нашему стремлению проводить строгие разграничения; она любит сумеречные зоны, в которых формы, принадлежащие им, могут – если их вообще возможно классифицировать – принадлежать двум классам одновременно. И эти ускользающие и незначительные степени различия особенно очевидны там, где обычно предполагается наличие глубоких и безусловных контрастов»⁵.

Интересно проследить судьбу одного из наиболее глубоких подобных контрастов – оппозиции естественного и искусственного.

«Все вещи искусственны, ибо Природа есть Искусство Бога»⁶, – утверждал в середине XVII века английский эрудит Томас Браун. Это высказывание логически безупречно, поэтому оспорить его можно, лишь изменив точку зрения на мир и на себя самих.

Лавджой показал, что культура XVIII века отрицает наличие разрывов между логическими и таксономическими категориями там, где они очевидны для нас. Можно дополнить рассуждения Лавджоя ссылками на других исследователей истории идей.

Так, Мишель Фуко в «Словах и вещах» писал, что культура XVIII века не была знакома с временным измерением. Речь, конечно же, идет об активном времени современности (точнее – *modernité* XIX–XX веков), описанном Алейдой Ассман, которое представляет собой не среду изменений, но «“двигатель” определенных “процессов” или “трансформаций”»⁷. С середины XIX века, утверждает она, «события не только происходили *внутри* [...] времени, но и порождались *самим этим временем*»⁸. Время из среды превратилось в событие и с тех пор ощущается нами как таковое.

Согласно концепции Джессики Рискин – американского историка науки и специалиста по автоматам XVIII века, – граница живого и неживого (естественного и искусственного, при-

4 Лавджой А. *Великая цепь бытия*. М., 2001. С. 55.

5 Там же. С. 58, 59.

6 BROWNE T. *Religio Medici* // IDem. *The Religio Medici and Other Writings of Sir Thomas Browne*. London; New York, 1912. P. 19.

7 АССМАН А. *Распалась связь времен?* М., 2017. С. 39.

8 Там же. С. 45.

родного и рукотворного и так далее), неопределенная в эпоху барокко и Просвещения, застывает где-то к 1830-м⁹. До тех пор считалось, что, «если жизнь материальна, значит, материя живая, и трактовать животное в качестве машины значит тем самым одушевлять машину; [...] рассматривая животное как механизм, [мыслители и механики XVIII столетия] начинали видеть животное в машине и конструировать машины соответствующим образом»¹⁰.

Мышление (*mental habit* в смысле Панофского), не осознающее границу между природой и культурой, способно порождать всякие необычные мыслительные конструкции и мысленные эксперименты, вызывающие к жизни странные объекты, которые можно назвать антируинами. Антируина в общем смысле представляет собой попытку вывести архитектуру из природных форм.

Джозеф Рикверт в книге «О доме Адама в раю» приводит рисунок странного английского архитектора Джозефа Гэнди, изображающий природные формы, которые могли бы послужить прообразами архитектурных сооружений¹¹. Единственный узнаваемый объект среди них – Фингалова пещера в Шотландии; впрочем, Гэнди рисует ее более правильной, чем в действительности, более похожей на колонный зал какого-нибудь великанского дворца.

Мышление, не осознающее границу между природой и культурой, способно порождать необычные мыслительные конструкции и мысленные эксперименты, вызывающие к жизни странные объекты, которые можно назвать антируинами.

Если более известные работы Гэнди – такие, как рисунок Банка Англии, лежащего в руинах, – принадлежат к парадигме историзма и часто интерпретируют тему времени весьма неожиданным образом, то здесь можно видеть воспроизведение некоторых идей эпохи Просвещения, порой принимавших чрезвычайно курьезные формы. Рикверт показывает, что попытки вывести ордерную архитектуру из деревянных конструкций, освященные авторитетом Витрувия, приводили к мысли связать формы архитектуры с формами природы.

Любопытно, что авторы таких сочинений не ограничивались утверждениями природоподобия классических форм. Мы

9 RISKIN J. *Eighteenth-Century Wetware* // *Representations*. 2003. Vol. 83. № 1. P. 97–125.

10 Ibid. P. 99–100.

11 RYKWERT J. *On Adam's House in Paradise*. New York, 1972. P. 74.

сейчас не понимаем, как найти связующее звено между каркасной конструкцией и природными объектами, но еще менее понятно, каким образом можно было подсмотреть в природе более сложные архитектурные формы – например, готики. Тем не менее Рикверт цитирует автора конца XVIII века, который сделал именно этот ход. В 1813 году шотландский геолог Джеймс Холл выпустил книгу¹² (бывшую, впрочем, итогом более ранних публикаций), в которой ясно и логично показывал, как готическая постройка получается из плетеной конструкции, основой которой служат соединенные стволы деревьев – возможно, даже живых. Вот как Рикверт описывает технологию строительства:

«В землю на равном расстоянии вбивается ряд шестов, примерно одинаковой высоты – так, как это показано в различных исследованиях о происхождении ордера. Но к каждому из этих “готических” шестов по кругу крепятся гибкие ивовые прутья. Когда прутья с противоположных сторон связываются вместе, получается форма, подобная крестовому своду, достаточно прочная, чтобы выдерживать, например, вес соломенной крыши. Связывая ивовые прутья немного по-разному, можно получить образцы сводов и арок»¹³.

На фронтисписе книги Холла красовалось изображение изящной плетеной, но, несомненно, готической часовни, которую автор построил в своем имении. Шпиль часовни опирался на полукруглые арки, повторяя конструкцию шпиля средневекового собора святого Николая в Ньюкасле и лондонской церкви святого Дунстана-на-востоке, построенной Кристофером Реном. Интересно было бы выяснить, как долго просуществовала эта экспериментальная постройка. Холл то ли не видит контраста между скромным материалом и утонченным архитектурным мышлением, которое предполагает его реконструкция, то ли пытается извлечь из него художественный эффект. Обратим внимание и на профессию реконструктора, хотя трудно сказать, какой из нее следует вывод.

По словам Рикверта, Холл исходил из представления об отсутствии естественных для камня свойств, которые могли бы стать формообразующим фактором в архитектуре. Соответственно, поиск материала, для которого формы готики были бы естественными, привел его к плетеной конструкции. Однако «естественность» в рассуждениях как самого Холла, так и многих других авторов (вплоть до Рёскина) представляет собой сложный конструкт, подобный платоновской идее.

Архитектура, полностью взятая из природы, безболезненно в нее возвращается, подобно тому, как люди Золотого века –

ВЛАДИСЛАВ ДЕГТЯРЕВ
КОЛЛАЖ, МЕХАНИЗМ
И РУИНА. МЕХАНИЧЕСКОЕ
VERSUS ИСТОРИЧЕСКОЕ

¹² HALL J. *Essay on the Origin, History, and Principles, of Gothic Architecture*. London, 1813.

¹³ RYKWERT J. *Op. cit.* P. 85.

по крайней мере в описании Фридриха Юнгера – не знали страданий и умирали легко. Но этот Золотой век представляет собой «лишь периодическое повторение поколений, возвращающихся назад и погружающихся в неизвестность. От них до нас ничего не доходит; они увядают, как трава, и опадают, как листья деревьев. Здесь человек еще не имеет судьбы»¹⁴.

Любопытно, что упомянутая церковь святого Дунстана-на-востоке тоже словно бы возвращается назад, в природу. Она была сильно повреждена во время немецких бомбардировок Лондона в начале Второй мировой войны, и сейчас от нее остались только стены, внутри которых разбит своеобразный сад. Впрочем, все это можно счесть очередной инкарнацией искусственных руин, которые мало-помалу исчезают среди растительности.

* * *

Как же тогда можно определить руину? Должны ли мы увидеть в ней прежде всего нарушение геометрии объекта или разрушение его целостности? В первом случае нам важнее всего правильная форма, во втором – последовательные связи между всеми его частями. Природные объекты, запечатленные Гэнди в качестве примеров почти-архитектуры, можно счесть проявлениями своего рода парейдолии, заставляющей нас видеть упорядоченность там, где ее нет, но можно посчитать и руинами. Так, если мы, сделав над собой некоторое усилие, попытаемся увидеть в Фингаловой пещере памятник не природы, но архитектуры, мы увидим также, что этот памятник не закончен, точнее – недовоплощен.

Георг Зиммель писал:

«[Разрушение здания представляет собой] месть природы за насилие, которое дух совершил над ней, формируя ее по своему образу. Ведь исторический процесс – постепенное установление господства духа над природой, которую он находит вне себя, но в известном смысле и в себе. Если в других искусствах дух подчинял формы и происходящее в природе своему велению, то архитектура формирует ее массы и непосредственные собственные силы, пока они как бы сами не создают зримость идеи. Однако только до тех пор, пока произведение стоит в своей завершенности, необходимость материи подчиняется свободе духа... Но в момент, когда разрушение здания нарушает замкнутость формы, природа и дух вновь расходятся и проявляют свою исконную, пронизывающую мир вражду: будто художественное формирование было лишь насилием духа,

14 ЮНГЕР Ф.Г. *Греческие мифы*. СПб., 2006. С. 115.

которому материал подчинился против своей воли, будто он теперь постепенно сбрасывает с себя это иго и возвращается к независимой закономерности своих сил»¹⁵.

ВЛАДИСЛАВ ДЕГТЯРЕВ
КОЛЛАЖ, МЕХАНИЗМ
И РУИНА. МЕХАНИЧЕСКОЕ
VERSUS ИСТОРИЧЕСКОЕ

Впрочем, руина все же сохраняет в себе больше смыслов, больше от первоначального замысла, чем обломки разбитой статуи или фрагменты разорванной картины:

«Руина [...] означает, что в исчезнувшее и разрушенное произведение искусства вросли другие силы и формы, силы и формы природы, и из того, что еще осталось в ней от искусства, и из того, что уже есть в ней от природы, возникла новая целостность, характерное единство. [...] Очарование руины заключается в том, что в ней произведение человека воспринимается, в конечном счете, как продукт природы»¹⁶.

Можно видеть, что логика Зиммеля основана на противопоставлении усилий художника и действия сил природы, так что она возможна только при строгом разграничении естественного и искусственного, характерном для мышления XIX и XX веков. Согласно этой логике, рукотворное и природное – два равнозначные начала, не просто способные вступить в конфликт, но по большей части именно этим и занимающиеся. Это принципиально посюсторонние и одноплановые рассуждения. Такая дуалистическая система мышления не нуждается в христианском Боге как в высшем синтезе и примирении противоположностей. Предположив присутствие Бога, мы снимаем противоположности и оказываемся на позиции Томаса Брауна, убеждаясь в том, что все вещи искусственные, ибо природа есть искусство Бога.

Можно ли связать руину с понятием чудовищного? Закия Ханафи объясняет, что чудовище представляет собой существо, находящееся вне телесной нормы и отрицающее ее своим существованием:

«Чудовище есть “не человек”, и оно явным образом сигнализирует об этом посредством своего тела: тела с избытком членов или с недостаточным их числом, с членами в неправильных местах. Чудовища уродливы, поскольку деформированы [*de-formed*], буквально находятся “вне формы”, отклоняясь от красоты обыкновенного телесного устройства. Я знаю, что я человек, потому что я – не это. Чудовище служит для того, чтобы утвердить границы человеческого сразу на “нижнем” и на “верхнем” их пределе: полуживотное или полубог, все прочее – чудовищно»¹⁷.

15 Зиммель Г. *Руина* // Он же. *Избранные работы*. М., 1996. Т. 2. С. 226–227.

16 Там же. С. 228, 229.

17 HANAFI Z. *The Monster in the Machine: Magic, Medicine and the Marvelous in the Time of Scientific Revolution*. Durham; London, 2000. P. 2.

Зиммель пишет о руинах, противопоставляя интенцию материала и интенцию человека, причем первая у него сводится к разрушению, размыванию формы (равнозначной смыслу), переходу ее в бесформенное состояние чисто материальной «жизни». Мы вправе допустить, что интенция материала, влекущая его в сторону жизни и органики, подразумевает также и неограниченное и неупорядоченное разрастание. В таком случае монстров можно было бы считать органическими руинами и приписать им значение, коренным образом отличное от средневекового и барочного *monstrare*, – значение, сводящееся к стиранию смысла, равнозначного правильности и систематической упорядоченности. Чудовища же подобны не просто руинам, но обжитым руинам, наглядно соединяющим в себе два плана бытия: повседневное и возвышенное, или даже профанное и сакральное. Тогда мы могли бы приравнять сакральное к упорядоченному, повседневное же – к хаотическому.

{ Чудовища подобны обжитым руинам, наглядно соединяющим в себе два плана бытия: повседневное и возвышенное, профанное и сакральное.

Говард Филипс Лавкрафт в повести «Хребты безумия» изображает чудовищный город, построенный представителями неизвестной расы:

«Гигантский город, построенный по законам неведомой человечеству архитектуры, где пропорции темных как ночь конструкций говорили о чудовищном надругательстве над основами геометрии. Усеченные конусы с зазубренными краями увенчивались цилиндрическими колоннами, кое-где вздутыми и прикрытыми тончайшими зубчатыми дисками; с ними соседствовали странные плоские фигуры, как бы составленные из множества прямоугольных плит, или из круглых пластин, или пятиконечных звезд, перекрывавших друг друга. Там были также составные конусы и пирамиды, некоторые переходили в цилиндры, кубы или усеченные конусы и пирамиды, а иногда даже в остроконечные шпили, сбитые в отдельные группки – по пять в каждой. Все эти отдельные композиции, как бы порожденные бредом, соединялись воедино на головокружительной высоте трубчатыми мостиками. Зрелище подавляло и ужасало своими гигантскими размерами»¹⁸.

Руины, описанные Лавкрафтом, чудовищны, но только потому, что их загадочные строители (обладавшие, заметим, едва ли не божественными возможностями) сами были чудовища-

18 ЛАВКРАФТ Г.Ф. *Хребты Безумия* // Он же. *Шепчущий во тьме*. М., 2000. С. 386–387.

ми. Точно так же чудовишна Вавилонская башня, поскольку гордыня Нимрода столь грандиозна, что буквально выводит его за пределы рода человеческого и масштабы колоссального строительства, как показал Атаназий Кирхер, поставили бы под угрозу само существование Земли.

Впрочем, пора вернуться к классическим чудовищам, которые тоже способны поведать нам много интересного.

В греческой мифологии миксантропические существа представляют собой плод странных мезальянсов. Часто одним из родителей оказывается кто-то из богов, но принявших звериное обличье. Так Сатурн, принявший облик жеребца, сходится с океанидой Филорой, и она производит на свет мудрого кентавра Хирона. Полным аналогом подобных чудовищных рождений оказывается появление на свет технических устройств. Роберт Харбисон в книге «Эксцентрические пространства», пишет:

«За идеей порожденной техникой не-личности [*Imperson*] скрывается желание не быть похожим на что-нибудь, не быть *подобным* ничему из сотворенного. Все естественные объекты подразумевают сравнение, технические же, как правило, нет, так что устройство вроде пишущей машинки обладает очень яркой индивидуальностью, но эта индивидуальность везде неуместна»¹⁹.

Сказанное составляет лишь половину правды. Мы ошибемся, посчитав механизм просто «вещью», так как вещь *per se* представляет собой предмет, не имеющий референции. В отличие от природных объектов, связанных отношениями родства, вещи не связаны друг с другом вне своих функций. Родство же технических устройств – противоестественное.

Знаменитая фраза Лотреамона, представляющая собой критерий красоты протагониста «Песен Мальдорора» – «прекрасен, как [...] встреча на анатомическом столе зонтика и швейной машинки»²⁰, – теряет привкус абсурда, если мы увидим в ней принцип возникновения технических устройств (а также причину их странной привлекательности). Технические объекты – по сути дела бастарды, рождающиеся вне законных связей и вне статуса. Им не место среди людей, их область – дикое поле, что роднит их со зверями. Этим отчасти можно объяснить стремление архитекторов, строивших первые железнодорожные вокзалы, закрыть от города все, что связано с железной дорогой как таковой – не только сами поезда и рельсовые пути, но и железные навесы дебаркадеров.

Техника чудовишна, как чудовищен Минотавр и прочие порождения богов, принимавших забавы ради звериный облик.

ВЛАДИСЛАВ ДЕГТЯРЕВ

КОЛЛАЖ, МЕХАНИЗМ
И РУИНА. МЕХАНИЧЕСКОЕ
VERSUS ИСТОРИЧЕСКОЕ

¹⁹ HARBISON R. *Eccentric Spaces*. Cambridge; London, 2000. P. 38.

²⁰ ЛОТРЕАМОН. *Песни Мальдорора* // Он же. *Песни Мальдорора. Стихотворения. Лотреамон после Лотреамона*. М., 1998. С. 291–292.

Одновременно в ней присутствует некий оттенок божественного, но это божественное страшно, как страшна трансгрессия, нарушение естественных границ и законов. Иногда она осуждается как преступление, иногда – нет, поскольку то, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.

В силу сказанного техника всегда сохраняет некий привкус извращенности, запретного плода. Недаром греческое «технэ» имело дополнительный смысл нечестности, запрещенного приема или откровенной подлости. Можно еще вспомнить, что в английском языке XVII века слово *machinery* означает в том числе и «заговор».

Но эти заговоры, насколько можно судить, не всегда вредоносны. Барочные механизмы отличаются от привычной нам техники прежде всего тем, что они представляют собой чудеса, редкости, диковины. Такие механизмы нефункциональны, их естественная среда обитания – гетеротопии, выделенные из обыденной жизни анклавы, такие, как театр или дворец (иногда еще и церковь), где они не производят ничего, кроме видимости. При этом их разрабатывают гениальные мастера, подобные Леонардо да Винчи или Саломону де Ко, создавшему комплекс фонтанов с механическими фигурами в парке гейдельбергского дворца (уничтоженный после падения Фридриха V Пфальцского, зимнего короля Богемии). Зрелищем (иногда – философским) были и автоматы эпохи Просвещения, такие, как утка Жака Вокансона или механический турок-шахматист, построенный Вольфгангом фон Кемпеленом (пусть даже он и был мистификацией). И если теоретик барочной риторики Эммануэле Тезауро в «Подзорной трубе Аристотеля» (1654) сравнивает технические устройства (от движущихся статуй до телескопа) с метафорами, то это происходит не только потому, что он вообще так мыслит, но и потому еще, что машины того времени волновали, развлекали и поучали его современников. Эти машины могли притворяться чем угодно, только не обыденностью.

Получается, что механистический мир Декарта был устроен как нечто редкое и необычное, то есть, по определению, хорошее, а не как банальность. Банальностью машины стали гораздо позже – во второй половине XX века, когда начался «второй машинный век», описанный Райнером Бенэмом²¹.

Но и машина, которая пугает и угрожает смертью, так же не может быть банальностью. Эрнст Теодор Амадей Гофман написал «Песочного человека» задолго до технологической революции середины XIX века. Однако и для Вилье де Лиль-Адана, заставшего эпоху телеграфа и телефона, Гадали – механическая героиня «Будущей Евы» (1886) – была чудом из чудес. Изобре-

21 См.: BANHAM R. *Theory and Design in the First Machine Age*. New York, 1967.

татель (и отчасти черный маг) Эдисон, описывая своему приятелю Эвальду ее устройство, в частности упоминает следующее:

«Два золотых [*sic!*] фонографа, расположенных под углом друг к другу в центре грудной клетки: это и есть легкие Гадали. Они передают один другому металлические листочки, обеспечивающие ей возможность вести беседы мелодичным – *небесным*, следовало бы сказать – голосом... На одной оловянной ленте содержатся тексты в количестве, достаточном для семичасовой беседы. Тексты эти – плод воображения самых великих поэтов, самых тонких мыслителей, самых глубоких прозаиков нашего времени; я обратился ко всем этим гениям, и они уступили мне – оценив на вес алмаза – чудеса, которым никогда не попасть в печать. Вот почему я утверждаю, что Гадали обладает не *просто* разумом, а Высшим Разумом»²².

Гадали работала безупречно, но оказалась слишком хороша для нашего несовершенного мира – отсюда и печальный конец всей этой декадентской истории (механическая девушка гибнет вместе с тонущим кораблем). Театральные же и театрализованные механизмы барокко при всей своей нефункциональности и непрактичности работали хорошо и были надлежащим образом включены в устройство мироздания. Так, Вальтер Беньямин в «Происхождении немецкой барочной драмы» цитирует поэтов и мыслителей XVIII века, для которых образ механизма был метафорой, раскрывающей сущность общества, в том числе придворного, и природу человека:

«Человеческие аффекты как поддающийся расчету движущий механизм тварного создания – в наборе знаний, преобразующих динамику всемирной истории в государственно-политическое действие, – это завершающий инструмент. Он одновременно является источником метафоры, которая стремилась поддерживать в поэтическом языке это знание в столь же активном состоянии, как это делали в истории Сарпи или Гвиччардини среди историков. Эта метафорика не останавливается на политической сфере. Наряду с выражениями вроде: “В часовом механизме власти советы хотя и подобны шестеренкам, однако властелин должен быть не менее значим, чем стрелки и гири”, можно упомянуть слова “Жизни” из второй интермедии “Мариамны”:

“Мой свет сияющий зажег сам Бог,
Когда Адама тела маятник стучал”.

Или там же:

“Мое бьющееся сердце горит, потому что моя верная кровь
От врожденной страсти бьет во всех жилах
И движется по телу, словно часовой механизм”.

22 Лиль-Адан О.В. де. *Будущая Ева* // Он же. *Избранное*. Ленинград, 1988. С. 127.

ВЛАДИСЛАВ ДЕГТЯРЕВ
КОЛЛАЖ, МЕХАНИЗМ
И РУИНА. МЕХАНИЧЕСКОЕ
VERSUS ИСТОРИЧЕСКОЕ

А об Агриппине говорится:

“И вот лежит гордый зверь, надменная женщина,
Что думала: часовой механизм ее мозга
Способен перевернуть вращение светил”.

Совершенно не случайно, что все эти выражения подчиняются образу часового механизма. [...] Образ движущейся стрелки, как показал Бергсон, был незаменим для формирования представления лишённого свойств, повторимого времени математического естествознания. В нем проходят не только органическая жизнь человека, но и происки придворного, а также деяния суверена, который [...] каждый раз непосредственно вторгается в работу государственного механизма, чтобы расположить данные исторических событий так сказать в пространственно размеренной, соответствующей правилам и гармоничной последовательности»²³.

Все эти маятники сердца и механизмы двора, о которых пишет Беньямин, не останавливаются сами по себе. Однако механизм XX века – это плохой механизм, распадающийся на части, подобно машинам Жана Тэнгли, так что уже не понять, кто был зонтиком, а кто – швейной машинкой. Как только культура опознает механизм как нечто, несовместимое с жизнью, этот механизм отказывается работать. А распавшись на части, механическое устройство обнаруживает свою коллажную природу.

* * *

«Коллажное мышление – это [...] как правило, мышление с помощью техники»²⁴, – замечает Екатерина Бобринская, и, хотя в ее толковании речь идет исключительно о технических устройствах, с которыми имеет дело художник XX века (фотоаппарат, печатный станок и так далее), мы можем подставить на их место многое другое – например, любые транспортные средства, со времен Уильяма Тёрнера и его картины «Дождь, пар и скорость» (1844) выступающие в роли машин зрения²⁵.

Эти машины прежде всего ставят под сомнение наше восприятие мира и представления о его целостности. Любое изменение точки зрения вскрывает относительность нашего знания о реальности, обнаруживает в ней швы и заплатки. И, если у Тёрнера очертания видимого мира исчезают за буйством красочных вихрей, то на картинах итальянских футуристов каждый движущийся объект раскрывает неустойчивость миро-

23 Беньямин В. *Происхождение немецкой барочной драмы*. М., 2002. С. 88–89. Приведены цитаты из трагедий И.К. Хальмана «Мариамна» (1670) и Даниэля Лознштейна «Агриппина» (1665).

24 Бобринская Е. Указ. соч. С. 34.

25 Подробнее см.: Дегтярев В. *Железная дорога и абстракция* // Новый мир. 2020. № 4. С. 157–164.

здания, детали которого подогнаны друг к другу далеко не лучшим образом и как будто случайно оказались рядом. Мир абсурден, и мы не замечаем этого лишь в силу привычки. Техника же показывает нам этот абсурд, помогая в создании коллажей.

Архетипом коллажа как воплощенной неуместности может служить фотография паровоза, потерпевшего аварию на вокзале «Монпарнас». Кирилл Кобрин так описывает это происшествие:

«22 октября 1895 года нагонявший график скорый поезд “Гранвиль-Париж” ворвался под своды вокзала, но не смог вовремя затормозить, снес тупиковый упор в конце пути, пробил внешнюю стену фасада и рухнул локомотивом на прилегающую к станции плас де Ренн. Невиданное происшествие так взволновало всех, что фото живописной аварии обрело невиданную популярность»²⁶.

По-видимому, этой фотографии мы обязаны появлением картины Рене Магритта «Пригвожденное время» (1938), на которой изображен маленький дымящий паровоз, въезжающий, точнее, влетающий, в комнату из камина.

Как только культура опознает механизм как нечто, несовместимое с жизнью, этот механизм отказывается работать. А распавшись на части, механическое устройство обнаруживает свою коллажную природу.

Магритт, мыслящий подчеркнуто рационально, обнажает прием: левитирующий паровоз явно принадлежит другому миру, с другой логикой событий, нежели то банальное помещение с камином, в котором он волею судеб оказывается. В нашем же мире паровозы не летают, так что все должно закончиться так же, как на том знаменитом снимке, где паровоз, упавший на тротуар, становится коллажем, демонстрируя бессмысленность механизма, вырванного из контекста. Коллаж, таким образом, оказывается максимально далек и от барочной кунсткамеры, и от калейдоскопа, демонстрируя случайно сложенные обломки мира (или, возможно, разных миров), которые никак не могут срастись.

Мы можем назвать коллаж руиной смысла. Здесь опять стоило бы вспомнить Зиммеля, настаивавшего на том, что руина сохраняет больше от первоначального замысла, чем полустертая фреска или растрепанная книга, лишившаяся половины страниц.

26 Кобрин К. *Кирико: меланхолия вечного (не)отбытия* // Он же. *Modernité в избранных сюжетах*. М., 2015. С. 88.

ВЛАДИСЛАВ ДЕГТЯРЕВ
КОЛЛАЖ, МЕХАНИЗМ
И РУИНА. МЕХАНИЧЕСКОЕ
VERSUS ИСТОРИЧЕСКОЕ

Если руины говорят о принципиальной неполноте мира, коллаж – о его принципиальной бессмысленности. Философия, которую транслирует коллаж, утверждает, что мир не может ни породить, ни восстановить сам себя. В ньютоновской небесной механике подразумевалось присутствие Бога, который время от времени должен был все регулировать, словно искусный часовщик. Пессимистическая философия, стоящая за коллажем, считает мир принципиально неустойчивым (и, в общем-то, нежизнеспособным), но при этом не предполагает Бога. Идеальный коллаж обязан быть непрочным и недолговечным, а монументальный коллаж есть противоречие в определении. Так что высшее проявление коллажного принципа – это саморазрушающиеся машины Жана Тэнгли.

Артур Лавджой, чью книгу мы цитировали в начале повествования, рассказывал в том числе и о распаде той парадигмы, в основе которой лежал принцип изобилия.

«Мопертюи, пользовавшийся среди современников репутацией великого ученого, предложил [...] один довольно надуманный довод в пользу исходной полноты последовательности форм. Многие когда-то существовавшие виды уничтожил некий катаклизм, например, падение кометы. Природа, какой мы ее видим ныне, подобна строению, разрушенному молнией: “Она представляет нашему взору только руины, в которых мы не можем различить более ни соразмерности частей, ни замысла архитектора”»²⁷.

Глава, в которой приведен этот выразительный пассаж из сочинений Пьера Луи Моро де Мопертюи (1698–1759) «*Essay de cosmologie*»²⁸, называется «Темпорализация цепи бытия», но эта характеристика противоречит смыслу цитаты. Лавджой уточняет:

«Те, чья вера в изобилие и непрерывность универсума требовала более правдоподобной и более обоснованной гипотезы, пришли к другому предположению: цепь бытия, лишенная сейчас, по всей видимости, своей полноты, предстала бы в этой полноте, зная мы всю последовательность форм во времени – в прошлом, настоящем, будущем»²⁹.

Это и есть истинная темпорализация. Впрочем, цитата из Мопертюи интереснее.

Грехопадение происходит единожды. Точно так же и руина становится руиной лишь единожды, даже если под этой руиной мы понимаем весь мир, утративший целостность и непрерывную последовательность всей цепи органических форм.

²⁷ Лавджой А. Указ. соч. С. 262.

²⁸ MAUPERTUIS P.L.M. DE. *Essay de cosmologie // Les oeuvres de monsieur de Maupertuis*. Dresden, 1752. P. 36.

²⁹ Лавджой А. Указ. соч. С. 262–263.

Введение одной-единственной точки невозврата не означает появления истории и активного времени; эта схема исторична не более, чем рассказ Гесиода о Золотом веке и о сменяющих друг друга – в направлении от большего совершенства к меньшему – поколениях людей, которых мы, с высоты своего знания, вправе счесть отдельными биологическими видами.

Мир, таким образом, представляет собой остатки первоначальной постройки и нагромождение обломков, которые мы не можем сложить воедино. Именно такое состояние мироздания зафиксировано в искусстве модернизма, точнее – в кубизме и коллаже, который непосредственно связан с кубистическими принципами формообразования.

Кубизм начался с «Авиньонских девиц» Пикассо (1907) – и о сложности организации пространства в этой картине написано очень много. Соединение различных ракурсов и точек зрения в кубистическом произведении можно отождествить с коллажем.

Владимир Татлин, побывавший в мастерской Пикассо в 1914 году, вполне мог видеть «Авиньонских девиц». Интереснее предположить, что он также мог быть знаком с циклом работ Робера Делоне, изображающих Эйфелеву башню в том же кубистическом духе, сочетающей воедино разные ракурсы и взаимоисключающие точки зрения, так что она предстает изломанной и словно разрушающейся. Это могло бы пролить свет на возникновение образа башни Татлина, знаменитого «Памятника III Интернационалу» (1919), на ее алогизм и коллажный характер.

Живопись модернизма разрушает не только единство предметного мира, но и единство и однородность самого пространства. Если сочетание различных точек зрения и (возможно) перспективных систем в живописи кубизма можно сопоставить с коллажем, то его в свою очередь было бы интересно сравнить с руиной. И, поскольку коллажность противостоит модернистской унификации, возникает соблазн увидеть в ней проявление постмодернизма, тягу к «сложности и противоречиям», которым посвятил свою книгу Роберт Вентури³⁰. Следует, однако, уточнить, что те сложность и противоречия, о которых говорил Вентури, могут восприниматься и как эклектика, и как коллаж – возможно, впрочем, что это лишь разные подходы к описанию одного явления.

Искусство, основанное на коллажном принципе – прежде всего дадаизм и сюрреализм, возникающие как радикальные течения внутри коллажной парадигмы *art déco*, – это исключительно атеистическое искусство. Оно отрицает не только

ВЛАДИСЛАВ ДЕГТЯРЕВ

КОЛЛАЖ, МЕХАНИЗМ
И РУИНА. МЕХАНИЧЕСКОЕ
VERSUS ИСТОРИЧЕСКОЕ

30 VENTURI R. *Complexity and Contradiction in Architecture*. New York, 1966.

наличие плана в мире и его (мира) осмысленность, но и способность к развитию, так что к атеизму добавляется и антипозитивизм. Невозможность развития означает отсутствие не только будущего, но и прошлого, отсутствие родословной. Поэтому коллаж фиксирует не просто гибель богов (как модернизм вообще)³¹, но и гибель всякой осмысленности. Но и это еще не все: демонстрируя мир, рассыпающийся на осколки, коллаж свидетельствует о провале жизнестроительного проекта модернизма и авангарда.

Коллаж свидетельствует о наступлении эпохи постправды: в мире не только не существует привилегированной точки зрения, но нет и единой для всех логики. Проявления коллажного мышления в совершенно разных (как по стилистике, так и по интенциям) произведениях изобразительного искусства и архитектуры 1920-х говорят о том, что термин «модернизм» в своей односторонности оказывается явно недостаточным для описания искусства той эпохи. Ему нужно противопоставить нечто ироническое и плюралистическое, не просто лишенное жизнестроительного пафоса, но и активно ему сопротивляющееся. Коллаж как раз и говорит о невозможности мировоззренческого синтеза, для которого нужна единая система координат и единая художественная воля.

Самое ценное в коллаже – то, что он высмеивает позицию модернистского демиурга, причем дважды: художник не только оказывается в роли старьевщика, но и лишается власти переустраивать мир, сообщая ему единство.

И если старинная кунсткамера, обаятельная в своей кажущейся нелепости, хотя бы предполагала разношерстные, но одинаково экзотические экспонаты и объединяющую их яркую личность коллекционера – богача, возможно, чудака, эстета, натурфилософа, – то коллаж, напротив, оперирует самыми заурядными предметами и совершенно не нуждается в фигуре романтического творца.

31 Ревзин Г. *Искусство пустого неба* // Он же. *Очерки по философии архитектурной формы*. М., 2002. С. 125–138.

Нет такой вещи, как теория

Беседа Ричарда Маршалла со Стивеном Френчем

Ричард Маршалл: Что побудило вас стать философом?

Стивен Френч: Если коротко, то философом я стал из-за физики. Я изучал физику в университете Ньюкасла, и там был серьезный крен в сторону прикладных исследований (особенно геофизики). Так что занятия по квантовой механике проходили примерно так, как пишет Нэнси Картрайт в книге «Как лгут законы физики»¹: мы просто учились, какую часть Гамильтоновой системы «снять с полки» и применить в конкретной ситуации. Помню, я спросил лектора, что значит находиться в суперпозиции, а он отправил меня к коллеге с философского факультета, который и рассказал мне о Майкле Редхеде² – одном из лучших в мире философов физики, хотя работал он тогда на неполной ставке на факультете истории и философии науки в Челси-колледже при Лондонском университете. Этот факультет основал Хайнц Пост, сам физик по профессии, и он настоял, чтобы на докторскую программу брали только тех, у кого есть магистерская степень по математике или естественным наукам. Поэтому в первый год учебы там мне пришлось в спешном порядке братья за все – от математической логики и основ теории вероятности до эпистемологии и, ко-



Ричард Маршалл (р. 1959) – философ, писатель, основатель и редактор философского онлайн-проекта «3:16».

Стивен Френч – профессор философии науки Университета Лидса (Великобритания).

¹ CARTWRIGHT N. *How The Laws of Physics Lie*. Oxford: Oxford University Press, 1983.

² Майкл Редхед (1929–2020) – британский философ физики, работал в Кембриджском университете, где занимал высокие административные должности.

ИНТЕРВЬЮ «НЗ»

нечно же, истории и философии науки. По сути, тот год и есть все мое философское образование. («Оно и видно», – скажут некоторые.)

Р.М.: Вы пытаетесь разгадать загадку научных теорий и моделей, понять, что это такое на самом деле. В условиях пандемии нам всем пришлось задуматься о научных моделях, глядя на то, как власти пытаются принимать решения на их основе. Как лучше оценивать модели и теории: смотреть, насколько они соответствуют истине или насколько тонко им удается решать тактическую задачу по сужению неопределенности?

С.Ф.: В последние годы появилось много очень интересных работ о том, как лучше оценивать модели. Скажем, в журнале «Philosophy of Science» вышла прекрасная статья Уэнди Паркер³, в которой она анализирует вполне правдоподобную идею, что модели следует оценивать по их адекватности и пригодности для решения практических задач. Чтобы считать модель адекватной в указанном смысле, пишет она, надо учитывать целый ряд факторов – не только связь с соответствующей системой, но и с пользователем, подходящей методологией, фоновыми событиями и так далее. Уэнди особенно интересуют модели изменения климата, но мне кажется, что ее подход применим ко всем моделям, которые использовались во время нынешнего кризиса. Как отмечает Уэнди, адекватность с точки зрения цели отличается от репрезентативной адекватности тем, что она учитывает более широкий круг вопросов, а различные аспекты модели, как правило, невозможно оценить независимо друг от друга. Именно такое понятие адекватности интересует меня больше всего.

Возвращаясь к моей биографии: когда я уехал в Бразилию, где мне предложили первую полную ставку, я стал сотрудничать с Ньютоном да Костой, бразильским логиком, который с несколькими коллегами из Чили недавно разработал формализацию понятия прагматической истины – примерно в духе того, как Тарский⁴ работал с теорией истины как соответствия. Следуя принципу Пирса, что надо «учитывать, какие следствия, способные иметь практическое значение, мы закладываем в понятие концептуализируемого нами объекта», они сформулировали понятие прагматической квазиистины с помощью такого технического инструмента, как «частичная структура», которой, по нашему с Ньютоном общему мнению, можно воспользоваться также и для того, чтобы формально репрезенти-

3 Уэнди Паркер – профессор Технологического университета в Виргинии (США), специалист по философии науки, в частности, философии климатологии.

4 Альфред Тарский (1901–1983) – польско-американский математик и логик, разрабатывал формальную теорию истинности.

ровать научные модели. Вместе с Отавио Буэно⁵ и Джеймсом Лейдименом⁶ мы утверждаем, что она описывает, как идеализации работают в моделях, а также показывает, как могут быть связаны между собой различные модели – хоть теоретические, хоть эмпирические.

То есть, когда люди говорят, что идеализированная природа научных моделей не позволяет им считать их истинными – или что-то в этом духе, – мой ответ в том, что мы можем учесть эту их особенность, если будем брать истину не как соответствие, а как прагматическую квазиистину. Мне кажется, такой подход можно распространить и на то, о чем пишет Уэнди Паркер, поэтому мы можем вполне грамотно оценить модели, построенные, например, эпидемиологами, если не будем забывать, из какого понятия истины мы исходим.

Р.М.: Один из ответов на вопрос, что такое модели и теории, состоит в том, что это набор дедуктивно связанных между собой положений, пропозиций. Не могли бы вы детализировать этот ответ и рассказать, чем он вам не нравится – в частности, какие проблемы возникают, если задать следующий вопрос: что понимается под пропозициями?

С.Ф.: На протяжении многих лет таким и был стандартный – так называемый «синтактический» – взгляд на теории, и он часто ассоциируется с логическими позитивистами (хотя, как показали Себастьян Лутц⁷ и другие, у позитивистов вроде Карнапа был куда более обширный набор формальных инструментов, чем обычная (классическая) логика первого порядка или логика предикатов). Этот взгляд основывается на идее, что у теории есть ограниченный набор фундаментальных установок или принципов, функционирующих как аксиомы, из которых с помощью дедукции (обычно классической) выводится все остальное. Но, как отмечает Бас ван Фраассен⁸ в теперь уже классической книге «Научный образ»⁹, аксиомы из учебников и статей по разным наукам совсем не похожи на фундаментальные установки. Кроме того, неясно, как подобным образом описать модели – в лучшем случае модели получают минитеориями, или «теорункулами», как выразатся Ричард Брэйтуэйт¹⁰.

**РИЧАРД МАРШАЛЛ –
СТИВЕН ФРЕНЧ**

НЕТ ТАКОЙ ВЕЩИ,
КАК ТЕОРИЯ

5 Отавио Буэно – американский философ науки, профессор Университета Майами.

6 Джеймс Лейдмен – профессор Бристольского университета (Великобритания), специалист по философии науки – и особенно физики.

7 Себастьян Лутц – философ, преподаватель университета Упсалы (Швеция).

8 Бас ван Фраассен – нидерландско-американский философ науки, эпистемолог. Преподавал в нескольких американских и канадских университетах – в частности, в Принстоне. В последние годы – почетный профессор Университета Сан-Франциско.

9 FRAASSEN B. C. VAN. *The Scientific Image*. Oxford: Oxford University Press, 1980.

10 Ричард Биван Брэйтуэйт (1900–1990) – британский философ науки, религии, специалист по моральной философии.



Наконец, как пишет ван Фраассен, стандартный взгляд не особенно успешно описывает, как теории и данные соотносятся в нормальной научной практике.

Теперь мы можем признать, что стандартный взгляд позволяет представить это соотношение, но в то время для меня – человека, с естественнонаучным образованием, – замечания ван Фраассена стали откровением. Конечно же, в рамках синтаксического взгляда принятые установки стандартным образом понимаются как пропозиции – не в последнюю очередь потому, что общая теория относительности Эйнштейна в каком-то смысле остается одной и той же независимо от того, излагаем мы ее по-английски или по-португальски. Если дальше развернуть ответ на вопрос «Что такое теории?», необходимо вернуться на шаг назад и ответить на вопрос «Что такое пропозиции?». Есть точка зрения, что это в каком-то смысле абстрактное сущее. Но это приводит нас к «проблеме Бенесеррафа»: если пропозиции абстракты, а абстрактное сущее не может иметь причинно-следственных отношений с конкретным сущим (например с нами самими) и если всякое знание строится на таких причинно-следственных отношениях, тогда как возможно знание о пропозициях? Ведь у нас вроде бы есть знание в виде теорий! Альтернативный путь – какой-нибудь извод «фикционализма», суть которого в том, чтобы занять по отношению к пропозициям ту же точку зрения, что и к тому сущему, которое фигурирует в романах, телешоу или фильмах. Пропозиции, основанные на таком фиктивном сущем, строго ложны, например: «Баффи все надоело, и он хочет жить нормальной жизнью», но это сущее может быть полезным как репрезентативное пособие. Это интересный подход – не в последнюю очередь потому, что некоторые его сторонники берут фиктивные примеры из эстетики и экспортируют их в философию науки.

Однако вроде бы получается, что пропозиции, касающиеся соответствующих теорий, следует считать строго ложными, и, когда физик Пол Дэвис пишет, что «общая теория относительности является краеугольным камнем космологии и астрофизики», он на самом деле делает ложное утверждение. С этим тяжело жить – не в последнюю очередь потому, что один из уроков, которые мы должны были извлечь из краха логического позитивизма, состоит в том, что надо остерегаться призывов не воспринимать научный язык буквально.

И, наконец, если считать теории набором пропозиций, то философию науки следует относить к философии языка, что уносит нас «un mille milles de toute habitation scientifique»¹¹,

11 На тысячу миль от научной среды (фр.). – *Примеч. ред.*

оставляя один на один с нашими абстрактными мечтами», как красиво выражается ван Фраассен.

РИЧАРД МАРШАЛЛ –
СТИВЕН ФРЕНЧ

НЕТ ТАКОЙ ВЕЩИ,
КАК ТЕОРИЯ

Р.М.: Другим ответом на этот вопрос – и он становится, по вашим словам, доминирующим – является утверждение, что теории – это семьи моделей; вы называете это «семантическим подходом». Не могли бы вы объяснить, в чем его особенность и почему, несмотря на всю критику, вы считаете его лучшим ответом на вопрос, что такое теории и модели, даже несмотря на то, что вы, описывая теории как неполные структуры, сами их таковыми не считаете.

С.Ф.: Как я уже отмечал, то, что мы в научном тексте называем аксиомами, не совсем соответствует тому, что называется аксиомами в логике. Чтобы избежать этой двусмысленности, ван Фраассен, Рональд Гири и другие считают, что их надо понимать как описание неких моделей, а теория в этом случае, в соответствии с семантическим или модельно-теоретическим подходом, становится семьей моделей. При этом философы науки формализуют понятие модели по-разному. Патрик Суппес¹², впервые представивший этот подход в своих работах о механике, опирался на теорию множеств; он автор афоризма «философия науки должна пользоваться математикой, а не метаматематикой». Ван Фраассен же вслед за Вейлем и Бетом предпочитает опираться на понятия «пространство состояний». С точки зрения Суппеса, которую мы с да Костой разделяем, модель можно, грубо говоря, представить как $U = \langle A, R \rangle$, где A – множество некоего сущего (электроны, гены – неважно), а R – множество отношений между ними (сюда можно еще вставить функции и так далее). Можно воспользоваться ресурсами теории множеств, чтобы охарактеризовать отношение между теорией и данными, скажем, как внедрение соответствующих эмпирических субструктур в структуры теоретические (а не говорить о связи теоретических положений с эмпирическими посредством «правил соответствия» или «принципов связывания», как это происходит в синтактической парадигме). В «неполных структурах» да Косты отношения считаются неполными в том смысле, что R , по сути, разлагается на отношения, которые точно действуют между элементами множества A , на отношения, которых там точно нет, и на отношения, о которых мы не знаем, есть они там или нет.

Далее, мы с да Костой (а также Отавио и Джеймсом) утверждаем, что это гораздо лучше позволяет ухватить целый ряд черт научной практики – от того, как развиваются и эволю-

12 Патрик Суппес (1922–2014) – американский философ науки и педагог, многие годы – профессор Стэнфордского университета. Упоминаемая в беседе книга: SUPPES P., HILL S. *First Course in Mathematical Logic*. Mineola: Dover Publications, 2010.



ционируют теории, до сложной иерархии структур, позволяющих нам перейти от эмпирического к самому что ни на есть теоретическому. Кроме того, мы рассмотрели разнообразные случаи из истории науки – например, возникновение первой теории сверхпроводимости, и полагаем, что как раз этот случай очень хорошо понятен в терминах неполных структур. А совсем недавно мы с Отавио попытались показать, что непонятность, якобы присущая вопросу о приложимости математики к науке, в особенности к физике, попросту исчезает, если мы рассмотрим в этих терминах соответствующие эпизоды из истории квантовой теории. В силу всего этого – даже если считать, что синтактическая альтернатива располагает куда большими ресурсами, чем принято обычно считать, – я думаю, что семантическая альтернатива более вразумительно представляет целый ряд ключевых черт научной практики – возможно, потому, что, как выразился однажды Джеймс Лейдимиен, «там все структуры на виду», а в физике, как минимум, речь идет главным образом о структурах!

Имея в виду все вышеизложенное, мы с Ньютоном да Костой с самого начала нашей совместной работы очень переживали на счет того, не овеществляем ли мы эти структуры, не начинаем ли мы понимать теории как множество теоретических структур, будь то неполных или каких-либо других. Мы отмечали, что их скорее следует воспринимать как формальный прием, позволяющий нам лучше описать и яснее представить все указанные выше черты. В нашей книге «Наука и неполная истина»¹³ мы даже очертили альтернативный подход, основанный на теории категорий, смысл которого состоит в том, что пусть философы пользуются любыми инструментами, лишь бы они работали, то есть позволяли ухватить те черты научной практики, которые этим философам интересны. В последней своей книге «Нет такой вещи, как теория»¹⁴ я именно этой общей линии и придерживаюсь.

Р.М.: Получается, что для понимания онтологического статуса теорий и моделей полезно представлять их себе как некие произведения искусства или абстрактные артефакты?

С.Ф.: Тут, на мой взгляд, надо быть осторожным, потому что такое сравнение может в каких-то случаях оказаться плодотворным, а в каких-то – ввести в заблуждение. В целом мне интересно, в каких рамках можно с пользой для дела экспортировать в философию науки определенные ходы и приемы из философии искусства (и наоборот!). Это очевидно в прост-

13 COSTA N.C.A. DA, FRENCH S. *Science and Partial Truth: A Unitary Approach to Models and Scientific Reasoning*. Oxford: Oxford University Press, 2003.

14 FRENCH S. *There Are No Such Things As Theories*. Oxford: Oxford University Press, 2020.

ранных обсуждениях понятия репрезентации в науке, где мы с Отавио попытались воспользоваться теорией неполных структур и где мы открытым текстом сравниваем модели и теории с определенными типами изобразительной живописи, прямо заимствуя из эстетики анализ репрезентативной роли изображения. Но в то же время я думаю, что вопросам о том, когда подобный перенос уместен, а когда нет, уделяется недостаточно внимания. Случается ведь и так, что какие-то проблемы, почерпнутые из искусства, приводят в качестве контрпримеров при обсуждении определенных описаний репрезентации в науке, в том числе и теории неполных структур.

Но эти контрпримеры далеко не всегда уместны при обсуждении проблем науки. Гораздо интереснее, на мой взгляд, то, что произведения искусства от научных теорий и моделей отличают куда более фундаментальные вещи – присущий им символизм, например. В романе «Джейн Эйр» мы обнаруживаем Джейн запертой в красной комнате, которую можно воспринять как символ утробы. В голландских аллегорических натюрмортах, *vanitas*, полуочищенный лимон символизирует горечь жизни. Или еще более яркий пример: в «Послах» Гольбейна мы видим на переднем плане анаморфное изображение черепа, который должен напомнить зрителю о неизбежности смерти. (На самом деле там все еще интереснее: высказывались предположения, что Гольбейн изобразил этот череп именно так, чтобы заставить зрителя поменять точку зрения, иначе посмотреть на всю картину в целом, намекнуть, что в ней есть какой-то скрытый смысл.) В моделях и теориях, конечно, тоже используются символы, но это совсем не тот символизм, никакого более глубокого смысла эти символы специально за собой не скрывают.

Описания репрезентации в искусстве, подразумевающие этот первый смысл символизма, наверное, никак нам не помогут при обсуждении репрезентации в науке. Кроме того, теории часто сравнивают с музыкальными и литературными произведениями: как Пятую симфонию Бетховена нельзя отождествлять с нотами, которые Бетховен написал своей рукой, так же и общую теорию относительности нельзя отождествлять со статьей, которую Эйнштейн представил на рассмотрение Прусской академии наук. Некоторым философам это дает повод считать как теории, так и произведения искусства некими абстрактными объектами. Знаменитый пример: Поппер поместил теории вместе с музыкальными и литературными произведениями вроде бетховенской симфонии или «Гамлета» в свой «третий мир» умопостигаемого, или мир «идей в объективном смысле». Но если понимать художественное творчество как открытие, как сейчас это принято, то тогда пробле-

РИЧАРД МАРШАЛЛ –
СТИВЕН ФРЕНЧ

НЕТ ТАКОЙ ВЕЩИ,
КАК ТЕОРИЯ



матичным становится природа отношений между художником и ученым и «их» произведением.

Эми Томассон¹⁵ показывает, что такие произведения следует рассматривать как «абстрактные артефакты», порожденные и поддерживаемые в бытии интенцией своих создателей. Мне кажется, это интересная точка зрения, однако, даже если ее принять, все равно остается непонятным, как объяснить разность эвристических процессов: Бетховен при работе над своей симфонией создавал множество черновых вариантов; сколько окольных путей и ложных отправных точек перепробовал Эйнштейн, пока не сформулировал общую теорию относительности, тоже хорошо известно. Если все эти протопроизведения тоже «обитают» в «третьем мире», тогда он, во-первых, будет загроможден в буквальном смысле этого слова, а во-вторых, нужно будет дополнительно прояснять, как все эти эвристические ходы, предпринимавшиеся на практике, связаны с соответствующими взаимоотношениями в мире абстракций. В итоге, мне кажется, подобного рода описания ставят слишком много вопросов, поэтому онтологический статус художественных произведений и научных работ имеет смысл описывать совершенно иначе.

Р.М.: А почему бы не посмотреть на них как на полезную фикцию?

С.Ф.: Как я уже говорил, это еще один пример интересного и потенциально очень полезного заимствования из философии искусства. Целый ряд философов науки – скажем, Роман Фригг¹⁶, Джеймс Нгуен¹⁷ и Адам Тун¹⁸ – опираются на предложенное Кендаллом Уолтоном¹⁹ понимание литературного вымысла как реквизита для игр воображения и утверждают, что научные модели следует понимать точно так же. В рамках такого подхода сказать, что научная модель обладает определенными свойствами, – значит просто заявить, что в рамках определенной игры воображения мы должны представить систему, имеющую эти самые свойства.

В последние годы такого рода подходы получили детальную проработку, что привело к появлению нескольких содержательных и довольно замысловатых описаний, практически

15 Эми Томассон – профессор Дартмутского колледжа (США), философ, специализируется в метафизике, феноменологии, философии сознания, искусства.

16 Роман Фригг – швейцарский философ, профессор Лондонской школы экономики, директор Центра философии естественных и социальных наук.

17 Джеймс Нгуен – британский философ, сотрудник Лондонского университета и Университетского колледжа Лондона.

18 Адам Тун – британский философ, преподаватель Университета Эксете́ра.

19 Кендалл Уолтон (р. 1939) – американский философ сознания и языка, профессор Мичиганского университета (США).

лишенных какого-либо метафизического багажа. Но мне лично они не кажутся убедительными – и не в последнюю очередь потому, что заставляют нас воспринимать вполне честные и серьезные рассуждения ученых о моделях и теориях в терминах притворства и комедианства. Как я уже говорил, мы давно знаем, что к теориям, предписывающим не воспринимать буквально сказанного учеными, нужно относиться с осторожностью.

Кроме того, нельзя забывать соображение, высказанное Майклом Вайсбергом в его книге «Имитация и подобие»²⁰: он напоминает, что ученые часто пользуются моделями, оперирующими крайне общими свойствами бесконечных популяций (скажем, в популяционной биологии), и тут крайне сложно представить себе, как эти модели можно понять в терминах игры воображения. Однако при всем при этом я думаю, что о природе воображения в науке еще многое предстоит сказать; у моей ученицы Элис Мёрфи есть на этот счет хорошая статья в журнале «Philosophy of Science» – «К вопросу о плюралистическом описании воображения в науке»²¹.

Р.М.: То есть вы приходите к заключению, что на самом деле они не существуют, и это довольно-таки тревожное утверждение, имея в виду, например, что политики неустанно подчеркивают, что в своей борьбе с пандемией они-де опираются на научные теории и модели, описывающие, как ведет себя вирус. Объясните, что мы делаем, когда полагаемся на нечто, чего, по вашим словам, не существует.

С.Ф.: Да, мой довольно жесткий ответ на все эти дебаты по поводу того, что представляют собой теории и модели, каким условиям тождества они должны удовлетворять и прочее, состоит в том, чтобы просто разрубить этот узел и указать: вся эта дискуссия целиком лишена смысла, поскольку в ней изначально предполагается, что теории и модели – это своего рода вещи. Но я в буквальном смысле считаю, что таких вещей, как теории, просто нет! Это не абстрактные артефакты, населяющие «третий мир», не фикции и не что-либо еще. Все это отсылает к работе, которую мы некоторое время назад проделали с Питом Викерсом: в его книге «Понимание непоследовательной науки»²² описан тот же самый подход к так называемым непоследовательным теориям. Мы с Питом воспользовались приемом – на этот раз заимствованным из метафизики, – с по-

**РИЧАРД МАРШАЛЛ –
СТИВЕН ФРЕНЧ**

НЕТ ТАКОЙ ВЕЩИ,
КАК ТЕОРИЯ

20 WEISBERG M. *Simulation and Similarity: Using Models to Understand the World*. Oxford: Oxford University Press, 2015. Майкл Вайсберг – профессор философии Пенсильванского университета (США).

21 МЕРФИ А. *Towards a Pluralist Account of the Imagination in Science* // *Philosophy of Science*. 2020. Vol. 87. № 5. P. 957–967.

22 VICKERS P. *Understanding Inconsistent Science*. Oxford: Oxford University Press, 2013.



мощью которого Росс Кэмерон доказывал, что нет такой вещи, как музыкальное произведение: это один из вариантов теории «фактора истинности», в соответствии с которой положение «X существует» может оказаться истинным за счет чего-то другого, чем X, и, таким образом, можно считать истинным утверждение «A существует», не взваливая на себя никаких онтологических обязательств касательно этого A.

Метафизические нигилисты прибегают к этому приему, чтобы утверждать: при том, что положение «этот стол существует» истинно, никакого стола на самом деле нет, а есть лишь некие метафизические начала – в данном случае элементарные частицы, – принявшие форму стола (этот конкретный пример требует для наглядности чисто физических пояснений). Похожим образом ученые говорят, что теории приобретают истинность, но не в силу свойств какой-то абстракции или не в силу того, что они участвуют в какой-то игре воображения, а просто в силу соответствующих практик. Скажем, утверждение «квантовая механика соответствует опыту» можно считать истинным, но оно истинное не из-за какой-то особой черты квантовой механики, которая рассматривается как некая вещь или сущность, будь то абстрактный артефакт, или фикция, или что угодно еще, а скорее из-за соответствующих черт научной практики. В данном случае эти практики, очевидно, должны быть связаны с тем, что происходит в лаборатории, а также со всем тем, что относится к формулированию теоретических постулатов и сбору данных. Точно так же утверждение «общая теория относительности Эйнштейна – самая красивая из всех теорий в современной физике» следует понимать не в смысле приписывания качества красоты какой-то вещи, а как то, что становится истинным в силу соответствующих практик: как представлен определенный набор символов, как он интерпретируется и так далее.

Мне кажется, что этот подход позволяет по-новому взглянуть на то, как мы вообще наделяем эстетическими качествами научные теории, – этот вопрос начал интересовать меня благодаря работам Милены Ивановой²³ и других. В общем, как метафизик, стремящийся избавиться от вещей, утверждает, что никаких столов нет, а есть только сборки элементарных частиц, принимающих форму стола, точно так же я утверждаю, что нет никаких теорий (или моделей), а существуют лишь теории, принимающие формы практик! Тем не менее я не думаю, что это кого-то должно беспокоить (за исключением разве что попперианцев и сторонников фикционализма), потому что утверждение, что теорий не существует, высказанное в вышеука-

23 Милена Иванова – философ науки, преподавательница Кембриджского университета.

занном смысле, ни в коем случае не подрывает усилий ученых по формулированию теорий и построению моделей, включая те, что используются для понимания текущей пандемии. Утверждение о пригодности той или иной модели для определенной цели становится истинным в силу соответствующих практик, связанных с построением, проверкой и применением этой модели, и, если мы можем полагаться на эти практики, мы можем полагаться и на модель (хотя такой вещи, как модель, и не существует!).

РИЧАРД МАРШАЛЛ –
СТИВЕН ФРЕНЧ

НЕТ ТАКОЙ ВЕЩИ,
КАК ТЕОРИЯ

Р.М.: Как ссылки на научные практики помогают нам понять ваш подход, откуда у моделей и теорий способность что-либо представлять, если их самих нет, и как они вообще могут быть истинными?

С.Ф.: Повторю для ясности: я не утверждаю, что теории и модели следует отождествлять с «коллажами» научных практик (хотя некоторые утверждают именно это). Тем не менее, если считать эти практики факторами истинности утверждений о теориях, то наше рассмотрение данных утверждений приведет нас и к более пристальному изучению практик. А это должно еще больше привести философию науки в соответствие с историей науки.

Когда смотришь на соответствующие отрезки истории, трудно не оценить, насколько сложными и разнообразными являются эти практики. Поэтому нет ничего удивительного в том, что я давно интересуюсь историей квантовой механики, и, если в нее погрузиться, начинаешь понимать, что вопрос о том, что считать этой теорией, никогда на самом деле не снимался. Но даже и классическую механику, как на протяжении многих лет демонстрирует Марк Уилсон²⁴, не следует воспринимать как однородный монолит – скорее это некие напоминающие лоскутное одеяло сборки, то, что Уилсон называет «фасадами теорий», связанные между собой разными «лесенками» и «лифтами». Сосредоточившись на теориях и вопросах их правильного описания и определения, мы чаще всего упускаем из виду все это богатство и сложность.

Тут, конечно, возникает вопрос: какой смысл рассуждать о теориях или моделях, отражающих некоторую систему, если никаких теорий и моделей на самом деле нет?! А где возникают подобные рассуждения? Чаще всего в речи философов науки и (в широком смысле) рефлексирующих ученых – и что там происходит? Там возникает некая конструкция метауровня, которую принимают в качестве «теории», состоящей (это тоже принимается) в некотором отношении репрезентации с соот-

24 Марк Уилсон – американский философ, профессор Питтсбургского университета.



ветствующей системой, тоже должным образом представленной. Что касается философов науки, то эта конструкция метауровня может строиться как в рамках синтаксического подхода, так и в рамках семантического; если в ход идет семантический, в варианте неполных структур, то отношение репрезентации можно потом охарактеризовать в терминах неполного изоморфизма, который, строго говоря, присутствует только между соответствующими формальными структурами. Поэтому, когда дело доходит до утверждения «модель М является верной репрезентации системы S», соответствующие факторы истинности должны включать в себя определенные философские и, опять же, рефлексивные в широком смысле практики, а также практики научные.

Точно так же обстоит дело и с истиной. На уровне научного дискурса истину – если придерживаться «стандартного» реализма – приходится «обналичивать» в терминах теории соответствия, или корреспондентной теории. (Заметьте: утверждение, что теорий не существует, конечно же, не влечет за собой утверждение, что соответствующих сущностей – вроде электронов – тоже нет!) Но на уровне философского дискурса следует быть осторожными, чтобы не увязнуть в полемике с антиреалистами (касательно сущностей). Соответственно, нам не следует утверждать, что факторами истинности для утверждения «квантовая механика истинна» являются соответствующие научные практики; скорее нам нужно расширить набор факторов истинности так, чтобы в них входили и практики философов науки реалистского толка – такие, как сведение к простейшему объяснению и так далее. То есть опять же мы все равно можем говорить об истине и репрезентации в связи с теориями и моделями – нам просто нужно быть осмотрительнее касательно того, что наделяет истинностью сам этот разговор.

Р.М.: Интересно наблюдать, как разные культуры по-разному относятся к теориям и моделям: в США, как мне кажется, от науки часто попросту отмахивались, и это, надо полагать, отразилось на правительственных мерах по борьбе с пандемией, тогда как в Норвегии или в Германии отношение к науке более гибкое – кажется, там лучше понимают, что научные теории могут, а что – нет. Как вы думаете, в чем важность вашего вопроса о том, что такое модели и теории, и не кажется ли вам, что смелое утверждение, что их не существует, может повлечь за собой опасные политические и административные последствия – как когда Нэнси Картрайт²⁵ заявила, что наука лжет?

25 Нэнси Картрайт – американский философ науки, профессор университетов Калифорнии (США) и Дарема (Великобритания). О книге – см. сн. 1.

С.Ф.: Я не уверен, что вопрос о бытийном статусе теорий имеет какое-то особое значение для политики. Мне не кажется, что заявление Картрайт о том, что законы физики лгут (в том смысле, что от них не следует ждать, что они «скажут правду» так, как правду, как она утверждает, говорят «феноменологические» законы низшего порядка) имело какие-то вредные административные последствия. Напротив, мне кажется, она взялась бы доказывать, что было бы гораздо лучше, если бы мы переключили внимание с законов высшего уровня, которыми обыкновенно занимаются философы, на куда более запутанные принципы низшего уровня, которые, как она считает, объясняют куда больше. Точно так же то, что я отрицаю существование теорий, не должно радовать отрицателей науки, поскольку я как раз настаиваю, что научные практики являются факторами истинности для утверждений, вытекающих из этих (несуществующих) теорий. Все, что происходит, происходит внутри этих практик, и этими практиками можно столь же легко и просто оглушить отрицателей науки, как и самими теориями и моделями – если даже не проще!

**РИЧАРД МАРШАЛЛ –
СТИВЕН ФРЕНЧ**

НЕТ ТАКОЙ ВЕЩИ,
КАК ТЕОРИЯ

Р.М.: Ясно, что ваша метафизика в немалой степени основана на знании современной науки. Ваша философия прислушивается к науке. В качестве заключения не могли бы вы объяснить, почему науке следует прислушиваться к философии?

С.Ф.: Думаю, многие согласятся, что раньше наука куда больше следила за философией, например, в первые десятилетия XX века, когда закладывался фундамент современной физики. Частично это влияние «изглажено», как выражается Том Рикман²⁶, как, например, у Германа Вейля²⁷ в его работе по обоснованию теории пространства-времени или у Фрица Лондона²⁸ в основаниях квантовой механики и сверхпроводимости, хотя они оба вдохновлялись Гуссерлевой феноменологией (я как раз сейчас занимаюсь феноменологическим подходом Лондона к квантовой теории).

Однако в последние годы ученые опять стали прислушиваться к философам: Уэнди Паркер регулярно зовут на конференции по изучению климата, например, и она тесно общается с учеными, а биологи признают, что Самир Окаша²⁹ помог прояснить проблемы с уровнями естественного отбора в эволюционной биологии. Хотя по моему опыту биологи всегда были

26 Том Рикман – профессор философии Стэнфордского университета (США).

27 Герман Вейль (1885–1955) – немецкий математик, физик, философ. Преподавал в Гёттингенском университете (Германия), бежал от нацистов в Америку, работал в Принстонском институте перспективных исследований. Лауреат Международной премии имени Н.И. Лобачевского (1927).

28 Фриц Лондон (1900–1954) – немецкий физик-теоретик. Бежал от нацистов в США, был профессором Университета Дьюка.

29 Самир Окаша – профессор философии науки Бристольского университета (Великобритания).



более восприимчивы к философии по сравнению с физиками. Но даже в такой ситуации, когда физики вновь заинтересовались основаниями и интерпретацией квантовой теории из-за работ по теореме Белла, а также многомировой интерпретацией и теорией Бома и так далее, общение между физиками и философами интенсифицируется – сейчас его гораздо больше, чем когда я писал диссертацию в Челси-колледже. Сейчас ученых и философов науки можно нередко встретить вместе на конференциях. Мы с Дином Риклсом и Юхой Саатси провели совместную панель на биеннале Ассоциации философии науки, посвященную структуралистским подходам к квантовой гравитации, в которой приняли участие математические физики Джон Баэс и Ли Смолин, чтобы обозначить новые направления в этой области (хотя трудно сказать, насколько мы в этом преуспели).

Совсем недавно Шон Кэрролл, теоретический физик из Калифорнийского технологического института, написал статью о многомировой интерпретации в соавторстве с философом физики Чарльзом Себенсом; она вышла в «British Journal for the Philosophy of Science»³⁰. Это воодушевляющий пример плодотворного сотрудничества. Так что, мне кажется, наука должна прислушиваться к философии главным образом для того, чтобы добиться ясности по ряду вопросов – будь то оценка моделей изменения климата или новый взгляд на основания физики, – и в итоге ученым следует рассматривать философию как набор инструментов, позволяющих понять, как устроен мир. Философам же не следует оставаться безучастными – нужно помочь ученым освоить эти инструменты и разрабатывать новые.

Перевод с английского Ольги и Петра Серебряных

30 SEBENS C.T., CARROLL S.M. *Self-locating Uncertainty and the Origin of Probability in Everettian Quantum Mechanics* // British Journal for the Philosophy of Science. 2018. Vol. 69. № 1. P. 25–74 (www.journals.uchicago.edu/doi/10.1093/bjps/axw004).

Знаки на стене: первый фильм Андрея Тарковского и советский *New Age*

Вадим
Михайлин

В этой статье речь пойдет о наименее популярном фильме Андрея Тарковского – «Катке и скрипке», первой его самостоятельной ленте, снятой в качестве дипломной работы на последнем курсе ВГИКа. Интересовать меня будут проблемы не киноведческого свойства, а исключительно тот символический язык, совершенно необычный для советского кинематографа рубежа 1950–1960-х годов, который работает в этой картине и который в ключевых своих составляющих сохранится у Тарковского вплоть до «Жертвоприношения»¹. Сколько-нибудь цельная и внятная экспликация этого языка невозможна, на мой взгляд, без предварительного обращения к двум феноменам, один из которых вполне конкретен, очевиден и неоднократно упоминался в связи с «Катком» – это «Красный шар» Альбера Ламориса². Второй имеет совершенно иную природу и предполагает другие подходы и режимы доступа, поскольку речь идет не о конкретном произведении искусства, а о целом культурном процессе, да еще и о процес-



Вадим Михайлин (р. 1964) – историк культуры, социальный антрополог, переводчик, профессор Саратовского государственного университета.

- 1 Противоположную точку зрения см. в: POWELL-JONES L. *Deleuze and Tarkovsky: The Time-Image and Post-War Soviet Cinema History*. Cardiff: Cardiff University, 2015. P. 2, fn. 4.
- 2 См., например: Туровская М. *Семь с половиной, или Фильмы Андрея Тарковского*. М.: Искусство, 1991. С. 30–31; Кончаловский А. *Низкие истины. Возвышающий обман*. М.: ЭКСМО, 2014. С. 70 (упоминание

ПОЛИТИКА
(СОВЕТСКОЙ)
КУЛЬТУРЫ

ВАДИМ МИХАЙЛИН

ЗНАКИ НА СТЕНЕ:

ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ АНДРЕЯ
ТАРКОВСКОГО И СОВЕТСКИЙ
NEW AGE

се, почти не оставившем следов – по крайней мере таких, на которые можно было бы ссылаться как на документально установленный факт. Я имею в виду возрождение в СССР середины 1950-х – начала 1960-х явления, которое Кристофер Партридж некоторое время назад назвал «оккультурой»³. Я никоим образом не собираюсь сводить все богатство кинематографического языка Андрея Тарковского к этим двум источникам влияния. Но прояснить некоторые связанные с ними контексты, как мне кажется, попросту необходимо – и уже давно.

ШАРИК ПРИЛЕТЕЛ: КИНОСИМВОЛИЗМ АЛЬБЕРА ЛАМОРИСА

В 1956 году Альбер Ламорис снял свой главный фильм, 34-минутную короткометражку «Le ballon rouge» («Красный шар»), которая в последующие несколько лет собрала все, что только можно было собрать на международных кинофестивалях, и произвела на мировую кинематографическую общественность воистину неизгладимое впечатление. Уже привычная минималистичная палитра неореализма (отказ от техни- и синекolorовской многоцветности, натурная съемка, использование непрофессиональных актеров и статистов и так далее), буквально позавчера отправившая в нокдаун голливудский киноимпериализм и рассчитанная на трансляцию нового, «искреннего» меседжа, вдруг расцвела неожиданно богатым букетом смыслов, обнаружив за шероховатой тканью бытовой реальности магическую вселенную едва ли не прустовской *rêve*.

На самом деле никакой революции не произошло – Ламорис просто сделал вполне логичный шаг в сторону, наметив тропинку, которую впоследствии такие мастера, как Феллини, Вайда, Висконти, Антониони и Де Сика, превратили в одну из основных кинематографических магистралей. Итальянский неореализм конца 1940-х – начала 1950-х стал реакцией на распад той классицистской эстетики, что сложилась как в Голливуде, так и в тоталитарном кинематографе Италии, Германии и СССР⁴ еще в 1930-е, сразу после триумфального воцарения звукового кино. Основой основ этой эстетики (помимо таких

косвенное, но вполне внятное); EFRID R. *Deleuze on Tarkovsky: The Crystal-Image of Time in «Steamroller and Violin»* // The Slavic and East European Journal. 2014. Vol. 58. № 2. P. 241; NARVÁEZ J.C.G. *La mirada espejeante. Análisis textual del film El espejo de Andrei Tarkovski*. Madrid: UCD, 2014. P. 53; PAPERNY V. *Andrej Tarkovskij and Andrej Končalovskij. Lives, Films, Culture* // FRANZ N.P. (Hrsg.). *Andrej Tarkovskij. Klassiker – Klassik – Classic – Classico*. Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 2016. S. 474.

3 См.: PARTRIDGE C. *The Re-Enchantment of the West: Alternative Spiritualities, Sacralization, Popular Culture and Occulture*. 2 vols. Edinburgh: T.&T. Clark Publishers, 2004; 2006.

4 Понятно, что соцреалистическая эстетика не была здесь ни в коей мере исключением, несмотря на все ритуальные заклинания в адрес собственного реализма.

сугубо классицистских характеристик, как строгая иерархия жанров, внеисторическая трактовка характеров, рациональное построение киновысказывания и так далее) была четко обозначенная дистанция между реальностью зрителя и проективной реальностью на экране: кино ничуть не стеснялось титула «фабрики грез», а зритель ходил в кинотеатры именно затем, чтобы устроить себе маленький разрыв повседневности. Неореализм, по большому счету, совершил в кинематографе тот же переворот, что за полтора века до него романтизм учинил в литературе и живописи, изменив систему отношений между фиктивной, экранной, реальностью и той реальностью, которую зритель привык считать своей собственной, настоящей. Эстетическая дистанция если и не отменялась вовсе, то сводилась к необходимому минимуму. Реальность же экранная, с одной стороны, подавалась едва ли не как продолжение привычной зрительской повседневности, а с другой, – в силу несравнимо большей логической выстроенности и прозрачности, – назначалась средством постижения реальности бытовой.

Ламорис предложил своего рода символистскую ревизию неореализма. Его экранный мир продолжает настаивать на том, что он прекрасно совместим со зрительским чувством повседневности⁵, но при этом вполне отчетливо намекает, что по ту сторону любой повседневности существует другой, куда более правильно устроенный, истинный мир. В итоге плотная, едва ли не избыточная достоверность кино способствует развоплощению не только того, что происходит на экране, но и того, что зритель видит, выйдя из кинотеатра. А символическая действительность предлагает себя зрителю в качестве особо значимой не только применительно к его собственно зрительскому опыту, но и применительно к опыту реальной жизни.

Уже в «Белой гриве» (в отличие от «Бима», снятого просто как детская сказка с восточным колоритом) Ламорис прикладывает максимум усилий, чтобы пространство казалось не только экзотическим, но и предельно достоверным. Уже имея соответствующий опыт, он старательно маскирует свой сказочный сюжет под документальное кино. Длинные пейзажные планы, натурные кадры сурового пастушеского труда и – главное – эпический поединок двух белых жеребцов,

ВАДИМ МИХАЙЛИН

ЗНАКИ НА СТЕНЕ:
ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ АНДРЕЯ
ТАРКОВСКОГО И СОВЕТСКИЙ
NEW AGE

5 Подобное утверждение выглядело бы явно преувеличенным по отношению к предыдущим короткометражным игровым фильмам Ламориса – «Биму» (1950) и «Белой гриве» (1953), – Впрочем, они и не оказали настолько мощного воздействия на мировой кинематограф, как «Красный шар», несмотря на гран-при за лучший короткометражный фильм, которого «Белая грива» была удостоена в 1953 году на Каннском фестивале. Для этого пространства, в которых происходит действие обоих фильмов (в «Биме» это некий остров в неназванной ближневосточной стране, в «Белой гриве» – густо романтизированный Камарг), слишком экзотичны, а действие в обоих случаях носит слишком условный характер. Но Париж «Красного шара» предельно – нарочито – насыщен приметами повседневности, что как раз и сообщает рассказанной истории новое качество.



снятый предельно подробно и плотно, создают ощущение присутствия. Еще одна «достоверная» повествовательная рамка выстраивается при помощи закадрового текста, который превращает рассказанную историю в этакую идиллическую экфрасу, не разрушающую уже созданного чувства достоверности. Так что сама история о романтическом противостоянии жестокому взрослому миру мальчика и дикого коня, едва ли не сплошь составленная из катастрофически недостоверных элементов⁶, воспринимается как случай, пусть экстраординарный, но не вступающий в противоречие с общей искренностью и реалистичностью высказывания⁷. В итоге история становится едва ли не идеальной иллюстрацией к идиллическому (феокритовскому) *know how* по работе с воображаемым городско-го зрителя/читателя. Экзотичность пространства делает возможной сказочную историю, а его достоверность позволяет не разрушать отношений зрителя с собственной реальностью: последний получает право грезить о свободе, красивой смерти и романтической дружбе, не вставая с дивана.

Впрочем, Феокрит писал не только сельские, но и городские идиллии – и Ламорис добросовестно следует этой почтенной традиции. В «Красном шаре» действие переносится в Париж, экзотичность пространства сводится к минимуму⁸ и волшебная – истинная! – реальность подступает вплотную к дивану. В «Белой гриве» Камарг совершенно логично – в силу своей очевидной пограничности (земля/вода, Франция/дикость) и столь же очевидной мифогенности – выступал в роли переходного пространства, которое нужно преодолеть на пути к истинной свободе. Теперь в точно такое же пространство превращается центр цивилизации – Париж, напряженный изнутри, предельно поэтизированный, со встроенной возможностью побега. Протагонист этой ленты категорически внесистемен. В источник травматического опыта для него превращается любой социальный институт – семья, школа, церковь. В фильме напрочь отсутствуют интерьеры; мальчик свободен только на улице, где живет его единственный волшебный друг – красный воздушный шар, наделенный не только собственной жиз-

6 Способ, которым мальчик ловит рыбу, невозможен – равно как и то, как он приручает коня; фламинго не едят рыбы; дикого кролика было бы не просто поймать, а тем более освежевать голыми руками; идиллический быт семьи мальчика построен на недостоверных деталях и так далее.

7 В свое время Андре Базен написал, что «Белая Грива одновременно и настоящий конь, который пасется на соленых лугах Камарга, и конь сновидческий, который вечно плывет бок о бок с мальчиком Фолько» (здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, перевод иноязычных текстов мой. – В.М.). См.: BAZIN A. *The Virtues and Limitations of Montage* // Idem. *What Is Cinema? Vol. 1*. Berkley: University of California Press, 1967 (<https://understandingcinema.files.wordpress.com/2014/01/long-take-sup-texts.pdf>).

8 Будучи редуцирована до особенностей парижской топографии, внятных для местного жителя. Существенная часть сюжета привязана ко вполне цивильному османовскому Парижу, но те места, в которых начинается и заканчивается история о мальчике и шаре, – это холмы Миромениля и Бельвиля, с пустырями, узкими проулками, крутыми лестницами и облупленными стенами домов.

ню, но и собственной интенциональностью, хотя улица тоже опасна, поскольку является естественной средой обитания для самого жестокого врага – мальчишеской стаи. При этом, не-взирая на всю свою демонстративную дикость, стая начинает свою погоню за героем не откуда-нибудь, а из школы: другие дети более системны, чем протагонист.

Феокритовская смерть Дафниса как преодоление повседневности, работает здесь по той же схеме, что и в «Белой гриве»: действие происходит в сугубо мужском мире⁹, главным антагонистом является злобная и почти безликая стая, которая преследует протагониста, в финале зрителя ожидает выход за пределы бытия с полным освобождением от социальных контекстов, самовычеркиванием из жизни и сопутствующим ощущением опасности. Но есть и несколько значимых отличий. Во-первых, это присутствие в кадре вполне реальной смерти, пусть даже речь идет не о человеке – злобные уличные бесы в конце концов ловят и «убивают» единственного друга героя, посланца потусторонних миров. Причем сама способность умереть и становится окончательным (предельно сентиментальным) доказательством того, что шарик есть живое и – в прямом смысле слова – одухотворенное существо. Во-вторых, шарик не одинок, белых ворон много в самых разных уголках Парижа; в конце мальчик находит свою летучую стаю, способную унести его в иные измерения – совсем как Маленького Принца в финале книги, вышедшей ровно за десять лет до фильма Ламориса.

Но главное отличие в другом и касается самого способа, которым рассказана история. Фильм снят в подчеркнуто блеклой цветовой гамме: знаменитый парижский «меловой свет» доведен до логического предела, и город выглядит, как размытая серо-коричнево-голубая акварель. Единственным ярким пятном в кадре остается сам шар, чей насыщенный и теплый красный цвет неизбежно и постоянно привлекает внимание зрителя. Зрителю рассказывают историю о людях, но наблюдает он ее как бы периферийным зрением, потому что его глаз упорно цепляется за этот развоплощенный предмет, самим своим присутствием в кадре заявляющий о неполной картине реальности: явленный в фильме сюжет на самом деле не важен, важен сюжет непроявленный. В конце картины две эти истории – зримая и незримая – соединяются. Мальчик становится частью гигантской связи воздушных шаров и уходит

9 В «Белой гриве» женщины отсутствуют полностью. В «Красном шаре» играющие сколько-нибудь заметную роль в сюжете представительницы женского пола либо подавляют мальчика (мама), либо выступают в роли совершенно лишнего искушения, грозящего отвлечь от ключевой истории. Примечательно, что и в том и в другом случае женское вмешательство грозит разлучить героя с шаром. Вовсе не пытаясь напрямую спроецировать эту особенность ламорисовской эстетики на творчество Тарковского, я тем не менее хочу обратить на нее внимание читателя.

ВАДИМ МИХАЙЛИН

ЗНАКИ НА СТЕНЕ:
ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ АНДРЕЯ
ТАРКОВСКОГО И СОВЕТСКИЙ
NEW AGE



ВАДИМ МИХАЙЛИН

ЗНАКИ НА СТЕНЕ:
ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ АНДРЕЯ
ТАРКОВСКОГО И СОВЕТСКИЙ
NEW AGE

вместе с ней в прозрачное голубое небо, а город постепенно исчезает из кадра. В итоге фильм завершается не только сентиментальным сказочным финалом, но и сюжетом абсолютной трансценденции.



Илл. 1. «Красный шар».
Recadrage.

Шар работает в кадре у Ламориса вполне в духе сюрреалистических представлений о *recadrage*, «сдвиге», или «смещении рамки восприятия» (илл. 1). Но только это предельно смягченный вариант сюрреалистической эстетики, полностью лишенный привычного авангардистского пафоса. У Бретона или Бунюэля неожиданный предмет, не совместимый с предложенным контекстом, должен разрушать когнитивные привычки читателя/зрителя и перенастраивать восприятие на внерациональное переживание сверхреальности, понимаемой как новый способ видеть реальность вполне посюстороннюю¹⁰. В «Красном шаре»

- 10** Есть основания полагать, что для самого Ламориса источником вдохновения в данном случае стал другой визуальный текст, главным героем которого так же выступал красный шарик. Речь идет о самом сюрреалистичном из всех полотен Феликса Валлотона, «Le ballon» («Мяч», 1899). Сама композиция этой картины заставляет прочитывать внешне импрессионистический сюжет (как бы случайный кадр, на котором ребенок в белой одежде и соломенной шляпе бежит за укатившимся мячиком) как «сдвинутый» почти на сюрреалистический манер. Неожиданный ракурс и пересекающаяся геометрия четырех цветовых полей (песочно-желтого и густо-зеленого; солнечного и теневого) с зияющей пустотой в середине изображения сбивают привычную настройку восприятия и заставляют воспринимать сюжет как принципиально неполный, тревожащий и едва ли не зловещий, одновременно гипердинамичный и застывший в полной неподвижности. Впечатление дополняется полным отсутствием неба. Привычные «небесные» холодные тона – голубой и белый – даны в картине отдельной дисгармоничной вспышкой на дальнем плане и представлены двумя безликими женскими фигурами, застывшими, взявшись за руки. Эти фигуры уравновешивают сюжет с ребенком и мячиком (или, вернее, с двумя мячиками, поскольку еще один, тускло-желтый и, судя по всему, неподвижный, лежит в тени и так же принимает самое непосредственное участие в конструировании общей геометрии полотна), лишней раз подчеркивая пустоту в середине кадра. «Мяч» Альбер Ламорис мог впервые увидеть только в 1953 году, то есть после того, как работа над «Белой гривой» уже была закончена (премьерный показ состоялся в декабре), а к работе над следующей лентой он еще не

прием остается, но возвращает зрителя к эстетике, по сути сугубо символистской, где истинная реальность позиционируется по ту сторону реальности неистинной, кажимой, которая в свою очередь плотно увязывается с каждодневной реальностью зрителя.

Впрочем, в нашем случае значимым является прежде всего то обстоятельство, что впечатление, произведенное неосимволизмом Альбера Ламориса, распространилось по обе стороны от «железного занавеса», который весьма удачно стал слегка приподниматься как раз в 1956-м. Причем приподнялся он ровно настолько, чтобы предложенная Ламорисом реформа киноязыка смогла сказаться на профессиональных установках целой когорты будущих талантливых режиссеров, чей период ученичества пришелся на 1950-е годы. Очарованность «Красным шаром» отчетливо ощутима не только в «Катке и скрипке», но и в «Мальчике и голубе» (1961) Андрея Кончаловского, «Трамвае в другие города» (1962) Юлия Файта, ранних фильмах Александра Митты¹¹, в «Человек идет за солнцем» (1961) Михаила Калика и даже в «Дикой собаке Динго» (1962) Юлия Карасика и «Дне солнца и дождя» (1967) Виктора Соколова.

А еще конец 1950-х – то самое время, когда в умах наиболее «продвинутой» когорты советской творческой (в самых разных смыслах этого слова) интеллигенции созрели все необходимые предпосылки для радикального сдвига привычной картины мира.

ЗАГЛЯНУТЬ ЗА ГОРИЗОНТ: СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК В ПОИСКАХ НОВЫХ СМЫСЛОВ

Знаменитый доклад «О культе личности и его последствиях», зачитанный Никитой Хрущевым 25 февраля 1956 года на XX съезде КПСС, помимо иных своих последствий, привел к разрушению той когнитивной модели, которая на протяжении двух сталинских десятилетий старательно выстраивалась как единственно возможная для правильного советского человека. Представление об устройстве бытия, в котором все возможные смыслы рождались в голове Иосифа Сталина, гениально преобразившего и без того единственно верное учение Карла Маркса и Владимира Ленина, было по-своему весьма комфортным – сколь бы парадоксальным ни показалось подобное утверждение

приступал. До того картина находилась в частном собрании Карла Дрейфуса, после смерти которого, согласно завещанию, была передана вместе со всей остальной коллекцией национальным музеям – и стала участницей специальной выставки в Лувре, проводившейся с 1 апреля по 13 июля 1953 года.

- 11** Юлий Файт и Александр Митта – однокурсники Андрея Тарковского по курсу Михаила Ромма во ВГИКе (выпуск 1960 года). Андрей Кончаловский, соавтор сценария «Катка и скрипки», тесно сотрудничал с Тарковским в 1950–1960-х и закончил ту же мастерскую четырьмя годами позже.

ВАДИМ МИХАЙЛИН

ЗНАКИ НА СТЕНЕ:
ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ АНДРЕЯ
ТАРКОВСКОГО И СОВЕТСКИЙ
NEW AGE



применительно к сталинской эпохе. Катастрофически дезориентированная масса бывших крестьян и мещан, не привыкших к существованию в рамках широких публичных пространств (то есть подавляющее большинство населения СССР), отчаянно нуждалась в предельно простой системе сигналов, которая помогла бы ей ориентироваться в быстро меняющейся ситуации – не говоря уже об элементарном самосохранении. Образованным стратам – как унаследованным от старого режима, так и заново рекрутированным из все той же маргинализированной массы совграждан – та же когнитивная модель, но только завернутая в более изощренную сциентистскую оболочку, предлагала свою систему бонусов. Дореволюционная русская интеллигенция отчаянно мечтала (ну, или по крайней мере очень любила рассуждать) о возможности совмещения осознанного жизненного сюжета с некой большой объясняющей конструкцией, способной вывести индивидуальный труд на тот уровень, где абсолютные духи познают самих себя и гармонизируют вселенское бытие. Советский марксизм, практически с самого своего рождения превратившийся из философской концепции в предельно пластичный риторический конструктор, позволяющий подогнать логически выстроенное обоснование под любой посыл, параллельно вписав полученный результат в «логику движения истории» и «диалектическую картину мира», прекрасно справлялся с этой задачей.

Манипулятивная метонимия «Сталин = партия» и столь же манипулятивное представление о партии как естественном и единственном носителе Истины выстраивали мистическое по сути коллективно-неисчислимо тело вождя, вбирающее в себя среди прочего и собственные легитимирующие основания – Ленина и старательно создаваемый самим же Сталиным культ отца-основателя. Противопоставив Ленина Сталину, Хрущев и его референты, сами того не желая, дезавуировали право партии на непогрешимость. По большому счету, они сами стали заложниками собственной же пропагандистской машины, которая уже успела создать идеализированный образ советского народа – народа-победителя, единого и беззаветно преданного делу Коммунистической партии – как некоего тотально перспицированного, «опрозраченного» для власти человеческого поля¹². Приняв пропагандистскую фикцию за данность, авторы и исполнители нового, оттепельного мобилизационного проекта переоценили степень собственного контроля над когнитивными и дискурсивными основаниями советской ментальности, тем самым выпустив джинна из бу-

12 О процессе перспициации как о базовом элементе модернизации вообще и советской модернизации в частности см. подробнее: Михайлин В. *Ex cinere: проект «советский человек» из перспективы post factum* // Неприкосновенный запас. 2016. № 4(108). С. 137–160.

тылки. Разочарование в праве партии на мистическое сверхзнание оставляло советскому человеку два наиболее логичных выхода: полный отказ от больших объясняющих конструкций или поиск новых, еще более широких, способных закрыть собой открывшиеся бездны. Кроме всего прочего, сталинское всезнание позволяло если не объяснять, то оправдывать вопиющее сочетание великих государственных целей и свершений с убогой повседневностью рядового советского человека. Некоторая – кстати, достаточно репрезентативная – часть граждан СССР восприняла новые лозунги вполне адекватно с точки зрения власти и сформировала в итоге поколение «шестидесятников»: лояльный к оттепельному проекту средний класс, основу которого составляла техническая интеллигенция и которому еще предстояло пройти через разные степени разочарованности по мере сворачивания хрущевских реформ и ухудшения собственного качества жизни во второй половине 1960-х и особенно в 1970-е. Для значительного большинства населения официальный дискурс во всех его проявлениях – от речей генсеков на съездах до вездесущих лозунгов и плакатов – все более и более отчетливо превращался в «красный шум»¹³, не препятствовавший, однако, обустройству маленького личного счастья. Так что поиск новых объясняющих конструкций вполне логично стал уделом ничтожного меньшинства – впрочем, включавшего в себя значительную часть интеллектуальной и художественной элиты страны. А самым популярным направлением такого поиска стал неотрадиционализм во всем его разнообразии: от эзотерической эклектики в духе *New Age* до парада неоязыческих, ортодоксально-религиозных и имперско-государственнических национализмов.

Об эзотерическом возрождении в послевоенном СССР, как правило, говорят едва ли не исключительно в контексте середины 1960-х – начала 1970-х¹⁴, когда соответствующие умонастроения достигли критической массы и потребовали какой-никакой институционализации – пусть даже сугубо маргинальной, как в случае с южинским кружком или с «салонам» Екатерины Фриде. В любом случае феномены, подобные мамлеевско-головинскому сообществу, оставляют отчетливые следы – пусть даже большинство релевантных текстов вполне

ВАДИМ МИХАЙЛИН

ЗНАКИ НА СТЕНЕ:
ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ АНДРЕЯ
ТАРКОВСКОГО И СОВЕТСКИЙ
NEW AGE

13 О «плакатной» составляющей этого явления см. подробнее: Михайлин В., Беляева Г. «Наш» человек на плакате: конструирование образа // Неприкосновенный запас. 2013. № 1(87). С. 89–109.

14 См. в этой связи прежде всего сборник: MENZEL B., HAGEMEISTER M., ROSENTHAL B.G. (Eds.). *The New Age of Russia Occult and Esoteric Dimensions*. München; Berlin: Verlag Otto Sagner, 2012; а также: Носачев П.Г. Прологомены к изучению советского эзотерического подполья 60–80-х годов XX в. // Вестник ПСТГУ. Богословие. Философия. 2012. № 4(42). С. 39–47; Он же. Евгений Головин и «русский традиционализм» // Мистико-эзотерические движения в теории и практике. СПб.: Издательство РХГА, 2012. С. 41–49; Митрохин Н. Советская интеллигенция в поисках чуда: религиозность и паранатура в СССР в 1953–1985 годах // Новое литературное обозрение. 2020. № 3(163). С. 51–78.



очевидным образом относится к перспективе *post factum*¹⁵. Однако формироваться эта среда вполне очевидным образом начала еще в предшествующем десятилетии, о чем сами участники тогдашних событий – или те, кто о них пишет, – упоминают достаточно регулярно, хотя и катастрофически (для целей настоящего исследования) невнятно¹⁶. Причем какой-либо отчетливой связи с эзотериками предшествующего, довоенного, поколения (так же на сегодняшний день неплохо изученного и опубликованного, хотя и на очень разном с научной точки зрения уровне)¹⁷ не прослеживается – новая традиция вырастает едва ли не на пустом месте и отличается крайней степенью эклектичности.

Впрочем, некоторое количество реперных точек расставить все-таки можно – и на основе этого рисунка получить если не картину рождения «советского *New Age*», то представление о том питательном растворе, на котором он пустился в рост. В интервью Владиславу Лебедько Владимир Степанов упоминает о знакомстве с некими «пожилыми джентльменами», которые отследили его по странным запросам в Ленинской библиотеке. Саму подпольную организацию «пожилых джентльменов», пожалуй, вполне можно провести по тому же ведомству, по которому проходят махатмы Елены Блаватской и Рерихов, но большая московская библиотека второй половины 1950-х как «место силы» практически не вызывает сомнений. Как и то обстоятельство, что кто-то из людей, работавших как в Ленинке, так и в Библиотеке иностранной литературы (ВГБИЛ), практически одновременно начал формировать корпус традиционалистской литературы – частью приписанный к спецхранам, а частью выставленный в открытый доступ. Марк Сэджвик пишет:

«Хотя “Symbolisme de la Croix” [“Символизм креста”] Генона был не доступен (он находился в “закрытом фонде” Ленинки), “Ragan Imperialism” (“Языческий империализм”) Эволы (в исправленном,

15 «Причина тому очевидна: большинство эзотериков начали публиковаться в 1990-е или еще того поз-же, что ставит перед нами непростые вопросы о датировке движения и об установлении его хронологических рамок» (HELLER L. *Away from the Globe. Occultism, Esotericism and Literature in Russia during the 1960s–1980s* // MENZEL B., HAGEMEISTER M., ROSENTHAL B.G. (Eds.). *Op. cit.* P. 190).

16 См., например: САПГИР Г. *Лианозово и другие (группы и кружки конца 50-х)* // Арион. 1997. № 3 (<https://magazines.gorky.media/arion/1997/3/lianozovo-i-drugie.html>); РОВНЕР А. *Вспоминая себя. Книга о друзьях и спутниках жизни*. Пенза: Золотое сечение, 2010; ЛЕБЕДЬКО В. *Хроники российской Саньсясы. Том 2. Романтики с большой дороги* (https://royallib.com/book/lebedko_vladislav/hroniki_rossiyskoy_sanyasi_tom_2.html); Сэджвик М. *Наперекор современному миру: традиционализм и тайная интеллектуальная история XX века*. М.: Новое литературное обозрение, 2014.

17 См., например: НИКИТИН А.Л. *Мистики, розенкрейцеры и тамплиеры в Советской России. Исследования и материалы*. М.: Аграф, 2000; MENZEL B., HAGEMEISTER M., ROSENTHAL B.G. (Eds.). *Op. cit.* P. 129–150; АНДРЕЕВ А.И. *Гималайское братство: теософский миф и его творцы (документальное исследование)*. СПб.: Издательство СПбГУ, 2008; ШИШКИН О. *Битва за Гималаи. НКВД: магия и шпионаж*. М.: Олма-Пресс, 1999.

более традиционалистском лейпцигском издании 1933 года) в той же Ленинской библиотеке стоял в открытом доступе с самого момента приобретения в 1957 году – кто бы ни отвечал за такие решения, он явно не заглядывал в эти книги»¹⁸.

ВАДИМ МИХАЙЛИН

ЗНАКИ НА СТЕНЕ:
ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ АНДРЕЯ
ТАРКОВСКОГО И СОВЕТСКИЙ
NEW AGE

Однако, судя по тому, что традиционалистские коллекции формировались, во-первых, одновременно в двух крупнейших библиотеках Москвы, а во-вторых, из книг разных авторов и разных лет издания, процесс этот все-таки был вполне осознанным и целенаправленным. В книги не просто заглядывали – их собирали из разных источников и размещали так, чтобы доступ к ним был не слишком очевиден, но при этом вполне возможен. «Закрытый фонд» – то есть собственно спецхран – не был так уж недоступен. Имея соответствующий документ, который мог представлять собой всего-навсего «отношение» от какой-либо официальной организации, так или иначе связанной с наукой (исследовательский институт, вуз, музей, даже библиотека), с просьбой о допуске к соответствующим фондам, посетитель вполне мог работать с этими книгами в читальном зале, не вынося их за пределы библиотеки (по крайней мере официально). Причем «отношение» могло быть сформулировано предельно расплывчато, и посетитель получал возможность – при удачном стечении обстоятельств – работать с книгами, достаточно далекими от официальной сферы его научных интересов¹⁹. До конца 1960-х действовали серьезные цензурные ограничения на выписки, выносимые с собой из библиотеки, – но в тех случаях, когда человек читал книгу, формально числившуюся как востоковедческая (а под эту категорию попадали и Генон, и Блаватская, и уж тем более Вивекананда), а выписки были на иностранном языке, не понятном цензору, ситуация упрощалась до предела. Гораздо большую проблему для потенциальных читателей Генона и Гурджиева в раннеоттепельном СССР представлял уровень владения иностранными языками – так что зачастую степень посвященности напрямую зависела от той легкости, с которой человек читал по-французски или по-английски.

В том же 1957 году во ВГБИЛ был создан Отдел восточной литературы, который возглавил профессиональный японист Владимир Гривнин. И в фондах библиотеки появились не только книги, изданные во второй половине XIX и первой трети

18 Сэджвик М. *Указ. соч.* С. 367.

19 Так, уже в 1980-е я сам читал книги Жерара Анкосса (Папюса) во ВГБИЛ, имея на руках бумажку от Саратовского госуниверситета, в котором числился студентом 4-го курса и писал дипломную работу по антиутопиям Олдоса Хаксли и Ивлины Во. И выдавали мне их вполне буднично, наряду с ничуть не менее запретными замаятинскими «Мы» (нужными по диплому) и набоковской «Лолитой», по диплому совершенно не обязательной.



XX века²⁰, которые могли поступить ранее из тех или иных национализированных собраний, но и совершенно свежие издания вроде галлимаровской подборки Генона. Последняя серия была напечатана в Париже как раз в 1957 году и, следовательно, приобреталась буквально с пылу с жару – что недвусмысленно свидетельствует о целенаправленном подборе литературы²¹. То же касается нью-йоркского издания «Четвертого пути» Петра Успенского и ряда других книг²².

Впрочем, одними библиотеками дело явно не ограничивалось. В 1958 году заведующим сектором философии и истории религии Института востоковедения РАН был назначен Юрий Рерих, за год до этого, то есть все в том же 1957-м, вернувшийся в СССР и уже успевший получить степень доктора филологических наук (без защиты диссертации). Понятно, что возможностей читать Блаватскую и Генона для заинтересованных лиц стало существенно больше – не говоря уже о самом Рерихе как очевидном носителе традиции. В 1956 году в Ленинград возвращается из мордовских лагерей еще одна живая легенда – Бидия Дандарон. Правда, устроиться на работу в ленинградский Институт востоковедения у него не вышло, но уже в следующем, 1957-м, году он вполне официально работает научным сотрудником Бурят-Монгольского научно-исследовательского института культуры в Улан-Удэ – после чего востоковеды из Ленинграда, Москвы и Казани начинают в массовом порядке оформлять археологические и этнографические экспедиции в Бурятию. Рерих и Дандарон, несомненно, самые заметные кандидаты на роль учителей, или проводников традиции, но, конечно же, такого рода фигур в действительности было куда больше. Лидеры и участники разного рода религиозных и мистических сообществ, художники и литераторы

20 Например: LÉVI É. *La clef des grands mystères: Suiv. Hénoch, Abraham, Hermès Trismégiste, et Salomon*. Paris, 1861; IDEM. *La science des esprits: Révélation du dogme secret des kabbalistes*. Paris, 1865; BLAVATSKY H.P. *A Modern Panarion: A Collection of Fugitive Fragments: From the Pen of H.P. Blavatsky*. Vol. 1. London, 1895; PAPUS. *Le Tarot divinatoire*. Paris, 1909; IDEM. *Le Tarot des Bohémiens: Le plus ancien livre du monde: A l'usage exclusif des initiés*. Paris, 1911; IDEM. *Martines de Pasqually: Sa vie. Ses pratiques magiques. Son oeuvre. Ses disciples. Suivis des catéchismes des éluscosens: D'après des doc. entièrement inéd.* Paris, 1895; STEINER R. *Werke: 19 Bd. 1906–1913*; SWAMI VIVEKANANDA. *Vedanta Philosophy: Lectures on Raja Yoga and Other Subjects, Also Patanjali's Yoga Aphorisms with Commentaries, and Glossary of Sanskrit Terms*. New York, 1913; GUÉNON R. *Orient et Occident*. Paris, 1924; IDEM. *La crise du monde moderne*. Paris, 1946.

21 GUÉNON R. *La grande Triade*. Paris, 1957; IDEM. *L'ésotérisme de Dante*. Paris, 1957.

22 OUSPENSKY P.D. *The Fourth Way: A Record of Talk and Answers to Questions Based on the Teaching of G.I. Gurdjieff*. New York, 1957; STEINER R. *Anmeldelser og artikler om Henrik Ibsen og hans verker*. Oslo, 1955. Кроме того, было куплено вполне современное на ту пору пятитомное дорнахское издание 1953 года «Искусства как отражения духовной жизни» («Kunstgeschichte als Abbild innerer geistiger Impulse»); Штайнера трудно было провести по востоковедческой линии, и для начала приобретались его искусствоведческие и литературоведческие работы. Впрочем, позже ситуацию удалось изменить (видимо, просто в силу того, что книги этого автора уже хранились в библиотеке и мотивировать запрос на другие его тексты было проще), и в середине 1960-х были приобретены еще порядка тридцати его книг, после чего были еще как минимум две закупки – в 1970-х и в начале 1980-х. Генона, судя по двум купленным в 1957-м книгам, тоже пытались выдать не только за востоковеда, но и за литературоведа.

с соответствующего рода представлениями о роли искусства, да и просто люди, начитавшиеся в свое время оккультной литературы, возвращались в крупные советские города и в связанные с ними культурные среды – кто после отсидки, кто «из минус 39» или из-за сто первых километров, куда угодили в силу разного рода неблагонадежностей, кто просто из «отсидки внутренней». Многие из них становились центрами притяжения для молодежи, которая родилась и выросла уже в СССР и поэтому с точки зрения государственной пропаганды была советской во всех смыслах слова, но теперь открыла для себя возможность новых смыслов. Первым группам, претендующим на роль полноценных проводников традиции, еще только предстояло возникнуть, а до формирования более или менее массовой позднесоветской «оккультуры» оставались еще два десятка лет. Но потребность в поиске больших объясняющих конструкций уже получила новый и весьма многообещающий канал реализации.

Кроме того, разговор о становлении альтернативной советской духовности невозможен без учета особенностей распространения в СССР любой информации, хоть сколько-нибудь выходящей за пределы официального государственнического дискурса, – даже в тех случаях, когда источником этой информации были среды, этот дискурс как раз и призванные формировать. Осознаваемая подавляющим большинством участников коммуникации принципиальная неполнота информационного пространства автоматически приводила к нескольким тесно связанным между собой следствиям. Во-первых, любой источник альтернативной информации не мог не восприниматься как значимый и не надеяться привилегированным коммуникативным статусом. Во-вторых, поиск такого рода источников фактически существовал в постоянном фоновом режиме. В-третьих, исходная степень доверия к альтернативной информации не была жестко связана со степенью доверия к источнику. И, наконец, в-четвертых, как принципиально неполная воспринималась любая информация, но в случае с информацией официальной эта неполнота была предметом более выраженной рефлексии, приводящей к столь же постоянно действующей установке на «чтение между строк». Последнее обстоятельство – помимо всего прочего – привело к формированию особых характеристик позднесоветского искусства как «искусства недоговоренности», а также к устойчивой ориентированности на соответствующие установки как самих «профессионалов искусства», так и целевых аудиторий. Все условия для формирования специфической эстетики «позднесоветского символизма» сложились. И Андрею Тарковскому – вместе с Сергеем Параджановым, Леонидом Авербахом, Отаром

ВАДИМ МИХАЙЛИН

ЗНАКИ НА СТЕНЕ:
ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ АНДРЕЯ
ТАРКОВСКОГО И СОВЕТСКИЙ
NEW AGE



Иоселиани, Вадимом Абдрашитовым, Романом Балаяном и прочими, прочими, прочими – предстояло стать ее апостолом.

ПРОСТЫЕ ВЕЩИ: НЕОСИМВОЛИЗМ «КАТКА И СКРИПКИ»

Среди не самых очевидных характеристик той эстетики, что Альбер Ламорис задал в «Красном шаре», есть и такая, на которую молодой Андрей Тарковский явно обратил особое внимание. Она в минимальной степени свойственна тем сценам, действие которых происходит в «цивилизованном», османовском, Париже. Но стоит зрителю – вместе с мальчиком и шаром – переместиться в Миромениль, и стены города начинают говорить. Во-первых, они перестают быть безликими. Камера подчеркнуто внимательно работает с их фактурой – с шершавостью, облупленностью, многослойными поверхностями, – сообщая им историю, обогащая неявными отсылками ко всем тем невидимым и забытым сюжетам, которые уже имели здесь место. Во-вторых, сквозь эту фактуру то и дело проступают знаки, как бы случайные, но время от времени на удивление точно и к месту комментирующие конкретный эпизод. И если сам красный шар осуществляет операцию по «смещению рамки восприятия» открыто и даже демонстративно, то знаки на стенах принимают участие в *recadrage* неявно, образуя своего рода питательный раствор, из которого в любой момент может кристаллизироваться нужный смысл, – а затем снова превратиться в систему стертых, невнятных сигналов. Они указывают герою направление дальнейшего движения, как в снятой длинным планом сцене пробежки мальчика с шариком по улице, – или дают прямой комментарий происходящему.

Самый показательный в этом смысле набор сигналов аранжирует последовательность сцен, связанных с бегством главных героев от банды уличных мальчишек, которые пытаются «убить» шар. Сперва зритель вместе с Паскалем оказывается перед каменной стеной, за которой мальчишки издеваются над захваченным в плен шаром. Паскаль спасает друга, перетягивая его на свою сторону стены, и убегает с ним вместе, преследуемый уличной стаей. Но еще до начала активной фазы действия зрителю предъявляется сама эта стена, запущенная и облупленная, как то и положено у Ламориса, с какой-то затертой надписью и с чередой афиш, висящих по обе стороны от запертой калитки. Афиши тоже ободраны и частично заклеены – но все-таки сообщают внимательному зрительскому глазу вполне определенный набор сигналов. Слева от калитки висит реклама прошлогоднего фильма Жан-Поля Ле Шенуа

«Беглецы» («Les évadés»)²³, сюжет которого связан с побегом из нацистского концлагеря. Справа – последовательность афиш, максимально затертых, однако проговаривающих слово «Le Paradis» («Рай», название кинотеатра) и фразу «Du plomb l'inspecteur» – как назывался во французском переводе нуарный фильм Ричарда Куэйна «Легкая добыча» («Pushover», 1954), герои которого на протяжении всей картины мечтают сбежать (илл. 2).

ВАДИМ МИХАЙЛИН

ЗНАКИ НА СТЕНЕ:
ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ АНДРЕЯ
ТАРКОВСКОГО И СОВЕТСКИЙ
NEW AGE



Илл. 2. «Красный шар».
Афиши и стена.

Позже, уже во время погони, в камеру попадает еще один настенный палимпсест. Фронтальный предельно глубокий кадр с узким проульком посередине²⁴ подсовывает зрителю афишу бразильского «нордестенера» Лимы Баррето «Бандит» («O Congacete», 1955), где основной сюжет разворачивается вокруг бегства двоих героев от банды головорезов-кангасейру (илл. 3). Картина взяла в 1955 году в Каннах приз за лучший приключенческий фильм и была весьма популярна не только у французского зрителя, но и во всем мире. В нашем случае важно то обстоятельство, что ее не могли не видеть студенты ВГИКа с курса Михаила Ромма. И ключевой образ фильма – текущая вода, маркирующая непреодолимую для героя границу между реальностью и мечтой, – просто обязан был попасть на заметку к молодому Андрею Тарковскому.

Под афишей «Бандита» наклеены еще два объявления. Одно явно рекламирует какое-то агентство по недвижимости: основной текст неразборчив, но ключевые слова выделены крупным шрифтом (*terrain, construction, services*) и, помимо очевидных

²³ Гран-при французского кино, 1955 год.

²⁴ Позже Тарковский будет буквально одержим такого рода геометрией.

ВАДИМ МИХАЙЛИН

ЗНАКИ НА СТЕНЕ:
ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ АНДРЕЯ
ТАРКОВСКОГО И СОВЕТСКИЙ
NEW AGE



Илл. 3. «Красный шар».
Афиша «O Congaceiro».

технических смыслов, могут – в соответствии с отработанной еще в рамках авангардной эстетики моделью – включать дополнительные смыслы, не всегда очевидные, либо предельно общие, абстрагированные. *Terrain* – это еще и поле боя, и место дуэли. А из-под этой рекламки выглядывает другая, уже напрямую отсылающая к тематическому полю судьбы, поскольку речь в ней, судя по всему, идет о гадании по линиям на ладони.

Вся эта совокупность то проступающих из-под поверхности бытия, то снова исчезающих сигналов, по большому счету, обслуживает один и тот же месседж – сугубо традиционалистскую концепцию мира как обители скорбей; к нему не нужно привязываться, его надлежит преодолеть, оставив позади ненужные связи, лишние искушения и неотъемлемых от них двуногих обитателей, иногда благодушных и недалеких, но чаще – агрессивных и опасных. Что Паскаль в конечном счете и делает, улетаая в небо на связке воздушных шаров. В «Катке и скрипке» Тарковский, заимствовав у Ламориса динамическую сюжетную напряженность между «неотмирным» протагонистом и стаей мелких дворовых бесов²⁵, несколько переставляет акценты и существенно усложняет конфликт между реальностью и мечтой. И – для начала – принимается активно насыщать

25 Как это сделает через два года – в очень близкой символической парадигме – Андрей Кончаловский в «Мальчике и голубе», а через год режиссер совершенно другого поколения, прежде не проявлявший особой склонности к символизации: Юлий Райзман в «А если это любовь?» (у которого дворовые бесы дублируют символическое убийство воздушного шарика). См.: Михайлин В., БЕЛЯЕВА Г. Из Утопии в Аркадию: миграция голубей и голубятников в советском кино // Неприкосновенный запас. 2020. № 4(132). С. 219–239; Михайлин В. Корректировка проекта: новый габитус советского человека в фильме Юлия Райзмана «А если это любовь?» // Человек как проект. Интерпретация культурных кодов. Саратов; СПб.: ЛИСКА, 2016. С. 147–197.

дополнительными смысловыми сигналами простенькую с виду историю о скоротечной дружбе между семилетним скрипачом и тридцатилетним водителем парового катка.

Системообразующим становится образ, у Ламориса отсутствующий, но поданный в совершенно ламорисовской манере: через говорящее пространство городских стен. Он встречается в фильме три раза: в самом начале, задавая систему восприятия; в середине, предвеля кульминационную сцену и заранее предлагая ее интерпретацию; и в конце, завершая посюстороннюю линию смыслов. Этот образ – нарисованный мелом на стене человек – имитация детского рисунка, как минимум в двух первых случаях явно выполненная не детской рукой.



ВАДИМ МИХАЙЛИН

ЗНАКИ НА СТЕНЕ:
ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ АНДРЕЯ
ТАРКОВСКОГО И СОВЕТСКИЙ
NEW AGE

Илл. 4. «Каток и скрипка». Меловой человечек на лестнице.

Фильм начинается с того, что мальчик Саша выходит из квартиры, чтобы идти в музыкальную школу на урок. Для этого ему нужно спуститься с третьего этажа по лестнице и пройти через двор – предприятие, которое само по себе оказывается нелегким испытанием, поскольку Саша – дворовый козел отпущения, «Музыкант», законная добыча для всего остального детского населения. Дети представлены как агрессивная стая типажных персонажей, сведенных к простейшим атрибутам и атрибутивным действиям: роликам, инвалидной трости, горну, чеканке, розовому платью, рыжим волосам. Демоны населяют нижний мир – обширный полутемный холл, куда спускается лестница, – и караулят жертву. На полпути, на лестничной площадке второго этажа, Саша сталкивается с первым из них – «привратником», жестко привязанным к конкретному пространству: у мальчика сломана нога, но он ничуть не менее агрессивен, чем все остальные, и выполняет для стаи роль сторожевого

поста. В какой-то момент Саша застывает, готовясь совершить рывок мимо первой опасности, – и между ним и мальчиком с тростью оказывается нарисованный человечек (илл. 4).

В самой этой фигурке не было бы ничего примечательного, если бы не ее удивительная уместность с точки зрения стандартной эзотерической концепции человека²⁶ как существа, которое является «“посредником”, осуществляющим связь между Небом и Землей»²⁷, и того обстоятельства, что в буквах, коряво написанных рядом с фигурой, отчетливо угадывается китайское слово *ren* («человек»), один из членов геноновской «Великой Триады» – наряду с Небом и Землей. Ключевой сюжет фильма будет вращаться вокруг фразы из герметической «Изумрудной скрижали»: «Восходит от земли к небу, затем нисходит обратно к земле и воспринимает силу высшую и низшую»²⁸. А главные герои будут представлять две базовые интенции «совершенно-го человека», движение вверх и движение вниз, организованные вокруг вертикальной Оси Бытия, – интенции, метонимически представленные соответственно Скрипкой и Катком.

Лестница в многоквартирном доме превращается в первую – очевидную – проекцию Оси Бытия. Ось эта – пока неправильная, поскольку каждая из составляющих ее частей «замутнена». В верхней части обитает не только сам Музыкант,

26 Изложенной подробно в «Великой Триаде», с отсылкой на «Изумрудную скрижаль» Гермеса Трисмегиста. Напомню, что «Великая Триада» – одна из двух книг этого автора, купленных ВГБИЛ в 1957 году при комплектовании фонда вновь созданного Отдела восточной литературы. Впрочем, путь мог быть менее извилистым, не требующим знания французского языка: в фондах Ленинской библиотеки числились книги Дмитрия Страндена, который удачнейшим образом был не только масоном и членом совета Российского Теософского общества, но и активным участником и даже организатором социалистических кружков. Текст «Изумрудной скрижали» в обновленном по сравнению с вариантами рубежа XVIII–XIX веков переводе был полностью приведен в: СТРАНДЕН Д. *Герметизм. Его происхождение и основные учения (Сокровенная философия египтян)*. СПб.: Издание А.И. Воронец, 1914. По большому счету, сама эта идея в оккультной традиции является настолько расхожей, что конкретного источника можно было бы и не искать – особенно с учетом особенностей обращения «тайного знания» в СССР постсталинской эпохи. Сам Тарковский навряд ли был активным читателем и почитателем Генона, как и других эзотериков, а соответствующую информацию получал, вероятнее всего, через третьи руки – несмотря на отдельные упоминания о том, что он еще в школьные времена читал книги по антропософии (с отсылкой на сведения, полученные от Александра Меня, учившегося в той же, 554-й, московской школе). В том, что к концу 1970-х Тарковский так или иначе успел ознакомиться с парой книг Рудольфа Штайнера, сомневаться не приходится – об этом есть прямые упоминания в дневниках (ТАРКОВСКИЙ А. *Мартиролог. Запись от 6 сентября 1978 года* (https://royallib.com/book/tarkovskiy_andrey/martirolog_dnevnik.html)). Но человек, который в 1981 году пишет о встрече с дамой, занимающейся «изотерическими проблемами» (Там же. 13 ноября 1981 года), просто не мог быть непосредственно и сколько-нибудь плотно знаком с оккультной традицией за четверть века до этого. Тарковский – плоть от плоти советского варианта *New Age*: с его умопомрачительной эклектичностью, с полной (и зачастую принципиальной) замутненностью провенанса конкретных идей и символов – и с активным конструированием роскошного самоощущения избранности. О традиционалистской символике в более поздних фильмах Тарковского см.: МИХАЙЛИН В. *On Elements of Traditionalist Symbolism in Tarkovsky* (www.researchgate.net/publication/280100534_On_Elements_of_Traditionalist_Symbolism_in_Tarkovsky).

27 Здесь и далее цитаты из «Великой Триады» даются по тексту: ГЕНОН Р. *Великая Триада* / Перев. Т. Любимовой (avidreaders.ru/book/velikaya-triada.html).

28 «Ascendit a terra in caelum, iterumquedescendit in terram, et recipit vim superiorum et inferiorum» (PETREIUS J. *De alchemia*. Nuremberg, 1541. P. 363 (<https://archive.org/details/inhocrvoluminede00garlgoog/page/n382/mode/2up>)).

но и главный его гонитель. В нижней обретаются демоны – но вместе с ними и Сергей, водитель катка, учитель и спаситель Саши. Ну, а в середине, там, где на стене нарисован человек и на почтовом ящике красуется слово «Труд», находится персонаж, ущербный, покалеченный – то есть, по Генону, «человек обыкновенный», который есть собственно падший человек». На почтовом ящике возле Сашиной квартиры наклеены слова «Правда» и «Известия». В «человеческой» зоне нет ни вестей, ни правды, а есть только «Труд». Внизу оформленные словами знаки отсутствуют как таковые, но есть то, чего нет наверху и в середине, – уверенное владение предметным миром: дворовые демоны даже скрипку моментально умудряются перевести в сугубо инструментальную плоскость, превратить в незамысловатую игрушку, и Саше, обученному извлекать из нее гармонические звуки, приходится судорожно и неумело метаться между куда более ловкими «хозяевами мира сего».

Иероглиф 王 (ван – царь), трактуется Геноном как наглядная иллюстрация «Великой Триады», уже заключающая в себе «ван дао», «Царский Путь», – проекцию истинного, трансцендентного человека, владеющего «мандатом Неба»:

«[Этот] мандат может быть получен только следуя оси в нисходящем направлении, то есть в противоположном и встречном направлении по отношению к тому, в котором осуществляется функция “посредника”, поскольку в этом единственном и неизменном направлении осуществляется “Деятельность Неба”.

[...Ось, соединяющая Небо и Землю при посредстве человека], есть также и “мост” [pont], который связывает либо Землю и Небо, как в данном случае, либо человеческое состояние со сверхиндивидуальным состоянием, или же тонкий мир со сверхчувственным миром. [...] Этот «мост» должен пониматься как по существу вертикальный. [...] В этом аспекте Ван проявляется собственно как Pontifex, [...] он есть одновременно “тот, кто строит мост” и сам “мост”».

Во второй раз нарисованный на стене человек появляется во всей красе и славе, с подробным комментарием, поскольку рядом с ним будут начертаны уже не малопонятные буквы, а четкая лесенка символов. Неподготовленный зритель попросту не обратит на них внимания, поскольку они замаскированы под инженерные указатели, которыми пользуются коммунальные службы для обозначения тех мест, где проложены водопроводные и газовые трубы, электрические и телефонные кабели и так далее (илл. 5). Вот только это указатели совсем другого рода, отсылающие не к подземной механике, а к структуре бытия.

Лесенка распадается на две части, верхнюю и нижнюю, обозначенные соответственно нежно-голубым, «небесным», и

ВАДИМ МИХАЙЛИН

ЗНАКИ НА СТЕНЕ:
ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ АНДРЕЯ
ТАРКОВСКОГО И СОВЕТСКИЙ
NEW AGE



ВАДИМ МИХАЙЛИН

ЗНАКИ НА СТЕНЕ:
ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ АНДРЕЯ
ТАРКОВСКОГО И СОВЕТСКИЙ
NEW AGE



Илл. 5. «Каток и скрипка». Человек и символы.

густо-коричневым, «земным», цветами. В том, что речь идет именно о земле и небе, убеждают крайние значки: вверху это полумесяц, внизу – значок, более всего похожий на китайский иероглиф 山 (*шань* – гора, груда, куча). Между этими значками расположены два других: голубой кружок, пересеченный стрелкой, направленной книзу, и коричневый овал, снабженный точно таким же указателем направления. И в голубой, и в коричневой частях высказывания есть еще по одному значку – это палочки соответствующих цветов, обрамляющие нижний член своего высказывания слева и справа, которые легко прочтываются как Яхин и Боаз, «активный» и «пассивный» принципы, духовная и физическая сила. Темная роба Сергея и голубой джемпер Саши, остановившихся по обе стороны от значков, довершают привязку этого высказывания к сюжету картины (илл. 6). Символизм здесь уже вопиюще навязчив, но счастливо найденная манера маскировки символа под шершавую поверхность бытия делает свое дело, отсекая зрителя непосвященного и позволяя посвященным роскошь интимного разговора в публичном пространстве на языке, которого никто, кроме них, не понимает.

Сергей работает на катке, выравнивая землю давлением сверху, «упорядочивая» ее – так же, как упорядочивает отношения между детьми, как учит Сашу обращению с простейшими инструментами, сложными механизмами, базовыми продуктами (сугубо саттвическими: молоком и хлебом), и наставляет в отношении основных этических ценностей. Его часть вертикали – нижняя, связанная с уверенным владением предметным миром, но ущербная в том случае, если она не уравновешена

небесной, духовной, составляющей. Саша поначалу беспомощен во всем земном и инструментальном, но в какой-то момент обнаруживает способность слышать музыку сфер, знать ее и управлять ее звучанием, в свою очередь производя на Сергея сильное впечатление. Они быстро, хотя и не бесконфликтно, учатся друг у друга. Сергей с помощью Саши постигает гармонию звука, солнечного света и бесчисленных отражений всего во всем; Саша овладевает искусством инструментального воздействия на посясторонний мир. Ключевой в данном отношении является сцена обеденного перерыва, в которой герои, оказавшись под аркой (смысла этого пространственного образа, думаю, можно не пояснять), в самом средоточии «игры материальных и духовных сущностей», совмещают питание физиологическое и духовное, обнаруживают свою единоприродность и, сами того не замечая, оперируют мистическими символами – вроде двойной спирали, замаскированной под скрипичные эфы и открывающей Сергею тайну резонанса.

ВАДИМ МИХАЙЛИН

ЗНАКИ НА СТЕНЕ:
ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ АНДРЕЯ
ТАРКОВСКОГО И СОВЕТСКИЙ
NEW AGE



Илл. 6. «Каток и скрипка». Яхин и Боаз.

Эта платоническая трапеzia являет собой скрытую кульминацию сюжета, и автор ставил ее сразу после кульминации демонстративной, старательно попадающей в канонический советский код. Самую масштабную сцену фильма, которая была обречена на то, чтобы запомниться потенциальному зрителю (и понравиться ответственным товарищам как во ВГИКе, так и в минкульте), Андрей Тарковский разместил в середине «Катка и скрипки», завершив ею третью из общих пяти частей картины. В своей неспешной прогулке по центру Москвы герои картины внезапно оказываются в самой гуще неподвижно стоящей толпы, которая смотрит, как демолятор разрушает ветхое



здание. Чугунная гиря крушит старые стены (на заднем плане в кадре настойчиво мелькает церковь), начинается дождь, люди какое-то время все так же молча смотрят в одну сторону, потом начинают расходиться. В суете Сергей, уже успевший снять куртку и набросить ее на Сашу, теряет мальчика – люди бегут, – насквозь промокший Сергей ищет ребенка среди тех, кто по неведомой причине (и под загадочную музыку) продолжает плотной группой стоять под ливнем и смотреть. Саша, радостно улыбаясь, наблюдает за гирей демолатора, за вспышками света от продолжающего работать под дождем сварочного аппарата. Рушится последняя (бутафорская) стена, и за ней обнаруживается сияющая на солнце сталинская высотка. Сергей и Саша встречаются посреди неожиданно пустого – огромного – асфальтового пространства, через которое ручьем течет дождевая вода.

В рамках советского канона эта сцена должна являть зрителю очередную – едва ли не плакатную в своей прямолинейности – иллюстрацию к извечной большевистской максиме о разрушении всего старого, отжившего и о рождении нового мира. Церковь, на фоне которой гиря крушит старые стены, как раз и дает устойчивую в советской визуальной культуре отсылку к «ветхому миру». Затянутая панорама сосредоточенных человеческих лиц, глядящих в одну сторону, так же считывается – в данном контексте – как вполне плакатный образ советского народа, участника и свершителя великих строек социализма. Внезапно хлынувший ливень, разбегающиеся люди и сама по себе история с пропажей и поисками Саши, конечно, выбиваются из этого стройного ряда, но никоим образом его не разрушают.

Самое занятное, что в глубинном символическом смысле эта сцена у Тарковского так же посвящена разрушению старого мира и обретению новых смыслов. Она следует сразу за проходкой Сергея и Саши по узкому проулку с меловым человечком и лесенкой знаков на стене: акценты расставлены заранее. Рамка, обозначающая ее начало, дана через сочетание быстрых и резких сигналов, которые, с одной стороны, не могут не привлечь внимания зрителя, а с другой, четко обозначают момент перехода из области нарисованных, проективных символов в область символов реализованных, действительно воплощенных в реальности. Раскат грома заставляет Сашу быстро обернуться в кадр – и посмотреть вверх, туда, откуда в него ударяет не только звук, но и яркий направленный луч света. Свет идет от окна, которое внезапно распахнулось под порывом ветра, отзеркалило солнечный луч и открыло проход во внутреннее пространство, занавешенное (на манер покрыва Иисиды) полупрозрачной занавеской. Этот прием – с распахивающимися по

собственной воле створками дверей, окон и зеркальных шкафов – Тарковский введет впоследствии в устойчивый символический лексикон и будет использовать едва ли не в каждом своем фильме: наряду с текущей/замутненной водой, яблоками, лошадьми, фронтально снятыми порталами, лестницами.

Сразу за этим в кадре появляется гиря демулятора и начинается эпический процесс разрушения земной юдоли. Хлынувшая с неба вода – еще один стандартный элемент будущего фирменного киноязыка – четко отсылает к представлениям того же Генона о символизации процесса «низведения духовных влияний»²⁹. Небесная вода разделяет Сергея и Сашу, поскольку послания, им адресованные, разнятся между собой. Собственно, каждый из них и есть послание для другого, но условием доставки является ощущение неполноты, утраты истинного знания – так что разлука, в высшей степени символическая, неизбежна. Как неизбежно и столь же символическое воссоединение – после того, как рушится последняя преграда, за которой на фоне безоблачного неба обнаруживается Ось Бытия, представленная пирамидообразной мидовской высотой – единственной из всех сталинских высоток Москвы, шпиль которой не увенчан пятиконечной советской звездой. Высотка уверенно и властно занимает то место, на которое до этого претендовала церковь: напомним, что для Генона экзотерические религии, подобные христианству, всего лишь имитируют истинное знание и, в конечном счете, должны уступить место эзотерической Традиции.

В самом использовании сталинской высоты в качестве образа мистического моста между землей и небом, отчасти рукотворного, отчасти волшебного, не было ничего радикально инновационного. Павел Кузнецов – бывший лидер символистского художественного объединения «Голубая роза», удивительным образом умудрившийся сохранить абсолютно символистскую грамматику высказывания, вписавшись при этом в советский художественный бомонд, – с начала 1950-х по середину 1960-х написал целую серию полотен, на которых сталинская высотка на заднем плане давала именно этот набор смыслов, будучи сопоставлена с сугубо мирским и бытовым наполнением первого плана.

Собственно, высотка появляется в «Катке и скрипке» и раньше, неявным образом организуя пространство в сцене конфлик-

ВАДИМ МИХАЙЛИН

ЗНАКИ НА СТЕНЕ:
ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ АНДРЕЯ
ТАРКОВСКОГО И СОВЕТСКИЙ
NEW AGE

29 Ср.: «В этой связи, относительно низведения небесных влияний, часто символизируемых дождем, отметим...» («Великая Триада»); или: «В самом деле, дожди, чтобы олицетворять духовные влияния, должны рассматриваться как “небесная” вода... Впрочем, известно, что испарение земных вод солнечным теплом является образом “трансформации”, так что здесь как бы налицо попеременный переход от “нижних вод” к “верхним водам” и обратно» (ГЕНОН Р. *Символы священной науки* / Перев. Н. Тирос. М.: Беловодье, 2002. С. 392); или: «Связь, существующую между светом и дождем, поскольку и тот и другой равным образом символизируют небесные, или духовные, влияния» (Там же. С. 389).



ВАДИМ МИХАЙЛИН

ЗНАКИ НА СТЕНЕ:
ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ АНДРЕЯ
ТАРКОВСКОГО И СОВЕТСКИЙ
NEW AGE



Илл. 7. «Каток и скрипка». Вертикаль.

та между Сергеем и Сашей. Эта сцена целиком построена на символических вертикалях, подчеркнутых нарочито зауженным пространством хозяйственного двора. С самого начала осью, вокруг которой завязывается действие, становится непрерывно льющаяся из крана струя воды (илл. 7). Эта вертикаль подхватывается двумя свисающими с неподвижной арочной сварной конструкции крюками строительных кранов, непонятно, как и зачем оказавшимися на своих позициях, поскольку никакой роли, кроме сугубо декоративной или символической, они там выполнять не могут. Но камера берет обоих героев чуть ниже, так что арка образует над ними некую ажурную имитацию небесного свода, и краны не могут не вызывать ассоциаций с подъемной силой. Крюка два – большой и маленький, – и они строго соответствуют позициям героев, большого и маленького, по обе стороны от водной вертикали. А на заднем плане кадр замыкает высотка – единственная вертикаль, доходящая от земли до неба.

Герои ссорятся. Саша, уже успевший, как ему кажется, овладеть искусством управления катком и «упорядочения материального мира», внезапно слышит от Сергея свое дворовое прозвище – «Музыкант» – оскорбление, специально придуманное, чтобы подчеркнуть его беспомощность в земном мире. Он вспыхивает и швыряет оземь батон – так, что хлеб оказывается не просто на асфальте, а на канализационном люке, ведущем в хтонические глубины бытия. Камера взмывает вверх, небо наконец исчезает из кадра, но водная вертикаль, организующая изображение, никуда не девается. Только теперь это вода, текущая по земле, и герои оказываются по разные стороны от этой

оси. Крюки загадочным образом меняются местами, так что маленький снова висит над головой у мальчика, а большой – за спиной у мужчины (илл. 8). В пылу ссоры Сергей привязывает хлеб к Оси Бытия, объясняя, что батоны «не на деревьях растут», и низвергает атрибут восходящего пути: «Твою бы скрипку об асфальт вот так». Затем он уходит вертикально вверх вдоль ручья, и мальчик, помедлив, трогается за ним следом. Следующая сцена будет организована вокруг мелового человечка с лесенкой знаков, а за той в свою очередь последуют гроза, разрушение ветхого мира и окончательное воцарение дружбы между мужчиной и мальчиком – и моста между землей и небом.

ВАДИМ МИХАЙЛИН

ЗНАКИ НА СТЕНЕ:
ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ АНДРЕЯ
ТАРКОВСКОГО И СОВЕТСКИЙ
NEW AGE



Илл. 8. «Каток и скрипка». Хлеб на асфальте.

Завершающей рамкой к эпизоду с грозой станет еще одна символически насыщенная сцена. И люди, и руины, только что загромождавшие кадр, вдруг куда-то денутся, и перед нами останется только снятое сверху обширное пустое пространство, закатанное в асфальт, через которое течет ручей дождевой воды. Изобразительный ряд, таким образом, отчасти повторяет финальный кадр, снятый на хозяйственном дворе, – но с существенными поправками. Во-первых, несмотря на полное отсутствие неба, обусловленное положением камеры, небесное присутствие в кадре очевидно: он буквально залит солнечным светом и весь организован вокруг мощного центрального светового блика. Во-вторых, исчезают обрамлявшие двор стены: пространство выглядит разомкнутым и едва ли не безграничным. В-третьих, ручей течет не по вертикали, а по горизонтали, разделяя экран на верхнюю и нижнюю половины. В-четвертых, зритель знает, что вода в ручье уже «воистину небесная», дождевая, да еще и насквозь пропитанная солнцем. В-пятых, он во-



ВАДИМ МИХАЙЛИН

ЗНАКИ НА СТЕНЕ:
ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ АНДРЕЯ
ТАРКОВСКОГО И СОВЕТСКИЙ
NEW AGE

очию видит процесс круговорота: вода, пришедшая с неба, активно испаряется, наглядно иллюстрируя одну из геноновских максим про переход от «нижних вод» к «верхним» обратно³⁰.

Илл. 9. «Каток и скрипка». Встреча через воду.

Илл. 10. «Каток и скрипка». Христофор.



Именно ручей становится местом встречи героев, каждый из которых занимает предписанную ему символическим сюжетом позицию на Оси Бытия. Сергей неподвижно стоит в нижней половине кадра, а сверху, очень издалека, к нему бежит Саша, уже облаченный в его куртку (илл. 9). Саша пересекает ручей в том месте, где сияет огромный солнечный блик, насту-

30 См. сн. 29 (Генон Р. *Символы священной науки*. С. 392). Дымокуры, изображающие в кадре водяной пар, выдают себя самым очевидным образом – но от этого режиссерские интенции, связанные с необходимостью демонстрации «обратного восхождения вод», становятся только нагляднее.

пив ровно в середину пятна и оставив в самом центре экрана расходящиеся круги воды и света. Персонажи коротко говорят между собой, после чего пересекают ручей – оба – в обратном направлении, вверх по центральной оси кадра, причем по дороге Сергей подхватывает Сашу и переносит его через воду – в чем нет никакой практической необходимости, поскольку Саша в акте катабасиса только что спокойно перебрался через него сам. Но анабасис, видимо, с неизбежностью должен содержать христологические аллюзии, и сюжет святого Христофора здесь в помощь (илл. 10).

Та же конструкция экранного пространства повторится в финальном кадре картины – в видении Саши, уже смирившегося с мыслью о невозможности воплотить сюжет мистической дружбы Катка и Скрипки в реальном мире. Будучи заперт мамой в квартире, он переживает опыт подключения к другой реальности, в которой свободно сбегает вниз по лестнице, где нет ни единого из привычных дворовых бесов. За дверью дома он сразу оказывается все на той же бескрайней заасфальтированной площади (в верхнем ракурсе, так что горизонталь и вертикаль в кадре оказываются перемещены в земную плоскость) и – быстро и беспрепятственно – совершает сначала катабасис, пробежав из правого верхнего угла в левый нижний, а потом анабасис – из правого нижнего в левый верхний. Путь вниз он преодолевает посуху, с едва намеченными на асфальте мокрыми пятнами, на пути вверх ему, как и положено, приходится пересекать ручей, чтобы догнать уже перебравшийся через него красный каток. Он догоняет каток и вместе с Сергеем уезжает из кадра (илл. 11). А на верхний берег ручья возвращаются вспугнутые катком голуби. Конец фильма.

ВАДИМ МИХАЙЛИН

ЗНАКИ НА СТЕНЕ:
ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ АНДРЕЯ
ТАРКОВСКОГО И СОВЕТСКИЙ
NEW AGE



Илл. 11. «Каток и скрипка». Финал.



Для Сергея финал наступает несколько раньше – и выглядит далеко не столь оптимистично. Прощав Сашу едва ли до самого начала сеанса возле положенной арки, он, в конце концов, разочарованно бредет к выходу и проходит сквозь полуприкрытые ворота: в большой и шумный – земной – мир. Где его ждет альтернатива: коллега по работе, которая всякий раз, появляясь в кадре, пыталась отвлечь его от общения с Сашей. Женские персонажи в «Катке и скрипке» практически без исключения несут в себе только негативные коннотации и выполняют роль препятствий на пути основного сюжета – сюжета обретения пути. Сманивающая Сергея на посусторонний путь асфальтоукладчица – только самый очевидный и частотный из этих «магических противниц». В наследство от Ламориса Тарковскому достаются мама главного героя и случайно встреченная девочка. Мама – непререкаемая властная инстанция, неотъемлемая от *human condition*, которая запирает Сашу дома, мешая мистическому слиянию восходящего и нисходящего путей³¹. Девочка – искушение, дублирующее для Саши «взрослый» сюжет Сергея. И если у Ламориса искушение трактуется метонимически, через флирт двух шариков, красного и голубого, то Тарковский подходит к реализации того же сюжета куда более наглядно, привлекая для этого очевидный библейский реквизит – яблоко. Заинтригованной девочкой, встреченной в коридоре музыкальной школы, Саша оставляет ей яблоко, но после урока выходит слишком расстроенным, чтобы обращать внимание на девочек. Это расстройство по своему уберегает его от еще более сильного разочарования, которое режиссер взамен предлагает пережить зрителю, фокусируя камеру на оставшемся от яблока огрызке. Еще две женщины – взрослые – встречаются Саше по обе стороны от двери в музыкальный класс. Та, что снаружи, ждет не его, а другого мальчика, даже младшего годами, чем Саша. Мальчик выходит с урока таким же расстроенным, он получил четверку. И мама утешает его, объясняя, что четверка – тоже вполне приличная оценка, как будто искусство можно творить на какой-то балл, кроме наивысшего. А для учительницы самое страшное, что есть в искусстве, – это фантазия. Ее метонимические образы – метроном и вода, запертая в хрустальном графине, – вполне достаточно комментируют ту функцию, которую она выполняет в сюжете фильма.

31 Кстати, этот – основной – сюжет присутствует в кадре еще в начале фильма в качестве обычной ламорисовской «подсказки пространства»: во дворе, где суетятся мелкие бесы и работают катки, на стене, в самом центре кадра в какой-то момент оказываются две встречные меловые стрелки, «затасованные» невнятицей прочих сигналов. Слой этого псевдодетского граффити здесь настолько плотен и хаотичен, что стрелки даже не пытаются маскироваться под координатные знаки. Они просто обозначают восходящую и нисходящую траекторию – и фиксируют их встречу.



ВАДИМ МИХАЙЛИН

ЗНАКИ НА СТЕНЕ:
ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ АНДРЕЯ
ТАРКОВСКОГО И СОВЕТСКИЙ
NEW AGE

Илл. 12. «Коток
и скрипка». Девочка
и меловой человек.

Женщины-искусительницы, женщины как препятствия и как живое воплощение покрова Иисуса – представительный символ этого мира, чья главная функция состоит в том, чтобы хватать героя за ноги и не давать ему уйти в трансцендентное далеко, – останутся в фильмах Тарковского навсегда, сказав свое самое веское слово в итоговых «Ностальгии» и «Жертвоприношении»³². Так что подборка афиш, развешенных у входа в кино-театр, перед ложной дверью в обиталище неправильных грез, сплошь состоит из фильмов о войне, предательстве и пустых соблазнах, на которых, с традиционалистской точки зрения, и держится этот мир. При том, что фильмы здесь представлены отнюдь не только локальные: помимо мосфильмовской «Повести пламенных лет» Юлии Солнцевой, здесь есть и «Йлзе» Роланда Калныньша (1959) – такая латышская вариация на тему «Партийного билета» Ивана Пырьева, – и венгерская лента

32 В «Жертвоприношении» женские персонажи настолько навязчиво демонстрируют шали и прочие занавески, что не обратить на это внимания не должен был бы даже главный герой фильма.



«Рассветает» Мартона Келети (1960) с самозабвенно просоветской версией подавления венгерского восстания 1956 года, и прочая, прочая, прочая.

Именно здесь зритель опять видит мелового человечка на стене. В первый раз тот являлся, чтобы прокомментировать сюжет Саши. Во второй – сводил в одном кадре обоих протагонистов. Здесь же он явлен одному Сергею, на стене, напротив кинотеатра, возле полузакрытых ворот, из которых мужчина до последнего ждет появления мальчика. И человечек этот неполный – ноги у него замазаны чем-то черно-серым, в цвет асфальта. Из ворот действительно выбегает ребенок (в глазах Сергея вспыхивает надежда) – но только девочка, спешащая с авоськой по каким-то своим, сугубо мирским, делам: в магазин, куда ее отправила мама (илл. 12). И, едва оказавшись в поле зрения героя, девочка останавливается, сворачивает к стене и напоказ добавляет пару штрихов в том месте, где у человечка должны были быть ноги. Сергей разочарованно разворачивается и вместе с девушкой, к которой отныне приговорен, идет ко входу в кинотеатр, где стоит на часах еще одна кого-то поджидающая женщина.

Итак, герои расходятся по своим половинкам Оси Бытия, но для зрителя эта история заканчивается обещанием выхода – пускай и в режиме чистого *Tagestraum*. Мечта и реальность несовместимы, но отменить мечту нельзя. И только благодаря ей, облаченная в символы и видения истина является в этот – неистинный – мир. Символистская природа финальной сцены в «Катке и скрипке» выглядит даже более демонстративной, чем по-детски сентиментальный и сказочный полет на шариках у Ламориса. Шариками Тарковский также не пренебрегает, расставляя их по своей картине как бы между делом, в качестве неявного *homage* Ламорису. Связка шариков комментирует первый опыт общения Саши с «многоаспектностью бытия» у зеркальной витрины. Девочка с двумя голубыми шариками наскоро проскакивает через кадр на фоне мелового человечка с лесенкой знаков как раз перед тем, как появятся и встанут по обе стороны от рисунка Сергей и Саша, – здесь отсылка к соответствующему сюжету в «Красном шаре» была бы вопиюще очевидной, если бы зритель вообще привык обращать внимание на быстро проскакивающих через кадр девочек. Желтым (Тарковский, судя по всему, терпеть не мог этот цвет) шариком жонглирует даже главный дворовый бес – и тоже скоротечно.

Но свой мост между землей и небом Тарковский явно намерен строить из куда более основательных материалов, чем летучие газы. Красный паровой каток, упрямо ползущий вверх, выбирает диагональ, противоположную той, по которой у Ламориса взбирается в небо связка шариков. А сияющая сталин-

ская пирамида в качестве репрезентативного образа Оси уже в следующем фильме Тарковского сменится полноценным Мировым Древом – сухим и нуждающимся в живой воде. И этот образ останется для режиссера ключевым до самого конца. В завершающем кадре «Жертвоприношения» – то есть, собственно, в последнем кадре, снятом Тарковским за всю его жизнь, – взгляд зрителя (и взгляд лежащего под деревом ребенка!) будет следовать вдоль сухого древесного ствола вверх до тех пор, пока в кадре не останется ни намек на землю, – а только дерево и залитая солнцем, миллионом бликов отражающая солнце поверхность вод.

ВАДИМ МИХАЙЛИН

ЗНАКИ НА СТЕНЕ:
ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ АНДРЕЯ
ТАРКОВСКОГО И СОВЕТСКИЙ
NEW AGE



АЛЕКСЕЙ
ЛЕВИНСОН

Тайное божество бюрократии



В комментариях по поводу арестов на январско-февральских митингах звучала мысль: дело идет к массовым репрессиям. Были и возражения: мол, массовые – это когда миллионы, а здесь «всего лишь» тысячи. Но, добавляли, эффект страха от этих тысяч теперь такой же, как от тех миллионов. Мне это уравнивание во всех отношениях, кроме одного, кажется не верным.

По многочисленным рассказам, мы знаем, что задержанным на митингах чаще всего вменяли в вину действия, которых они не совершали, и никогда – то, за что их в действительности хватили с той или иной мерой жестокости. Росгвардейцы и омоновцы крутили задержанным руки, били, иногда матерились, но не говорили, за что бьют. Не говорили в отделениях, за что задержали, не писали этого в протоколах и

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ
ЛИРИКА

в приговорах. Но и те, кого задерживали, и те, кто задерживал, знали: это за то, что ты показываешь нам, что ты против нас и, может быть, что ты за Алексея Навального.

С Навальным, кстати, то же самое. Он открыто заявлял, что против этой власти – и против того, кто ее возглавляет, говорил в адрес главного обвиненных слова, причем при свидетелях, сам все это записывал. Казалось бы, для следствия и суда нет ничего проще, как вменить ему эти действия – все документировано, свидетелей миллионы, умысел налицо. Но на суде ни одного раза не было сказано про эти инвективы, а судят его за никому не интересные давние дела с какой-то парфюмерной фирмой, и многие убеждены, что эти обвинения столь же выдуманные, что и в отношении участников протестов, наказываемых якобы не за протест.

Кого обманывают этой документально оформляемой массовой ложью? Ясно, что ни обвиняемые, ни обвиняющие не верят в формально выдвигаемые претензии. Не верят и третьи лица – будь то свидетели на улицах, читатели или зрители репортажей. Можно было бы подумать о каких-то наивных, ничего не знающих телезрителях и радиослушателях, которых власти хотели бы убедить в том, какие плохие люди – эти протестующие. Но таким зрителям и слушателям можно соврать что угодно, для этого не нужны ни протестующие, ни вынесенные им приговоры – достаточно лживых журналистов и редакторов. Словом, найти адресата этих обвинений и приговоров не удастся.

Вспомним теперь, что людям, которых арестовывали в годы именно *массовых репрессий*, приписывали диверсионные и враждебные действия как раз против Сталина и его режима. Сколько из них действительно были оппонента-

ми режима и Сталина? Думается, что ничтожно мало – настоящих врагов уничтожили на несколько лет раньше. Известно, что следователи придумывали или заставляли подсудимых придумывать фантастические преступления, которые те якобы совершали (или на которые покушались). Понятно, что и здесь ни обвиняемый, ни обвиняющий, ни «суд-тройка» не считали эти обвинения правдой. Но на то, чтобы выбить такое признание (или подпись подсудимого на чистом листе – измышления следователя потом будут туда вписаны), тратились не только силы, здоровье, а то и жизнь жертв – за что никто до сих пор не ответил, кстати, – но ведь и силы самих «сотрудников органов».

Меня интересует вопрос: зачем делалась эта нелегкая работа? Разве не мог следователь сам изобразить подпись, которую ставила рука избитого или запуганного, раздавленного человека? Разве стал бы тот суд сомневаться в ее подлинности? Но при всей простоте такого решения сведений о его массовом применении, кажется, нет.

Так почему же постсоветские карательные органы заведомой ложью, старательно, не жалея собственных сил, скрывают истинные мотивы действий как своих жертв, так и своих собственных, а придумывают и приписывают ложные, выдуманные? От кого они это скрывают, кого обманывают?

Ответ, что тогда «органы» обманывали Сталина, а теперь – Путина, не выдерживает критики, но интересен тем, что указывает на некую инстанцию, наделенную сверхчеловеческими чертами и лишенную каких-либо человеческих. Эта инстанция требует сведений о тысячах, а то и миллионах – притом не скопом, а по отдельности. И потому следователи, прокуроры и судья ведут

себя так, будто в этой инстанции будет прочтен каждый написанный ими протокол и приговор – иначе зачем они пишутся?

В этой инстанции – и только там! – все выдуманное, измышленное, полученное под пыткой и записанное на бумаге имеет статус правды, какой бы дикостью или глупостью это ни было. Записанное там никогда не подвергается сомнению и не проверяют – то есть верят всей этой лжи. Но, говоря «верят», мы подразумеваем некий, пусть очень странный и ущербный, но разум, а значит, и некое существо, которому он принадлежит.

Таким образом, мы вывели существование невидимого божества бюрократов; они ему служат, сами того не понимая. Если их спросить: «Зачем вы так делаете?» – они, если ответят, скажут: «Так надо». А кому надо и зачем, они не знают. Инстанция, которой служит силовая бюрократия, никогда не являет себя большинству из них, и только тот, кто вдруг оторопееет и спросит себя, что же он делает, на мгновение узрит эту страшную силу, живущую только ложью, не способную видеть и слышать правду.

Считается, что бюрократия служит рациональности. Но сказанного выше достаточно, чтобы заключить, что, хотя она вполне рационально служит власти, которая ей платит и дает привилегии, она окружает свою деятельность иррациональным ритуалом, или перформансом.

Другой институт иррационального перформанса – фальсификации на выборах. Кажется, что силовая бюрократия здесь ни при чем. В самом деле, школьные преподаватели без всякого насилия даже над собственной душой в темноте задних комнат избирательных участков массовым порядком серийно

совершают уголовно наказуемые деяния, никогда не неся за это ответственности. И совесть их не мучает, когда завтра они входят в класс и начинают учить детей быть честными и мужественными.

Но вот председатель комиссии на глазах избирателей запикивает пачку бюллетеней в урну. Вот на их глазах подъезжает автобус с «карусельщиками», вот подменили листы с результатами. Хочется спросить: не могли, что ли, сделать по-тихому? Почему так топорно, так грубо?

Ответ: потому, что именно в этом и есть ноу-хау последнего десятилетия. Назовем это цинизмом как средством побеждать. Взволнованному наблюдателю от КПРФ или «Яблока», на чьих глазах, лишь чуть прикрываясь, совершили подлог, дали понять: или сделай вид, что не видел, или пойми, что мы не очень-то и скрываем. Потому, что не в циферках дело. Мы правим не потому, что за нас проголосовали, а потому, что мы – сила. Уличай нас, сколько хочешь, – все равно будет по-нашему.

Ноу-хау гласит: силу надо показывать в форме дважды заведомой лжи. Дважды – потому, что это ложь, про которую и лгущий знает, что она ложь, и тот, кому лгут, но оба ведут себя так, будто это правда. И, пока лгущий сильнее, такая ложь его укрепляет – за счет усугубления слабости того, кому лгут.

«Левада-центр» (знаменитый «иностранный агент») после голосования по поправкам к Конституции, побеждавшего ковид лучше «СпутникаV», задал избирателям вопрос: «По вашему мнению, голосование было проведено честно или нечестно?». Ответы (в % ко всем опрошенным) представлены в таблице:

	Честно + Скорее честно, %	Скорее нечестно + Нечестно, %	Затруднились с ответом + Отказ от ответа, %
<i>В среднем</i>	48	40	12
18–24 года	31	65	4
25–39 лет	43	46	11
40–54 года	45	45	10
55 лет и старше	59	25	16

По результатам видно, что в эту процедуру поверило только большинство пожилых. В остальной части общества большинство не поверило. Ну и не надо! Для демонстрации силы через ложь важно, что в итоге результаты голосования приняты нацией. Сколько-нибудь серьезных волнений не было – дело забыто, ждем 2024 года.

Тому, кто демонстрирует силу именно таким способом, не важно, хорошо ли о нем думают те, кто смирился со сложившимся положением дел. Ему достаточно, что они сидят тихо. Но

главное – вся бюрократическая машина несколько месяцев вертелась для получения заданного результата, непрямого смысла в котором столько же, сколько в обсуждавшихся выше приговорах. Это проверка бюрократии на лояльность.

А для нас главное в том, что мы увидели и поняли: чем меньше честного прямого смысла, чем больше заведомой лжи, тем больше сила карательной и иной бюрократии в ее власти над нами. Так устроено царство ее невидимого божества – божества насилия.

ШТЕФАН
ВЕЙДНЕР

Вирус и террор: о невысказанных и пугающих сходствах между коронавирусным кризисом и «войной с террором»



Часть 1. Общество тотальной слежки?

В начале марта прошлого года, когда ситуацию с коронавирусом больше невозможно было игнорировать, я находился в Стамбуле, где работал над новой книгой. Речь в ней идет об 11 сентября 2001 года – о террористической атаке на Нью-Йорк и Вашингтон, положившей начало многочисленным актам насилия XXI века. В работе доказывается, что отголоски тех событий звучат до сих пор, а Усама бен Ладен и его террористы все-таки смогли реализовать многие из своих целей: они раскололи и радикализировали западные общества, стимулировали многочисленные рецидивы националистической и авторитарной политики во всем мире, дестабилизировали Ближний Восток. К концу февраля 2020 года США договорились с талибами о выводе войск из Афганистана – иначе говоря, самая долгая война в американской истории закончи-

**АРАБСКИЙ МИР
НА ФОНЕ
ПАНДЕМИИ,
ДЕСАКРАЛИЗАЦИИ
И ВОЙНЫ**



лась признанием того, что бывших спонсоров терроризма победить невозможно.

Но к моменту, о котором я здесь рассказываю, эта новость уже никого не интересовала. Коронавирус открыл новую эру, стерев память о том, что было раньше. Ажиотажный спрос на вирусологов вытеснил былой интерес к экспертам по исламу. В своей будущей книге я намеревался рассмотреть новый терроризм крайних правых вкупе с глобальным неравенством, «кризисом беженцев» и бездействием перед лицом климатических изменений. Теперь же вполне можно было начинать подыскивать новую работу.

Или же все-таки нет? Удивляло количество наблюдателей, особенно в США, которые сравнивали сентябрьскую атаку с начинающейся эпидемией, вписывая ее в новый исторический контекст. Аналогия казалась удачной, поскольку непосредственные эффекты двух событий были схожими: коллапс авиа-сообщения, закрытие границ, глобальный шок, нервозность рынков, ограничения в общественной жизни, общая неопределенность, ощущение эпохального исторического перелома. Бесспорно, эффекты коронавирусного кризиса ощущаются более остро, но зато последствия событий 11 сентября остаются более глубокими, чем кажется большинству людей.

Следовательно, перед нами встает вполне естественный вопрос: нет ли между этими двумя явлениями внутренней связи, не объединяют ли их какие-то общие причины и похожие следствия – нечто такое, что историки обозначают термином *longue durée*? И нам не мешало бы спросить себя, какие уроки могут быть извлечены из одного и другого. В зависимости от того, каким окажется ответ на этот вопрос, перед нами может открыться перспектива выработки новой, альтернативной, политики, не похожей на политику прошлого. Наконец, нам стоит выяснить, не сказались ли на реакциях, с которыми мы встретили нынешнюю эпидемию, поведенческие модели эры террора, сложившиеся за последние двадцать лет. Было бы странно, если бы они вообще не напомнили о себе. Но полезны ли былые реакции в новой обстановке, рожденной глобальной эпидемией?

Поразительный пример того, насколько глубока обычно игнорируемая связь между событиями 11 сентября и вирусным кризисом, продемонстрировал в самом начале эпидемии итальянский философ Джорджо Агамбен. Он опубликовал в итальянской коммунистической газете памфлет, в котором критиковал западные правительства за злоупотребление чрезвычайными режимами. Он обвинил их в том, что подобная мера требовалась им якобы с единственной целью – присвоить себе сверхординарную власть: «Терроризм, ссылаясь на который чрез-

ШТЕФАН ВЕЙДНЕР

ВИРУС И ТЕРРОР...

Штефан Вейднер (р. 1967) – немецкий исламовед, писатель и переводчик, член исполнительного комитета Немецкой академии языка и поэзии, лауреат премии шейха Хамада за перевод и взаимопонимание между народами (Катар, 2018). Среди его недавних книг: «Jenseits des Westens. Für ein neues kosmopolitisches Denken» (2018), «1001 Buch. Die Literaturen des Orients» (2019), «Ground Zero. 9/11 und die Geburt der Gegenwart» (2021).



вычайное положение оправдывалось раньше, исчерпал себя. Изобретение же эпидемии служит идеальным предлогом для того, чтобы продлевать его бесконечно»¹. Коронавирусная инфекция, по словам Агамбена, есть не что иное, как «самый обычный грипп».

Такая установка показывает, до какой степени реакция на вирусный кризис, причем со стороны даже лучших умов, была сформирована эпохой террора. Террористические акты действительно использовались как оправдание, позволяющее ущемлять базовые права людей и устанавливать особый порядок управления – нынешнее распространение таинственной болезни используется ровно таким же образом. Из этого сопоставления видно, насколько опасно автоматическое перенесение былых страхов в новые исторические декорации. Порожденное ими неверное понимание явлений может обернуться потерей множества человеческих жизней.

Агамбен – определенно не единственный из тех, кто поддался соблазну устаревших моделей интерпретации. Кроме того, он выражает вполне оправданное беспокойство. Его пугает, что настоящие чрезвычайные обстоятельства могут эксплуатироваться правительствами и государствами в собственных интересах, а также то, что власти, обращаясь к политике обмана, способны использовать сложившуюся эпидемическую ситуацию в качестве обоснования, позволяющего постоянно попираť основные права – как это происходит, например, в Венгрии.

В частности, весьма реальная опасность связана с защитой цифровых данных, с которой и до 11 сентября 2001 года дела обстояли из рук вон плохо. Теперь же, судя по всему, общее намерение состоит в том, чтобы «расслабиться» еще пуще, причем на добровольной основе. С этой целью была даже изобретена волшебная формула – *data donation*. Замысел здесь в том, чтобы граждане начали передавать свои личные данные заинтересованным структурам в качестве своеобразного пожертвования на доброе дело. Но как долго такие пожертвования смогут оставаться по-настоящему добровольными? Тех, кто решит воздержаться от участия в подобном предприятии, можно будет упрекать в отсутствии солидарности, а отсюда вытекает очевидная опасность того, что делаемое некогда по доброй воле на каком-то этапе и под предлогом чрезвычайно-го положения может вдруг превратиться в обязательное и легальное требование. Кроме того, не исключено, что собранные данные окажутся избыточными, то есть выходящими за рамки минимума, который требуется для борьбы с инфекцией. Изра-

¹ AGAMBEN G. *Lo stato d'eccezione provocato da un'emergenza immotivata* // Il Manifesto. 2020. 26 febbraio (<https://ilmanifesto.it/lo-stato-deccezione-provocato-da-unemergen-a-immotivata/>).

иль, в частности, уже отслеживает контакты инфицированных индивидов, опираясь среди прочего и на информацию, полученную оперативными сотрудниками в ходе контртеррористических операций.

ШТЕФАН ВЕЙДНЕР
ВИРУС И ТЕРРОР...

Кто-то может сказать, что и это, в принципе, неплохо. Но, предположим, вчера вы случайно пересеклись с «не той» личностью – человеком, инфицированным вирусом. И вот на следующий день, совершенно неожиданно, вы получаете текстовое сообщение от какой-нибудь спецслужбы, предписывающее вам незамедлительно уйти на двухнедельный карантин. И хотя непосредственно у вас инфекции может не быть, а теста вы не сдавали, но крупный штраф в случае несоблюдения карантинных мер окажется неизбежным.

Более того, в нынешние времена вас заставляют все время носить с собой мобильный телефон и никогда не отключать его. Это означает, что ваше местонахождение можно определить в любой момент. Тот, кто контролирует соблюдение вами установленных правил, будет присылать вам, причем нерегулярно и вразнобой, текстовые сообщения, на которые вам придется отвечать. Вы не сможете передать собственный телефон кому-то другому и тайно покинуть свое жилище, поскольку приложение запускается исключительно через сканирование отпечатков ваших пальцев или сетчатки ваших глаз. Мобильный телефон, который еще вчера был инструментом индивидуальной свободы, тем самым превращается в электронные кандалы. В Китае этот процесс идет уже полным ходом. Турция тоже недавно обязала всех инфицированных пользоваться отслеживающим приложением, фиксирующим их перемещения. Каждому, кто нарушает карантинные правила, высылается СМС-предупреждение.

Наиболее поразительным во всех этих веяниях представляется то, что наше здоровье внезапно оказалось приоритетом, подчиняющим себе все прочее. Разумеется, это рождает скептицизм: ведь до сегодняшнего дня нашей жизнью правили исключительно экономика и развлечения, а правительства при малейшей возможности сокращали расходы на общественное здравоохранение. Естественно, возникает вопрос: действительно ли меры, принимаемые в настоящее время, продиктованы искренней озабоченностью властей нашим здоровьем? Лично я думаю, что это действительно так. Главная цель, вне всякого сомнения, состоит в том, чтобы поддержать службы здравоохранения, которые никак не выдержали бы неконтролируемого разгула вируса. Но вместе с тем за реальной заботой об общественном здоровье скрывается еще один пункт повестки, представляющий собой серьезный вызов как для политики, так и для социума.



Мы видим, что сегодня вопрос об общественном контроле напрочь изгнан из сферы охраны здоровья. Обычно, когда все идет гладко, некоторые вопросы вообще не ставятся: так, во времена стабильности мало кто интересуется, каким образом социум спланируется и управляется или каковы минимальные требования, ограждающие нас от анархии на улицах или явления диктатора. Раньше подобные вопросы обсуждались в увязке с другими областями, которые считались «системно релевантными»: так, в 2008 году, когда многие финансовые учреждения оказались на грани банкротства, в указанной роли выступала экономика, а после террористических атак 2001 года – безопасность.

В нынешние времена вас заставляют все время носить с собой мобильный телефон и никогда не отключать его. Это означает, что ваше местонахождение можно определить в любой момент. Мобильный телефон, который еще вчера был инструментом индивидуальной свободы, превращается в электронные кандалы.

В борьбе за спасение нашей социальной системы от пандемии выделяются два особо важных игрока, которые конкурируют друг с другом. С одной стороны, это различные национальные государства, а с другой, – глобальные Интернет-гиганты, подобные «Google», «Apple», «Amazon», «Facebook». Только они имеют доступ к персональным данным, позволяющим осуществлять прямой контроль над людьми, попутно обеспечивая регулирование всего процесса.

Лишь в тот момент, когда оба эти элемента – личная информация и регуляторная власть – сходятся друг с другом, открывается возможность для столь жесткого контроля, который позволяет уберечь общественное здоровье от пандемии. Разумеется, сражаясь с терроризмом (или просто подсматривая за населением), многие государства и раньше тайком занимались мониторингом сетевого трафика, не извещая об этом ни граждан, ни Интернет-гигантов. Так в чем же разница? Специфика нынешней ситуации в том, что теперь граждане, попавшие под наблюдение, контролируются официально и легально: они знают, что находятся под надзором. Причем это не мелочь, а принципиальное отличие. Ведь на наши действия влияет только гласное и явное наблюдение; именно эта его разновидность заставляет человека приспособливать свое поведение

под стандарты, угодные государственной власти. За нами не просто наблюдают – на нас влияют и нами управляют.

ШТЕФАН ВЕЙДНЕР

ВИРУС И ТЕРРОР...

Бесспорно, подобное положение дел чревато злоупотреблениями, хотя его не всегда можно признать опасным. В настоящее время такие формы мониторинга, надзора и контроля помогают сдерживать распространение пандемии. По-настоящему угрожающей эта мера становится лишь в руках авторитарных и антидемократических режимов – особенно в тех случаях, когда их нельзя устранить посредством выборов процедур, как в Китае, России, Иране и многих других странах. В системах, подобных перечисленным, мониторинг здоровья людей подменяется фиксацией любых их перемещений. С помощью отслеживающих приложений деспотические режимы способны заставить любого индивида оставаться дома или в пределах строго очерченного пространства возле жилища. Не нужно ни тюрем, ни полицейских – по крайней мере, пока граждане подчиняются правилам. Ведь те, кто предпочитает пребывание в стенах собственного дома заключению в тюремной камере, составляют безусловное большинство.

Люди, проживающие в разных регионах планеты, сталкиваются, таким образом, с двумя фундаментальными вызовами одновременно, причем эти вызовы плохо совмещаются друг с другом. С одной стороны, нам приходится делать все возможное, чтобы сдерживать экспансию реального биологического вируса – это особенно важно в тех местах, где, как мы полагаем, его используют в качестве предлога, позволяющего претворять в жизнь авторитарную политику. С другой стороны, мы должны защищать себя и от вируса «подконтрольного общества» – вируса политического, «прикрепившегося» к биологическому вирусу, причем столь ловко, что многие люди его вообще не замечают. Более того, кто-то даже приветствует его. Чем скорее мы сумеем обуздать распространение инфекции естественными методами – то есть посредством осмозрительного, благоразумного и ответственного поведения, – тем меньше станет риск, что технологические средства, включая слежку, возьмут эту задачу на себя. Тем самым минимизируется и опасность того, что правительства, ссылаясь на эпидемию, продолжат ограничивать нашу свободу и экспериментировать с новыми технологиями слежения и контроля.

Наша хваленая свобода, наш прекрасный индивидуализм, наш замечательный стиль жизни в одночасье перестали быть «системно релевантными», и это не удивительно: они по определению своему и по природе своей противоположны государственному контролю и надзору над гражданским обществом. По мере развертывания нынешнего кризиса роль политики и предназначение государства свелись к их изначальным функ-



циям – к осуществлению надзора и поддержанию безопасности; а глубочайший шок, который сейчас испытывают многие граждане, связан с внезапным осознанием, что все прочее, по-видимому, никогда и не было по-настоящему важным – существовало только напоказ, только для красного словца.

Это наблюдение оказалось наиболее точным в тех областях, которым в обычное время приписывалось особое символическое значение и которые тем самым привлекали к себе повышенное общественное внимание. Речь идет о спорте и культуре. Эти сферы стали первыми сегментами социальной жизни, прекратившими нормально функционировать – их было легче всего свернуть и заморозить, причем неизвестно, удастся ли им когда-нибудь возродиться в своем прежнем великолепии. Тем временем нас одолевают весьма необычные вопросы. Насколько много спорта нам на самом деле нужно? Действительно ли невыносимо то, что мы перестали ходить на концерты, а также посещать кинозалы и музеи? Велика ли потеря, если мы не слышим, как авторы «вживую» читают собственные произведения, а актеры исполняют свои роли? И не перестанут ли правительства тратиться на культуру и искусство, если окажется, что мы вполне способны обходиться и без них?

**С помощью отслеживающих приложений
деспотические режимы способны заставить любого
индивида оставаться дома или в пределах строго
очерченного пространства возле жилища. Не нужно
ни тюрем, ни полицейских – по крайней мере, пока
граждане подчиняются правилам.**

И вирус, и терроризм можно представить в виде своеобразной призмы. Они расщепляют наши общества на спектральные цвета, показывая нам, кто мы есть, из каких элементов состоим, как работает «железо», скрытое под нашими привлекательными, но порой обманчивыми пользовательскими интерфейсами, и каковы наши подлинные приоритеты, остающиеся за рамками риторических конструкций, описывающих не реальное, а желаемое. И, пока этот спектральный анализ продолжается, мы озадаченно смотрим друг на друга, чешем затылки и задаемся вопросом: каким же будет мир, в котором мы прощаемся завтра?

Одно из самых поразительное сходств, сближающих коронавирусный кризис и последствия террористической атаки 2001 года, связано с сопровождающей их риторикой. Желая подчеркнуть серьезность сегодняшней ситуации, люди используют язык войны. Нам предстоит «победить» вирус – ровно так же, как двадцать лет назад мы «побеждали» террористов. «Мы на войне», – говорят политические руководители многих городов как в США, так и в иных местах. Билл де Блазио, мэр Нью-Йорка, в своем твиттере называл аппараты искусственной вентиляции легких «оружием», используемым в этой битве. Однако подобные сравнения нивелируют фундаментальное различие между аппаратами ИВЛ и боевым оружием: если первые спасают жизни, то второе их уничтожает.

Это сопоставление не только преуменьшает разрушительный потенциал реальных вооружений, но и свидетельствует о серьезной ущербности используемой нами лексики. А за этой ущербностью в свою очередь скрываются дефицит идей и отсутствие альтернатив. Та же нехватка новых подходов лежала в основе беспомощных и бессмысленных ответов на террористическую угрозу: единственно доступными решениями представлялись те, в которых ведущими акторами выступали полицейские и солдаты. Казалось, ничего больше в ответственные головы вообще не приходило. В Афганистане и Ираке этот дефицит идей обернулся опустошительными и в конечном счете провальными войнами.

Поддерживая разговоры о войне против коронавируса, нынешние правительства намекают на полнейшую уместность мер в стиле военного времени. То же самое происходило и два десятилетия назад, когда на фоне «войны с террором» внедрялось тотальное наблюдение за гражданами и приостанавливалось действие основных прав и свобод. Но в те времена правительственные новации напрямую затрагивали малое количество людей – например, тогда пыткам подверглись лишь единицы. Сейчас, однако, вводимые меры касаются персонально каждого. И поэтому без риторики войны было бы трудно убеждать людей в том, что их дома в какой-то момент могут превратиться в тюрьмы самообслуживания, а мобильные телефоны в электронные браслеты, – при том, что настоящих преступников сейчас в массовом порядке досрочно выпускают из тюрем из-за рисков, создаваемых инфекцией. Что за перевернутый мир!

Принято считать, что все это делается во благо – ради спасения человеческих жизней. Но разве в кризисных ситуациях может быть иначе? Даже придуманные американцами «рас-



ширенные методы допроса» использовались, по утверждению правительства США, сугубо для того, чтобы спасти людей, предотвращать дальнейшие террористические вылазки. Но, хотя такие параллели допустимы, важно подчеркнуть, что налицо и ключевые отличия: несмотря на наличие благородного предлога, пытки подозреваемых, по-видимому, не спасли ни единой жизни и не предотвратили ни одной террористической атаки. А вот домашний карантин, вероятно, жизни все-таки спасает.

Кто-то может сказать, что современная барабанная риторика не имеет отношения к провоцированию реальной войны – ее надо воспринимать метафорически, как средство подчеркнуть критичность ситуации. Но давайте вспомним, что все разговоры о «войне с террором» поначалу тоже были чистой метафорой. Особенность же метафор в том, что они могут генерировать изменение реальности: в них, как в реализующем себя пророчестве, фигура речи постепенно облекается в плоть. Существует несомненная опасность, что и метафора «войны против вируса» когда-нибудь эволюционирует тем же образом.

Тревога частично обусловлена тем, что нынешний вирус предстает таким же невидимым, нематериальным и вездесущим, как и терроризм после 11 сентября 2001 года. Символом эпохи стал так называемый «спящий террорист» – злодей, неприметно живущий среди нас и готовый осуществить внезапное нападение в любой момент. Поскольку в подобной роли подозревались преимущественно мусульмане, бесконечные разговоры о «спящих» разжигали антимусульманский расизм. В период с 2001-го по 2020-й такая риторика вылилась в подъём глобального белого правого терроризма, одним из проявлений которого стала трагедия, произошедшая незадолго до начала коронавирусной эпопеи в немецком городе Ханау². Бесспорно, терроризм, который никогда не был просто мусульманской проблемой, оказался столь же заразным, как и сам вирус, который невозможно считать исключительно китайской проблемой.

Терроризм и вирус в равной мере заразны, но есть одно интересное различие. Если террористическая угроза довольно долго ощущалась как опасность, создаваемая «другими», «приезжими», «иностранцами», но никогда не «нашими» (кто бы под таковыми ни понимался) или «нами самими» – ибо себя мы знаем, а «наши» на такое попросту не способны, – реальный вирус превращает в угрозу каждого (включая как нас самих, так и «наших»), причем происходит это вопреки нашему желанию, вне нашего контроля и без нашего ведома.

2 В феврале 2020 года в Ханау (земля Гессен) правый радикал застрелил девять человек в двух кафе, после чего покончил с собой. – *Примеч. перев.*

Таким образом, в современной ситуации каждый из нас оказывается потенциальным «спящим» – скрытой угрозой, против которой, собственно, и ведется антивирусная война. В свое время Зигмунд Фрейд говорил, что Эго не является хозяином в собственном доме, – сейчас все мы понимаем, что он имел в виду. Особенно тяжело принятие этого факта дается личностям, страдающим нарциссическим расстройством или манией величия. Они не хотят верить, что сами могут вдруг оказаться «спящими» – заражая других людей либо вирусом, либо своими комплексами. А когда таким людям достаются руководящие должности, они превращаются для своих обществ в такую же опасность, как и терроризм. В наши дни политики, подобные Дональду Трампу, Борису Джонсону или Жаиру Болсонару, подтверждают это чуть ли не еженедельно.

В распространении подобных умонастроений, однако, повинны не только самоуверенные деятели. Представители широкой публики тоже начинают отвергать «оскорбительные» подозрения в том, что их могут счесть носителями коронавируса; ведь сами они рассматривают себя как людей безупречных и безвредных. В этом видится еще одна поразительная аналогия с эпохой, наступившей после 11 сентября: она отсылает к чувствам многих приверженцев ислама, которые после террористических актов страдали от того, что их подозревают в симпатиях терроризму или в его поддержке исходя только из их мусульманской идентичности. Сейчас мы все неожиданно попали в положение тех самых голословно обвиненных мусульман, и нам тоже очень хочется заявить, что мы абсолютно безвредны и вполне «нормальны». Но каждый из нас, однако, все еще под подозрением; мы подвергаемся своеобразному коллективному заключению под стражу – нас подозревают в том, что несем в себе реальную угрозу, пусть не исламистскую, но вирусологическую. Для всех нас это весьма поучительный опыт.

Обращение к эпохе террора также убеждает в опрометчивости звучащих порой предположений, что вирус будет побежден в обозримом будущем. Уже сейчас ясно, что у болезни могут быть свои «волны» и «кластеры», а ее очаги будут вспыхивать, как лесной пожар – то там, то здесь. Даже если вакцина станет абсолютно доступной в течение ближайших месяцев, мы не должны слишком торопиться, чтобы не подвести нашу «охрану». В 2002 году талибы казались побежденными, но потом вернулись назад более сильными, принудив американцев к мирным переговорам. После того, как бен Ладена убили, его террористическая группировка «Аль-Каида» утратила былое значение. На ее месте, однако, возникло так называемое «Исламское государство» – террористическая ор-



ганизация, опирающаяся на методы, еще более жестокие, чем у «Аль-Каиды». В конечном счете терроризму удалось преодолеть предполагаемый культурный барьер между исламским и западным мирами – аналогичным образом и нынешний вирус преодолел биологический барьер между животными и людьми.

Несомненно, современная форма терроризма, принятая исламскими фундаменталистами, берет свое начало в Европе XIX века. Первоначально ее приняли на вооружение анархистские и националистические освободительные движения, желавшие привлечь внимание к своей борьбе и продемонстрировать хрупкость устоявшегося порядка. Это в свою очередь вдохновило антиколониальные кампании – например, борьбу алжирского «Фронта национального освобождения» против французского колониализма или еврейской организации «Хагана» против британского мандата в Палестине. Позднее из тех же образцов черпали энергию палестинские и многие другие партизанские группировки. В свою очередь, подобно заново импортируемому вирусу, родившийся в этих конфликтах терроризм со временем начал заражать и воодушевлять западные экстремистские движения – например, отстаивающих превосходство белых радикалов, практиковавших своеобразный «упреждающий» терроризм. Последние убеждены, что им необходимо защитить свой социум от «чужеродных» элементов или «деспотических» правительств, как о том громко заявили в своих манифестах исполнители терактов в Ханау в 2020 году и на острове Утойя в 2011-м³.

Последствия всего сказанного для современной ситуации выглядят так. В будущем обязательно появятся другие вирусы, а сам коронавирус будет воспроизводиться несколькими волнами. Он способен мутировать, поэтому вакцинации, возможно, не станут эффективным средством борьбы с ним, эпидемии будут вспыхивать в разных местах вновь и вновь, а это означает, что многочисленные антивирусные меры, недавно вводившиеся временно, превратятся в постоянно действующие. После 11 сентября 2001 года правительственные службы все время фиксировали угрозу терроризма; властям казалось, что сама жизнь вынуждает их безостановочно принимать те или иные антитеррористические меры – причем было даже не слишком важно, полезны ли они на деле, – чтобы тем самым сигнализировать о своем беспокойстве и подтверждать способность к действию. Похожим образом коронавирусный кризис превращает эпидемическую уязвимость наших обществ в первостепенную проблему человеческого

3 22 июля 2011 года правый радикал Андерс Брейвик совершил серию терактов в Осло и на острове Утойя. Погибли 77 человек. – *Примеч. перев.*

сознания, и некоторые политики обязательно будут использовать его в качестве предлога для популистской риторики, обосновывающей авторитарные меры хотя бы «для галочки» (среди таковых – закрытие границ, прекращение иммиграции, введение жестких локдаунов). Другие деятели, напротив, свяжут свое политическое будущее с освобождением от ограничительных противовирусных мер, продвигая так называемую «открытость» и настойчиво утверждая, что все не так уж и плохо. Мы уже видим, как это происходит. Интересно, что эти противоречащие друг другу политические реакции зачастую воплощаются в одном и том же деятеле: именно таков случай Трампа. Он пытался разыгрывать и «популизм здоровья», и «популизм открытости» – причем делал это одновременно. Общим знаменателем здесь выступали, с одной стороны, сам Трамп, а с другой стороны, популизм как таковой; ибо опытным путем не раз доказывалось, что популистов не очень заботит, насколько последовательны и непротиворечивы их утверждения.

Из приведенных мной примеров видно, что параллели между терроризмом и вирусом не ограничиваются лишь тем, что и то и другое, вне всякого сомнения, существует. Довольно близкими оказываются и наши способы борьбы с этими нападениями – включая слежку и сбор личных данных, использование административной или полицейской власти, применение милитаристской риторики, активацию популизма. Кроме того, в демократиях в особенности есть и еще один пункт сходства: предотвращение террористических вылазок и сдерживание вируса концептуализируются как форма войны, битвы, антагонизма. Это делается для нагнетания политических эмоций и чувств, позволяющего привлекать голоса избирателей. Такой подход подменяет объективное и беспристрастное рассмотрение событий, вскрытие их причин, извлечение из них уроков. Между тем сегодня уже понятно, что «война с террором», начатая в 2001 году, провалилась, запустив к тому же целую серию катастрофических событий. Поэтому весьма полезно твердо усвоить уроки терроризма, какими бы необычными и неудобными они ни оказались.

Чтобы адекватно реагировать на послания, которые несут в себе подобные кризисы, нам требуются концепции, выходящие за рамки конфронтации, войны и антагонизма. Но что же может выступить в роли необходимой концептуальной базы? Мы сталкиваемся с той же дилеммой, что и мэр Нью-Йорка: нам не хватает языка, нам не хватает альтернатив. Но по мере того, как мы начинаем понимать, что примитивная битва или открытая война не могут быть решением, в головах начинает вызревать осознание того, что правильный ответ следовало бы



искать в том, что противоположно сражению и конфронтации: в диалоге, переговорах, компромиссе, координации, солидарности, эмпатии.

В свете сказанного рассуждения о «войне против вируса» кажутся все более неправильными. Ведь «война», целью которой выступает исключительно минимизация жертв, не может быть героической: она основывается на принципе «возлюби ближнего своего» – и, таким образом, представляет прямую противоположность реальной войне. Однако война, лишенная героизма, по сути, абсурдна. Ей не хватает врага в облике другой личности, которую можно обвинять, которая внушает гнев и способна служить объектом ненависти; двадцать лет назад именно эту роль в совершенстве выполняли «мусульманские террористы» (или в глазах многих людей – ислам в целом). «Война с вирусом» является чисто риторической и по этой причине отчаянной и слабой, разновидностью «боя с тенью». Материальные жертвы, требуемые в этой войне от населения, помогают сократить число погибших. Но те, кому удастся выжить, остаются в неизвестности – они просто обезличенные цифры в статистических отчетах, хотя ограничения, налагаемые на повседневную жизнь индивидов, очень конкретны. По этой причине люди могут идентифицировать себя с тем, за что они «сражаются», лишь самым абстрактным способом – эмоциональности здесь вовсе нет. И сколько бы ни тиражировалась метафора войны, она не способна зажечь людей.

Для того, чтобы взять вирус под контроль, нужно отказаться от логики конфронтации. Вести переговоры с вирусом в каком-то смысле легче, чем с террористами, а в каком-то смысле, напротив, тяжелее. Проще – потому что вирус лишен какой бы то ни было ненависти к нам. Сложнее – поскольку вирус не может сказать, чего он хочет, ибо у него нет собственной воли. Тем не менее вирус преподносит нам важный урок – такой же зримый и убедительный, как и встреча с терроризмом в свое время. Его смысл прост: мы не в состоянии контролировать глобализацию, и как раз поэтому жертв и потерь так много – как в плане человеческих жизней, так и природной среды. Терроризм и вирус внушают мысль, что нам необходимо заставить глобализацию работать по-другому: более мягким и более деликатным образом, основанным на диалоге, – если этого не произойдет, она погубит нас всех.

Часть 3. Глобализация

Некоторые связи, сближающие 11 сентября и вирусный кризис, выходят далеко за рамки риторики войны. И планетарное

распространение вируса, и международный терроризм можно считать издержками глобализации. Это одновременно и продукты глобализации, и воздаяния за нее. Другими словами, глобализация – тотальная взаимозависимость наших обществ на международном уровне – высвобождает силы, работающие против ее собственного прогресса. Терроризм и вирус обращают глобализацию против себя самой, ставя ее под сомнение, а также изобличая ее риски и опасности, не поддающиеся управлению и контролю.

Не вызывает сомнений, что после преодоления коронавируса дискуссии о глобализации вспыхнут с новой силой. Их не придется организовывать специально – их естественным образом разожгут всемирные политические и экономические потрясения, которые, несомненно, нас ожидают. Представляется любопытным, что подобный разворот будет означать возвращение к дебатам, которые шли накануне 11 сентября 2001 года и породили такие явления, как экологическая программа Альберта Гора – кандидата от демократов на президентских выборах 2000-го – или антиглобалистские протесты 1999-го, сопровождавшие форум Всемирной торговой организации в Сиэтле. На новом витке, однако, ставки будут еще выше. Прежнюю дискуссию прервала террористическая атака на США – обсуждение проблем климата, и без того давно просроченное, из-за нее было отложено еще на полтора десятилетия. Экономика между тем извлекала выгоду из пришествия терроризма: внимание публики теперь сконцентрировалось на другом сюжете, что позволило насаждать глобализацию и дальше – пока она не стала казаться завершенной и необратимой.

Вышеупомянутая нехватка концепций, помогающих справиться с нынешними проблемами, самым непосредственным образом связана с прерванной из-за «войны с террором» общественной дискуссией. Девиз, который президент Джордж Буш-младший использовал в то время – «Кто не с нами, тот против нас», – не оставляет места для гибких ответов ни на терроризм, ни на коронавирус, ни на глобализацию. Но если до коронавируса проводилось жесткое разграничение между «нами» и гипотетическими «другими», то сейчас с вирусом пытается сражаться всякий – иными словами, каждый на «нашей» стороне. Многие считают это позитивным сдвигом, поскольку вирус объединяет человечество, а не обособляет народы друг от друга – но на деле это может оказаться плохой новостью.

Действительно ли позитивным было бы полное исчезновение точек соприкосновения между абсолютным «мы» консолидированного человечества и столь же абсолютным «другим» вируса? Если все человечество представляет исключительно «нас», то против кого же нам предстоит сплотиться? Опасность



состоит в том, что таким «врагом» могут объявить все нечеловеческое, имеющееся на планете Земля, а именно – окружающую среду и биоразнообразие. Если учесть, насколько хищнически род людской в последние десятилетия опустошал природный мир, то эта теория перестает казаться неправдоподобной. Так что не будем удивляться, что природа, словно вооружившись девизом «Кто не с нами, тот против нас», наносит сегодня ответный удар. Она, вероятно, права. Но, поскольку она не является носителем человеческих характеристик, мы не можем вступать с ней в переговоры, вырабатывать компромиссы или заключать перемирия. Следовательно, единственной опцией для нас остается более чуткое вслушивание в посылаемые ею сигналы и отказ от веры в то, что будто бы мы, опираясь на технологию и науку, способны выиграть сражение против нее.

Сегодня, разумеется, мы понимаем, что представление о «нас», включающее в себя только и исключительно человечество – чисто антропоцентрический гуманизм, – несостоятельно. К такому заключению с легкостью можно было прийти и до 11 сентября – и мы скорее всего осознали бы это, даже если бы нью-йоркские и вашингтонские теракты вовсе не случились бы. Терроризм и спровоцированная им агрессивная политика являются, по крайней мере отчасти, причинами того, что природа сейчас требует от нас весьма тяжелых жертв. Она «победила» нас еще до того, как мы обрели шанс на сотрудничество с нею – прежде, чем перед нами открылась возможность по собственному хотению и небольшими шажками заняться тем, что ныне приходится делать торопливо, без подготовки и в драматичных обстоятельствах. Чтобы защитить себя от нового «врага», нам пришлось пойти на уступки: например, мы перестали летать на самолетах и начали меньше потреблять. Интересно, что после 11 сентября 2001 года ситуация все-таки была несколько иной. Внедряемые тогда контртеррористические меры в основном ограничивались минимизацией тех свобод, которые некогда считались существенными исключительно для воображаемых «нас», живущих на Западе. Кстати, наиболее проницательные политические и общественные акторы начали в то время взаимодействовать с мусульманами, проявляя интерес к ним и налаживая диалог с ними.

Сегодня мы с неохотой, но признаем, что коронавирус сумел положительно и долгосрочно изменить многие наши привычки, подтолкнув среди прочего к значительному сокращению выбросов углекислого газа, становлению новой и удивительной солидарности между людьми, изменению жизненных приоритетов многих из них. Если бы под воздействием экологически ориентированной политики мы начали привыкать к менее

расточительному образу жизни десять или двадцать лет назад (пусть даже эта идея звучит утопично), то нынешние ограничения не показались бы нам слишком суровыми. Это настолько очевидно, что никто не решается говорить об этом вслух. Но тут как раз важно высказаться во весь голос. Поступая так, мы делаем заявление о том, что именно нужно будет предпринять, когда кризис закончится.

Политика, сформированная после 2001 года, напрямую повлияла на политический отклик на коронавирус и в другом отношении. Рост правого популизма в западных демократиях нельзя растолковать, если не обращаться к событиям 11 сентября. Ксенофобский дискурс популистов подпитывался сначала терроризмом, а потом нарастающей миграцией. Кризисы, вызванные наплывом беженцев, оказались в свою очередь прямым следствием дестабилизации Ближнего и Среднего Востока, произведенной «войной с террором». В свете же коронавирусного кризиса популизм – с присущими ему склонностью к преувеличениям и теориями заговора, презрением к науке, политической возбудимостью и преобладанием рефлекторных реакций – утвердил себя в качестве серьезной угрозы жизни и здоровью людей.

Имена политиков, которые своей деятельностью иллюстрируют все это, хорошо известны. Все они недооценивают или отрицают вирус, все они обращаются к радикальным мерам противодействия слишком поздно или не обращаются вообще, все они состоят в весьма непростых отношениях с истиной. Таким образом, способы, посредством которых различные страны справляются с коронавирусом, а также судьбоносные решения, принимаемые их политическими лидерами, оказываются следствиями того разлома в политике, который возник из-за 11 сентября 2001-го. Эта связь бесспорна для каждого, кто хочет видеть ее.

Исламский терроризм сам стал специфической реакцией на новую волну глобализации, поднявшуюся после 1989 года. На глубинном историческом уровне, следовательно, имеются многочисленные связи между колониальной глобализацией и антиколониальным противодействием ей. Колониализм играл ведущую роль в продвижении вирусной глобализации, извлекая из нее выгоду, – фактически он заставил глобализацию работать на себя. Почти полное уничтожение обитателей обеих Америк, говоря статистически, оказалось следствием не столько прямого колониального насилия, сколько инфицирования коренного населения вирусами и бактериями, к которым у них не было иммунитета.

Колониальное насилие прежних времен сделалось катализатором для терроризма, который нередко опирался на абсо-



лютно законные дискурсы антиколониального освобождения. Натиск же нашего нынешнего коронавирусного противника воспринимается как террористическая атака и сравнивается с актами террора. Страны Северного полушария не смогли обзавестись политическим и экономическим иммунитетом по отношению к этой вирусной Немезиде, а живущие в них люди не сумели оказать ей психологического сопротивления. Они отвыкли от подобной жизни – в отличие от людей Южного полушария, жертв колониализма и глобализации, китайцев, египтян, иракцев, сирийцев или афганцев, в чьей повседневности репрессии, комендантский час и отсутствие свободы были всегда.

Вирусность сама по себе – которую, кстати, можно трактовать не только в биологическом смысле, вместо этого видя в ней коммуникацию, трансфер идей, пропаганду, прозелитизм, фрейминг, – есть симптом модерности, который оформился в колониальный век. Имеет смысл присмотреться к теории, согласно которой модерность лучше всего описывать не в политических или экономических, а в вирусных терминах – в метафорическом плане соотношения идей и концепций. Она способна объяснить, почему эта эпоха идет рука об руку с ускоряющимися коммуникационными разработками, а также почему она столь ценит индивидуализированный обмен данными в реальном времени. Утверждение этой виртуальной, высокоскоростной вирусности в настоящий момент оборачивается для нас удачной позицией, позволяющей блокировать реальную, паразитическую, биологическую вирусность. Но, чем успешнее мы давим биологическую вирусность, тем быстрее поддаемся жаждущей все новых и новых данных медийной вирусности, вред от которой будет более разрушительным и непоправимым, чем ущерб от биологического вируса, уничтожаемого – в будущем – вакцинами. Несмотря на весь ужас нынешней эпидемии, заражение нашей политики «чрезвычайными полномочиями» и «тотальным контролем», используемыми для сражения с биологической болезнью, может оказаться гораздо более опасным – ведь против них не существует вакцин.

Но если вирусность как таковая предстает базовым принципом модерности и самой глобальной взаимозависимости, то не приходится удивляться, что она ускользает из-под контроля и оборачивается против тех самых граждан либеральных демократий, которые давно и успешно использовали ее ради собственных целей. Наблюдаемое ныне сопротивление, оказываемое биологической и паразитической вирусностью метафорической вирусности современности, не является чем-то новым: наше поколение не первым его на себе испытывает.

Нечто подобное затормозило ранний колониализм и, вероятно, отсрочило распространение модерности западного типа на целые столетия – в подтверждение тому можно сослаться на высочайшую смертность от тропических болезней, преследовавшую отправлявшихся в колонии европейцев. Распространение коронавируса стало биологической реакцией на глобализацию, а международный терроризм был политической реакцией на нее. Вопрос, который мы должны задать себе исходя из хроник нашей борьбы с террористической угрозой, заключается вовсе не в том, как полностью ликвидировать терроризм или вирус, поскольку цена, которую придется заплатить за это, будет (или уже стала, как в случае с терроризмом) за пределами высокой. Объявление войны, которая при отсутствии четко идентифицируемых целей не может быть безоговорочно выиграна, не является адекватным ответом. Думать надо лишь о том, как лишить биологический вирус, а также продемонстрировавший свои вирусные характеристики терроризм, нужных им для воспроизводства «резонансных камер» и возможностей развития.

ШТЕФАН ВЕЙДНЕР
ВИРУС И ТЕРРОР...

Несмотря на весь ужас нынешней эпидемии, заражение нашей политики «чрезвычайными полномочиями» и «тотальным контролем», используемыми для сражения с биологической болезнью, может оказаться гораздо более опасным – ведь против них не существует вакцин.

Другой вывод, который можно сделать, отталкиваясь от сравнения 11 сентября и коронавирусной напасти, заключается в том, что жесткая дифференциация между политикой и биологией, террором и вирусом имеет второстепенное значение и в конечном счете вводит в заблуждение. Она мешает правильному пониманию текущих событий и затрудняет извлечение уроков из одной ситуации ради применения их в другой. Кстати, один из уроков, который можно извлечь из событий 11 сентября, задействовав его в размышлениях о нашей долгосрочной борьбе с коронавирусным кризисом, заключается в следующем: мы должны слушать, что говорит (или пытается сказать нам) наш оппонент, причем здесь не имеет значения ни то, является ли этот оппонент террористом или вирусом, ни то, каким неудобным или даже неприемлемым для нас может поначалу показаться его сообщение. С позицией псевдовысокомерного невежества, которая культивировалась



после 11 сентября 2001 года, нужно покончить. Если единственный урок, извлеченный нами из прошлого опыта, состоит в том, чтобы продолжать вести себя точно так же, как прежде, а то и более ретиво, то это вообще никакой не урок. На карту сейчас поставлена сама способность – человеческих сообществ в целом и либеральных демократий в частности – учиться. Если они не научатся делать этого, то им не удастся выстоять под натиском авторитарных сил. На карту поставлено очень многое.

Часть 4. ВОПРОС ЛЕГИТИМНОСТИ

Терроризм роднит с вирусным кризисом еще одна особенность, без которой ни то ни другое не смогло бы появиться на свет – по крайней мере в том масштабе, который был продемонстрирован на практике. Я говорю сейчас о политическом факторе, а именно – о недемократической модели правления. Этот абстрактный тезис легко разъяснить: не исключено, что коронавирус удалось бы остановить гораздо быстрее, если бы китайские власти не скрыли первые сообщения своих медиков об этой болезни. Цензура же, разумеется, атрибут авторитарий, не обладающих демократической легитимностью. Иначе говоря, та же особенность, которая впоследствии позволила Китаю эффективно бороться с эпидемией – а именно, всесторонний контроль правительства над жизнью общества (за что, как ни парадоксально, Китай часто хвалят), – позволила вирусу беспрепятственно занять первые плацдармы, ибо китайские цензоры попросту скрыли ранние сигналы тревоги, поступившие от специалистов.

Имеет место также бесспорная связь между появлением исламского терроризма и деспотическими, недемократическими режимами мусульманского мира. Эти режимы оказались мишенями террора задолго до того, как боевики-исламисты обратились к целям на Западе. Сказанное в равной мере распространяется как на светские, так и на исламские государства – в частности, на Саудовскую Аравию, одного из главных оппонентов бен Ладена и «Исламского государства». Выход террора на международный уровень – как позже и всемирное распространение коронавируса – подпитывался режимами, лишенными демократической легитимности и народного признания: чтобы отвлечь оппозиционные движения от внутренних проблем, исламистскую идеологию превратили в предмет экспорта, вытеснив ее наиболее ярых представителей в подполье, за рубеж или в военные зоны вроде Афганистана и Ирака. Особенно преуспели в этом мусульманские страны, первыми

оказавшиеся на «линии огня», – прежде всего монархии Персидского залива. Именно из-за границы боевики, наподобие бен Ладена, начали искать новые цели для своих атак. Экспорт экстремизма и перемещение того, что было прежде внутренним терроризмом, в другие страны имели решающее значение для выживания этих режимов, их способности отразить критику и скрыть нехватку легитимности.

Эти наблюдения проливают свет на явление, редко освещаемое теми, кто пытается оценивать китайский ответ на эпидемию: дело в том, что экспорт вируса, а также распространение сопутствующих ему проблем обеспечили китайскому реагированию на него ретроспективную легитимность. О ней не могло быть и речи, если бы кризис *не экспортировали*. Иначе говоря, останься новая зараза внутри Китайской Народной Республики, ее можно было бы интерпретировать как исключительно китайский скандал. Тогда об эпидемии говорили бы как об аберрации, от которой демократические общества надежно защищены. Но сегодня все страны мира вынуждены принимать меры, подобные китайским, – и на этом фоне стратегия правительства КНР выглядит чуть ли не образцовой. Поскольку теперь вирус испытывает на прочность все политические системы без исключения, Пекину удалось избежать проверки своих ошибок.

Аналогичным образом превозносились (и даже сейчас порой превозносятся) те деспотические режимы, королевства и эмираты, которые сначала породили, а потом экспортировали терроризм. Их хвалят за беспощадность в борьбе с экстремистами – иначе говоря, за меры, которые, будучи воспринятыми как эффективные, были взяты на вооружение даже демократиями. Тот факт, что терроризм возник в этих государствах именно потому, что ими управляют деспоты, став ответом на этот деспотизм, был забыт в ту самую минуту, когда он превратился в международную проблему, а открытые общества тоже вынуждены были включиться в борьбу с ним. Сделавшись однажды «экспортным товаром», терроризм и вирус словно оправдывают те условия, которые их породили, придавая легитимность режимам, ею не обладающим.

Один из уроков «эры террора», способный помочь нам в ответе на коронавирусный кризис, касается принципа социальной дистанции: его следует соблюдать в наших взаимодействиях с недемократическими режимами, которые, стоит только приблизиться к ним слишком близко, заражают партнеров собственным отсутствием демократии. «Социальное дистанцирование» в отношении этих режимов, подобно социальной дистанции между людьми, не означает прекращения любого диалога с ними, ограничения всей торговли или прерывания



всяких человеческих контактов. Оно, однако, подразумевает сокращение зависимости от них, прозрачность и контролируемость связей с ними, а также создание своеобразных политических и экономических «шлюзовых камер», которые будут действовать как форма карантина: с их помощью можно пресекать ускоренные формы политического и экономического взаимодействия или перенаправлять контакты в особые буферные зоны. Кроме того, описанный подход заставляет демократические общества задуматься о гарантированной самообеспеченности в таких сферах, как медикаменты, продовольствие и энергия. Реальной опасностью, следовательно, чревато не перемещение людей, а движение товаров и капиталов, осуществляемое слишком либерально.

Если бы мы пошли по этому пути, скоро стало бы ясно, что мы слишком упрощаем себе жизнь, упорствуя в парадигме самодовольного либерализма и видя истоки проблемы исключительно в недемократической природе государств и систем, отторгающих либерализм. Вместо этого нам следует признать – что, собственно, терроризм и вирус и принуждают нас сделать, – что легитимность и нелегитимность в политических системах существуют в симбиотическом, а то и вообще в паразитическом отношении друг к другу. Они нуждаются друг в друге, а терроризм и вирус эксплуатируют этот симбиоз.

Принятие либеральных обществ населением – а оно, как известно, есть несущая опора легитимности – зависит от их достатка. Нынешнее богатство многих государств стало возможным только благодаря глобализации – или, говоря иначе, низким зарплатам в других странах. Правительства подобных государств не в состоянии предложить перспективу аналогичного достатка собственным гражданам (за исключением узкого меньшинства) и поэтому не могут завоевать легитимность тем же путем. Рассуждая упрощенно и полемично, вполне можно заявить, что либеральные общества Запада обязаны своей легитимностью авторитарным системам иных частей света.

В недемократических или не полностью демократических государствах легитимность, или принятие наличного положения вещей населением, обеспечивается по-другому – посредством обещания. Власти в подобных случаях сулят гарантии безопасности и порядка, необходимых для удовлетворения базовых жизненных потребностей граждан, но, помимо этого, больше ничего. Именно в данной точке возникает напряженность, а лучше сказать – конфликт, между этим весьма конкретным и скромным обещанием и гораздо более широкими и щедрыми посулами открытых обществ, готовых предоставить всем и каждому самые широкие возможности для самореали-

зации. Для того, чтобы комбинировать друг с другом два этих подхода – стабильный порядок и максимальную свободу, – надо достичь такого уровня благосостояния, который позволяет внушить населению, что, несмотря на озабоченность порядком и безопасностью, можно жить как хочется. Такое положение, однако, доступно лишь немногим обществам или странам, поскольку его поддержание обходится слишком дорого.

Чтобы создавать прибавочную стоимость, покрывающую издержки свободы и самореализации, обеспеченные общества вынуждены сохранять прочную зависимость от других обществ, которые *не в состоянии* жить так же. Именно эта проблематичная взаимозависимость либеральных и нелиберальных систем создает то сопряжение, с помощью которого терроризм и вирус перемещаются от одной формы общества к другой. На меки на ненадежность и утрату контроля, генерируемые терроризмом и вирусом, решительно подрывают легитимность тех режимов, которые не предлагают своим гражданам почти ничего – кроме гарантий порядка, безопасности и прожиточного минимума.

Но недостаток либеральных обществ напрямую зависит от стабильности этих систем – и, следовательно, от того, как они используют свои ограничительные и контрольные механизмы. Это в свою очередь превращает либеральные общества в соучастников насаждения автократии и цензуры – тех самых базовых условий, которые, собственно, и обеспечивают питательную среду для терроризма и вируса, позволяя им распространяться по всему миру. В случае же глобального «экономического дистанцирования», рекомендуемого сейчас многими политиками и экспертами, сохранение открытыми обществами той легитимности, которую обеспечило им нынешнее изобилие, окажется под вопросом.

Для большинства людей наиболее очевидным и ощутимым сходством их нынешнего положения с последним эпохальным сдвигом, который они пережили – с событиями 11 сентября 2001 года, – оказалась внезапная вездесущность государства. До недавнего времени государству в основном приходилось отступать и оправдываться – его стесняли идеологии, которые проповедовали освобождение от государственного регулирования как лекарство от всех мировых напастей. Но нынешние потрясения снова превратили государство в субъекта, определяющего «правила игры», и главного руководителя.

Коронавирусный кризис, однако, принес с собой и кое-что новое: по мере его развертывания государственная власть все более зримо вступала в статус тюремщика, охраняющего собственное население. Такое положение полностью противоречило либеральной концепции государства. Оно принялось



дисциплинировать людей, ради их собственного блага лишая их зримой толики свободного волеизъявления и навязывая такие формы поведения, которых они никогда не приняли бы добровольно. После 11 сентября подобная разновидность антагонизма между гражданами и властью вообще не наблюдалась. Интересно, однако, что нынешние ограничения некоторых базовых прав для большей части населения прошли незамеченными – в них, как правило, не видели такой же экзистенциальной угрозы, которая, безусловно, приписывалась самому коронавирусу, – многие люди их даже приветствовали.

Явный приоритет системы здравоохранения над прочими социальными сферами, единодушно принятый в большинстве стран мира, столь же логичен в свете эпидемии, сколь и парадоксален в контексте жесткой экономии последних лет и даже десятилетий. Неудивительно, что явная угроза человеческим жизням должна тревожить государство. Но этот факт не вызывает удивления только при поверхностном восприятии. Ведь раньше государство даже не пыталось вмешиваться во все ситуации, угрожающие человеку; зачастую у него не было средств для этого, а там, где необходимые возможности имелись, государственная власть соглашалась действовать с большой неохотой. Двумя примерами, хорошо иллюстрирующими сказанное, служат реакции властных систем на изменение климата и экологические проблемы.

{ Для государства внедрение новых форм контроля ради поддержания собственной легитимности представляется делом, гораздо более важным, нежели вопросы жизни и смерти людей.

Таким образом, не вызывает сомнений, что для государства внедрение новых форм контроля ради поддержания собственной легитимности представляется делом, гораздо более важным, нежели вопросы жизни и смерти людей. Сравнение с событиями 11 сентября подтверждает это. Терракты в Америке зафиксировали полнейший крах контрольных институтов США, причем он стал до непристойности очевидным для всех: атаки террористов в прямом эфире транслировались по всему миру. Это в свою очередь повлекло за собой подъем популизма, желание «вновь сделать Америку великой» и потерю разделяемого всем обществом представления об истине – как в США, так и в других странах.

Рассматриваемый в свете 11 сентября коронавирусный кризис оказывается тестом, проверяющим на прочность сувере-

нитет государства и потенциал его контроля. В тех случаях, когда государство теряло контроль над вирусом, а последствия вирусной атаки начинали определять государственную повестку дня и ее освещение в СМИ, оно вынуждено было демонстрировать могущество другими способами, порой чисто символическими, – например, вводя чрезвычайное положение. В связи с этим возникает опасность, что какие-то меры будут приниматься не потому, что они особенно эффективны против вируса, а из-за того, что они создают впечатление, будто государство вполне дееспособно и все держит под контролем. Этот курс, призванный противостоять эрозии легитимности, способен еще основательнее подорвать доверие граждан к государству.

ШТЕФАН ВЕЙДНЕР
ВИРУС И ТЕРРОР...

Часть 5. Национализм

Национализм, с новой силой вспыхнувший после 11 сентября и кризиса с беженцами, а также самодовольная фантазия о «блистательной изоляции» играют ключевую роль в том, что коронавирусный кризис повсеместно рассматривается как *национальная* проблема и преодолевается именно в этом качестве. В отношении многих стран весьма трудно понять, чем в большей степени вызвано закрытие их границ: озабоченностью общественным здравоохранением или же идеологическими мотивами? Вместо того, чтобы помогать тем, по кому эпидемия наиболее сильно ударила сегодня, но кто в свою очередь мог бы помочь другим завтра, европейские страны ввязались в бессмысленное медицинское, экономическое и политическое противоборство различных систем, соседствующих внутри Европы. Нынешняя активность Европейского союза угрожает основаниям протестантской экономической этики голландцев и немцев, а данные о количестве зараженных, ежедневно публикуемые Университетом Джонса Хопкинса и напоминающие таблицы спортивных чемпионатов, подпитывают дух систематической конкуренции. Тот, кто выйдет из кризиса наиболее сильным, станет победителем – такова преобладающая установка, какой бы нелепой она ни была, учитывая взаимосвязанность и взаимозависимость, торжествующие в нашем мире.

Одна из проблем здесь обусловлена тем, что усиление государственного контроля, сколь обнадеживающим оно порой ни казалось, обычно сводится к *национальному* контролю – с его помощью вновь прочерчиваются линии национальных границ и порождаются попытки преодолеть затруднения автономно, а не координированно. С этим необходимо что-то делать, причем как можно скорее. Кризис в сфере здравоохранения для



многих стран превратился в системный и экзистенциальный из-за того, что правительства с самого начала пытались разобратся с ним сугубо на национальном уровне.

Чтобы полнее оценить потенциал сотрудничества во время пандемии, стоит принимать во внимание временной фактор. Болезнь не вспыхивает повсюду в одно и то же время, но движется по планете волнами. Это означает, что в один и тот же момент времени различные страны страдают от вируса в разной степени. Кроме того, отсюда следует, что в системах здравоохранения наименее задетых стран зачастую имеются резервные возможности, позволяющие им помочь наиболее пострадавшим, которые позднее, по мере продвижения волны, помогут кому-то еще. Если бы удавалось обеспечить подобный тип международного медицинского сотрудничества, тогда каждая национальная система здравоохранения получала бы внешнее содействие именно в то время, когда заражение в стране достигало максимальной точки. Сказанное касается как защитного снаряжения, которое не требуется в одинаковых количествах везде и сразу, так и медицинского персонала, материалов для тестирования, аппаратов ИВЛ и тому подобного.

Разумеется, даже в случае более тесного сотрудничества и большей солидарности между нациями необходимо будет пресекать беспрепятственное распространение вируса. Вероятно, по-прежнему придется ограничивать свободу передвижения, включая и пересечение границ. Но, если ограничения, введенные, скажем, в Польше, Германии и Франции, были идентичными, трудно понять, почему их гражданам не позволялось пересекать национальные границы, разделяющие эти страны. Если же границы превращаются в баррикады, то неизбежным следствием оказывается то, что людей из других стран придется считать зараженными, а контактов с ними нужно будет избегать ради самозащиты. Закрытие границы питает фантазии, культивируя утопию клинической, культурной или национальной «чистоты», возрождая принципы самодостаточности и автономии, которые, казалось, навсегда отошли в прошлое.

Но что же можно предпринять вместо всего этого, чтобы обуздать распространение инфекции? Ответ прост. Мы должны следовать стратегии, очень похожей на текущую, но при этом связывая ее с иными целями, по-другому ее оформляя и продвигая. Так, выше упоминалось, что разумно было бы ограничивать путешествия и передвижения людей. Но, занимаясь этим, не нужно изображать перекрытие движения как национальную меру, не надо использовать государственные границы в качестве критерия приложения подобных мер, не стоит

приписывать этим условным рубежам значимость, которая перед лицом коронавируса или терроризма окажется еще более иллюзорной и обернется абсурдно высокими издержками, причинив еще больший ущерб.

ШТЕФАН ВЕЙДНЕР

ВИРУС И ТЕРРОР...

Идея, что нации должны выбираться из кризиса поодиночке, не просто предосудительна в моральном отношении, дорогостояща в плане экономики и опасна для общественного здоровья. Она, к сожалению, свидетельствует о том, что мы все еще не готовы прислушаться к вирусу, принять его «урок» и соответствующим образом изменить свое мышление. Мы знаем, что, путешествуя меньше, мы можем замедлить распространение инфекции; но нам известно также и о том, что это не имеет никакого отношения к государственным границам. Если же нации начнут закрываться именно с такой целью, то это обойдется им дороже, чем установление идеальных пограничных барьеров, которые не по плечу ни одному беженцу.

**Заккрытие границы питает фантазии, культивируя
утопию клинической, культурной или национальной
«чистоты», возрождая принципы самодостаточности
и автономии, которые, казалось, навсегда отошли
в прошлое.**

«Замораживание» трансграничных перемещений людей, введенное большинством стран, представляет собой косметическую меру, призванную, пуская пыль в глаза, убеждать граждан в том, что их правительства действительно что-то делают. Здесь разыгрываются идеологические, этнические, национальные предрассудки. Что еще хуже – подобная политика подчиняется этим предрассудкам, попадает в их ловушку, искусственно укрепляет их, наделяя потенциалом, которого на фоне заразности и невидимости вируса просто нет и не может быть. Таким образом, умонастроение такого рода сокращает диапазон действий, доступных для самого важного игрока – государства, – до узколобой защиты сугубо национальных интересов, игнорируя живую международную интеграцию и взаимозависимость стран и народов. А это ставит под угрозу не только бесперебойное снабжение населения жизнеобеспечивающими товарами, но и в целом экономику, которая ни в одной стране не сможет функционировать без проницаемости границ.

Наглядным примером в указанном отношении выступает туризм. Многие привлекательные для зарубежных гостей государства, из националистических соображений закрывающие



границы, подрывают собственные экономические основания. Гораздо уместнее, на мой взгляд, был бы более гибкий подход. Туристам из стран или регионов, где вирус удалось обуздать, можно было бы разрешить путешествовать в отдаленных или сельских регионах – таких, как побережья или острова, – в которых уровни заражения низки. А большие урбанизированные центры с высокой плотностью населения, напротив, стоило бы оставить закрытыми для приезжающих из-за рубежа, так как риск взаимного заражения там весьма высок.

Ограниченность чисто «национального» подхода, граничащую с глупостью, иллюстрируют, кстати, круизные лайнеры, которым начали отказывать в заходе в портовые гавани из-за того, что на борту может, мол, оказаться коронавирус. Причем это делалось и делается вопреки очевидному факту, что в большинстве мест на суше вполне можно организовать эффективный карантин. Но оставить большие пассажирские суда болтаться в открытом море не просто иммунологический популизм – это предательство всех цивилизационных ценностей, причем прежде всего тех, на которые ссылаются, оправдывая непопулярные меры типа требования оставаться дома: в частности, непререкаемой важности спасения человеческой жизни. Извращенная ирония подобного обращения с круизными лайнерами, как и его необычайное сходство с политическими мерами, предпринятыми после 11 сентября 2001 года, обусловлены тем, что остракизму прокаженных в нем подвергаются богатейшие обитатели Земли (а кто еще может позволить себе продолжать сейчас круизные путешествия?). Мы ведь привыкли к тому, что так обращаются с соискателями убежища, то есть с самыми бедными и обездоленными – спасательное судно с беженцами, которому отказывают в причале, стало чуть ли не символом наших дней.

Разумеется, между круизными теплоходами и лодками беженцев есть огромная разница, но в обоих случаях обращение с теми, кто нуждается в помощи, мотивируется одной и той же абсурдной логикой: верой в то, что можно предотвратить заражение – будь то опасным вирусом или же нищетой и страданием – посредством примитивной и антисоциальной пограничной политики. Иначе говоря, та же самая политика, которую некоторые богатые страны и раньше использовали, чтобы закрыться от беднейших слоев мирового населения и избавить себя от любых контактов с ними, сегодня обращается против наиболее богатых – как будто бы и она сама передается, подобно инфекции. Более того, она подвергает преуспевающих и благополучных такой же стигматизации и такому же остракизму, которые раньше предназначались только беженцам. Люди, которые могут позволить себе океанские круизы,

живут, как правило, за высокими заборами и в изоляции от нас с вами; но теперь остальной мир сам закрывает перед ними свои двери.

ШТЕФАН ВЕЙДНЕР
ВИРУС И ТЕРРОР...

Оснований для злорадства здесь, однако, нет, поскольку в обоих случаях мы имеем дело с одной и той же, причем дурной, ментальностью. Это умонастроение не только порочно – оно в любой момент может обернуться против тех, кто надеется эксплуатировать его и манипулировать им в своих корыстных целях, тех, кто полагает, что может маргинализировать других, оставаясь при этом в безопасности и покое, недостижимым для нищеты, террора, тирании, войны или вируса.

Когда речь идет о борьбе с вирусом, нет более глупой политики, нежели та, которая разделяет людей. Такая политика уже продемонстрировала свое бессилие в войне против террора.

Становится все более очевидным, что эта ментальность и основанная на ней политика могут обрушиться на любого, даже на богатых и сытых. В свете сказанного принятие подобных установок в качестве основополагающих принципов иммунологической политики, лучше всего способной нас защитить, – вопиющая глупость. И – хотя, как было сказано выше, ограничивать путешествия и контакты между людьми в краткосрочной перспективе вполне разумное дело – ни допуск круизных судов и лодок с беженцами в порты, ни восстановление междуграничного транспортного сообщения на локальном уровне, ни освобождение имеющихся лагерей беженцев посредством разрешения их обитателям поселиться в богатых странах никак не испортят эпидемической обстановки где бы то ни было. Но зато все это стало бы мощным символом международной солидарности, которая нам отчаянно необходима. Мы тем самым укрепили бы универсальные ценности, о защите которых много говорится на национальном уровне. Если же мы рассматриваем их как *исключительно национальное* достояние, то наша позиция оказывается несостоятельной: ведь универсальные ценности по самой природе своей приложимы к каждому.

Наконец, несколько слов в заключение. Когда речь идет о борьбе с вирусом, нет более глупой политики, нежели та, которая разделяет людей. Такая политика уже продемонстрировала свое бессилие в войне против террора. Причем она не просто провалилась – она породила новый терроризм в форме как «Исламского государства», так и крайне правого экстре-



мизма, ныне становящегося глобальным явлением. Нынешняя политика преодоления коронавирусной инфекции грозит посеять семена чего-то очень похожего: она способна разбудить старый вирус изоляционизма, глубоко сидящий в наших общественных системах. Именно с этим вирусом – который, как показывают войны XX века, намного страшнее, чем любой коронавирус, – нам предстоит сражаться в предстоящие годы и десятилетия. И если мы не преуспеем, то перевернутый мир, в котором мы жили с момента обнаружения коронавирусной заразы, а может, и с 11 сентября 2001 года, станет для нас постоянной реальностью.

*Перевод с английского Андрея Захарова, доцента
факультета истории, политологии и права РГГУ*

Королевство Марокко, бюрократизация ислама и новая «арабская весна»¹

АНДРЕЙ
ЗАХАРОВ,
ЛЕОНИД
ИСАЕВ

Минувшие два года, 2019-й и 2020-й, были богаты на события, которые с полным основанием можно вписать в хронику продолжающейся «арабской весны». Даже беглый обзор произошедшего показывает, что созданная ею и без того огромная зона нестабильности еще более расширилась: спокойствия не прибавилось почти нигде, но зато социальная смута перекидывалась на все новые и новые регионы. С самого начала 2019-го кипели беспорядки в Алжире: там беспокойным студентам поначалу удалось отвергнуть притязания президента-инвалида на пятый срок, потом объявить о недоверии всем его сподвижникам, а затем организовать бойкот выборов нового главы государства. В апреле суданская армия под давлением осаждавших ее казармы разгневаннх толп бескровно свергла президента страны, после чего попыталась подавить уходящую из-под ее контроля народную инициативу – и не слишком преуспела в этом, в июле вынужденно допустив представителей протестующих к дележу власти. В мае в отставку ушел премьер-министр Мали: если семь лет назад предыдущая «арабская весна» спровоцировала в этой африканской стране восстание кочевников-туарегов, которое удалось остановить только после внешнего вмешательства, то теперь правительство свергли многотысячные демонстрации местных граждан, возмущенных неспособностью властей покончить с межэтническим насилием. Наконец, в самый канун нового года вдруг напомнили о себе столь разные арабские страны, как Ирак и Ливан, где вспыхнули невиданные по массовости и ожесточению бунты, успешно сметавшие премьер-министров и их кабинеты. Следующий, високосный, год как будто бы подхватил эстафету, раздувая старые очаги напряженности еще пуще: без остановки лихорадило улицы и площади Ливана и Ирака, гражданские войны терзали Ливию и Йемен, периодически напоминали о себе протестные движения Алжира и Египта, продолжалось вялое «умиротворение» Сирии. Как и следовало ожидать, начавшаяся в 2020 году пандемия ничуть не способствовала стабилизации беспокойного региона.



Андрей Александрович Захаров (р. 1961) – политолог, редактор журнала «Неприкосновенный запас», доцент Российского государственного гуманитарного университета.

Леонид Маркович Исаев (р. 1987) – арабист, доцент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге, научный сотрудник Российского университета дружбы народов.

1 Исследование выполнено в рамках проекта РНФ № 19-18-00155.



ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ?

В принципе, можно попытаться представить себе будущую направленность этого общеарабского процесса: он едва ли не идеально вписывается в логику крушения несостоятельной государственной власти, которую еще в XIV веке описал арабский теолог и философ Ибн Халдун². История мусульманских стран, по его мнению, воспроизводит одну и ту же закономерность: правящий класс, с течением времени обретая безраздельную власть, разрастается численно и расширяет свои потребности, а это снижает его способность адекватно реагировать на истощение общественных ресурсов и ослабление собственного авторитета. Властная монополия, как и любая другая, оборачивается загниванием; в результате попытки правящих групп убедить в своей политической мощи и незаменимости внешний мир и своих подданных, сопровождаемые подкупом приспешников, могут лишь отсрочить смену власти, но не предотвратить ее. Применительно к нашим дням это означает, что очистительная работа революционеров первой «арабской весны» была предопределена, но завершилась только отчасти – и поэтому скорее всего будет продолжена.

Однако, обозревая карту арабской «политической уборки» начала XXI века, наблюдатель сразу же обращает внимание на обширные белые пятна, пока всерьез не затронутые панарабской трансформацией. В частности, среди стран, для которых политическая оттепель еще впереди, выделяются две монархии, находящиеся на разных континентах, но при этом объединяемые некоторыми общими особенностями, – это Иордания и Марокко. Со времен «арабской весны» спорадические вспышки возмущения наблюдались в обоих королевствах неоднократно, активируя различные социальные группы и слои. Как и жители других арабских стран, марокканцы и иорданцы в 2010-х годах не раз выходили на улицы, протестуя против коррупции и требуя социальных реформ, а полицейский спецназ разгонял их с большей или меньшей жестокостью. Власти королевств откликались на тревожные события с разной степенью политической виртуозности, что-то лучше получалось в одной стране, а в чем-то опережала другая – но всякий раз им удавалось локализовать и подавить протесты. Разумеется, тот факт, что обе государственные системы, в отличие от своих менее удачливых соседей, по-прежнему вполне твердо стоят на ногах, не может не возбуждать интерес специалистов.

2 Подробнее см.: TURCHIN P. *Historical Dynamics: Why States Rise and Fall*. Princeton: Princeton University Press, 2003. P. 38–40. Автор этой книги предлагает математическое обоснование теоретических построений арабского мыслителя. См. также: КОРОТАЕВ А. В. *Долгосрочная политико-демографическая динамика Египта: циклы и тенденции*. М.: Восточная литература, 2005.

При этом некоторые из них, анализируя политику адаптации двух королевств к революционным веяниям, отодвигали земные объяснения беспрецедентной везучести двух монархий на второй план: по их мнению, главнейшим фактором, не позволяющим оппозиционным силам настаивать на радикальной смене режимов, выступает не что иное, как солидная религиозная родословная правящих династий, напрямую отсылающая к «небесному мандату» и сакральной природе их власти³. Подобная логика, по-видимому, подразумевает, что с прямыми наследниками Пророка нельзя обращаться как с «обычными» диктаторами: они требуют особого подхода, и это, как предполагается, весьма смущает потенциальных бунтовщиков.

Но так ли это? Подобное мнение представляется нам ошибочным, поскольку принцип неприкасаемости в отношении венценосцев даже с такой почтенной родословной работает не всегда. Опровержение упомянутой гипотезы базируется на двух основаниях: первое можно условно назвать политико-практическим, второе – религиозно-доктринальным. Соответственно, факты, подкрепляющие аргументацию первого рода, свидетельствуют о том, что родословная, отсылающая к самому Мухаммаду, ни в давние, ни в нынешние времена не выводила представителей двух интересующих нас династий из-под действия элементарных законов борьбы за власть. Они не только становились жертвами политических интриг тех, кто оспаривал их доминирующее положение, но и порой погибали от их рук – как самые обычные смертные. Несомненно, и марокканские, и иорданские венценосцы целенаправленно использовали религиозные ритуалы и институты для упрочения собственной власти. Так, иорданский король Хусейн постоянно подчеркивал свою роль хранителя мусульманских святынь Храмовой горы в Иерусалиме, а при марокканском короле Хасане II государство ежегодно публиковало его генеалогию, ведущую прямоком к основателю ислама. Но любопытно, что редкостные родственные связи, которые, по идее, должны были бы вселять безграничное почтение в сердца суннитов, никоим образом не мешали политическим оппонентам или даже просто убийцам, которые чаще всего тоже оказывались мусульманами.

Кроме того, власть прямых потомков Пророка никогда не была безграничной, поскольку внутри исламской политико-правовой системы – вопреки мифу об абсолютной, безобразной и кровавой восточной «деспотии в тюрбане», сконструиро-

**АНДРЕЙ ЗАХАРОВ,
ЛЕОНИД ИСАЕВ**

КОРОЛЕВСТВО МАРОККО,
БЮРОКРАТИЗАЦИЯ ИСЛАМА
И НОВАЯ «АРАБСКАЯ
ВЕСНА»

3 См., в частности: Демченко А.В. *Затянувшаяся «весна» в Иордании // Системный мониторинг глобальных и региональных рисков. Арабский мир после Арабской весны* / Отв. ред. А.В. Коротаев, Л.М. Исаев, А.Р. Шишкина. М.: УРСС, 2013. С. 85–106; Кузнецов В.А. *Парадоксы развития арабских политических систем* // Вестник МГИМО-Университета. 2018. № 5(62). С. 23–48; Орлов В.В. *Марокко на фоне «арабских революций»: факторы устойчивости власти // Протестные движения в арабских странах: предпосылки, особенности, перспективы* / Отв. ред. И.В. Следзевский, А.Д. Саватеев. М.: URSS, 2012.



АНДРЕЙ ЗАХАРОВ,
ЛЕОНИД ИСАЕВ

КОРОЛЕВСТВО МАРОККО,
БЮРОКРАТИЗАЦИЯ ИСЛАМА
И НОВАЯ «АРАБСКАЯ
ВЕСНА»

ванному в эпоху Просвещения, – всегда работали сдерживающие механизмы, своего рода мусульманские сдержки и противовесы, которые эффективно лимитировали неограниченных, казалось бы, властителей. Их действие в разные времена довелось испытать на себе обеим правящим династиям – и Алауитам, и Хашимитам, – подобно тому, как в плену тех же сдержек и противовесов до самого краха Османской империи был вынужден действовать и турецкий султан в своей ипостаси халифа, духовного лидера всех правоверных-суннитов⁴. Главным принципом этой системы, многократно исследованной и описанной, было то, что никакая родословная не дает владыке право делать все что заблагорассудится. Разрушение же этой системы началось лишь в XX столетии.

Власть прямых потомков Пророка никогда не была безграничной, поскольку внутри исламской политико-правовой системы всегда работали сдерживающие механизмы, которые эффективно лимитировали неограниченных, казалось бы, властителей.

Кстати, ссылки на исламскую систему сдержек и противовесов ведут нас ко второй линии аргументации, которая выше была названа религиозно-доктринальной. То обстоятельство, что суннитская общественно-политическая мысль – в отличие от мысли шиитской – всегда считала публичную власть предметом не религиозной догматики, а исламского права, заземляло и профанировало ее, превращая в предмет мирского регулирования и контроля. Весьма распространенной среди суннитов точкой зрения, разработанной еще в начале XI века мусульманским правоведом Абу-ль-Хасаном аль-Маварди, является представление об Аллахе как о верховном носителе суверенитета⁵. Опираясь на его имя и руководствуясь его поручением, власть на земле реализует умма; в исламской юриспруденции для описания этого явления применялось понятие «отражение суверенитета Аллаха». Понятно, что подобный суверенитет является неотчуждаемым. Суверенные же права уммы выражаются прежде всего в ее способности избирать себе правителя, которому мусульманская община лишь вверяет право управлять собой. Из-за того, что порядок замещения должности главы исламского государства не был строго

⁴ Подробнее об этом см.: FELDMAN N. *The Fall and Rise of Islamic State*. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2008.

⁵ См.: АБУ-ЛЬ-ХАСАН АЛЬ-МАВАРДИ. [Властные нормы и религиозные полномочия.] Бейрут: Дар ал-кутуб ал-илмийа, б.г. (на арабском языке).

определен ни Кораном, ни Пророком, мусульманские правоведы в большинстве своем сходились в мысли, что пост халифа достается соискателю в силу *байа* (договора), заключаемого между уммой и претендентом на халифат.

В соответствии с подобным договором правитель несет личную ответственность перед общиной за осуществление власти и вправе требовать от нее беспрекословного подчинения, которое, однако, обусловлено тем, что сам он должен неукоснительно следовать предписаниям шариата. Именно этот принцип позволяет мусульманам выступать против халифа в тех случаях, когда владыка пренебрег нормами шариата, перестал руководствоваться интересами подданных или советоваться с ними. Суннитская политико-правовая культура особо подчеркивает, что «власть главы государства не абсолютна, он не пользуется какими-либо привилегиями или иммунитетом, а так же, как и простой мусульманин, подчиняется нормам шариата и может быть наказан за любой проступок»⁶. Отсюда, кстати, вытекает не менее важный для нашего исследования принцип суннитской политической теории, в соответствии с которым правитель, даже отправляя религиозную власть в государстве, персонально тем не менее лишен божественной природы. Иначе говоря, происхождение от самого Пророка отнюдь не означает для его потомков личной божественности – со всеми вытекающими отсюда политическими последствиями.

Практика, обобщенная аль-Маварди, соответствует обыкновениям начального периода становления исламской власти, наступившего после смерти пророка Мухаммада. Однако, несмотря на прошедшее тысячелетие, современное осмысление положения правителя в исламском государстве, включая приписывание ему божественных функций, отнюдь не смягчилось, но, напротив, сделалось еще более строгим. Так, в XX веке египетский религиозный и общественный деятель Мухаммад Рашид Рида – один из самых известных сторонников возрождения халифата и идеолог движения «Братья-мусульмане», – развивая идею об изначальной неполноте могущества, которым обладает мусульманский правитель, не только сокращал его светские полномочия, низводя их, по сути, до компетенций «обычной» исполнительной власти, но и ограничивал его религиозные функции сугубо защитой веры и воплощением норм шариата. При этом особо подчеркивалось, что «халиф не властен над мусульманами в религиозных делах и не его прерогативой является толкование для них Корана»⁷. Другой

АНДРЕЙ ЗАХАРОВ,
ЛЕОНИД ИСАЕВ

КОРОЛЕВСТВО МАРОККО,
БЮРОКРАТИЗАЦИЯ ИСЛАМА
И НОВАЯ «АРАБСКАЯ
ВЕСНА»

6 Сюкияйнен Л.Р. *Исламская концепция халифата: исходные начала и современная интерпретация* // Ислам в современном мире. 2016. Т. 12. № 3. С. 143.

7 Мухаммад Рашид Рида. [Халифат, или Великий имамат.] Каир: Аз-Захра ли-л-илам ал-арабий, 1994 (на арабском языке).



АНДРЕЙ ЗАХАРОВ,
ЛЕОНИД ИСАЕВ

КОРОЛЕВСТВО МАРОККО,
БЮРОКРАТИЗАЦИЯ ИСЛАМА
И НОВАЯ «АРАБСКАЯ
ВЕСНА»

исламский мыслитель-модернист Али Абд ар-Разик, которого порой называют основателем исламского секуляризма⁸, и во все возражал против обязательности халифата, всецело относя вопрос о форме правления к сфере политического. По его мнению, миссия пророка Мухаммада носила узко религиозный характер и была целиком и полностью выполнена им самим, а это означает, что в религиозном плане у него вообще не может быть преемников. Иначе говоря, «со смертью Пророка религиозное лидерство прекратило свое существование и появился новый тип руководства общиной – политический»⁹. По мнению Абд ар-Разика, первый праведный халиф Абу Бакр уже был исключительно политическим лидером, лишенным какого бы то ни было ореола божественности.

Рассмотрев возражения против принципа неприкасаемости в самом обобщенном виде, можно обратиться к тому, как они подтверждались практическими частностями, запечатленными в политико-религиозном функционировании одной из династий, ведущих свою родословную от самого основателя ислама, а именно – марокканского дома Алауитов.

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БОГОИЗБРАННОСТИ

Вопреки своему сакральному происхождению и многовековой истории власть султана Марокко в период, предшествовавший установлению в 1912 году французского протектората, была гораздо скромнее, чем власть марокканского короля сегодня. Несмотря на то, что султан признавался неоспоримым носителем божественной благодати (*барака*), он тем не менее не был единоличным обладателем духовной власти: за ним закреплялось лишь полномочие быть имамом на пятничной молитве¹⁰. Такое положение вещей сохранялось вплоть до 1957 года, когда султанат был преобразован в королевство. На протяжении всей марокканской истории монарха ограничивал совет племенных вождей, спектр компетенций которого подразумевал не только выбор наследника престола, но и – иногда – лишение султана полномочий. Более того, у владыки не было даже права интерпретировать исламские законы: оно закреплялось за улемами – учеными-богословами, – а судебная власть до середины XIX века осуществлялась судьями, назначаемыми не

8 См.: ЕФРЕМОВА Н.В. *Али Абдарразик как родоначальник секуляризма в исламе* // Ислам в современном мире. 2018. Т. 14. № 3. С. 93–114.

9 Али Абд ар-Разик. [*Ислам и основы власти.*] Бейрут: Ал-Муассаса ал-арабийя ли-л-дирасат ва-н-нашр, 1972 (на арабском языке).

10 См.: *Современная Африка: итоги и перспективы развития. Эволюция политических структур* / Под ред. А.М. Васильева. М.: Наука, 1990. С. 209.

властителем, а верховным судом города Фес, духовной столицы Марокко. Соответственно, выносить решения по наиболее важным вопросам внутренней и внешней политики султан мог, лишь заручившись одобрением со стороны совета улемов, которое фиксировалось в соответствующих фетвах.

Исламское духовенство и племенная знать, бесцеремонно оттесняя богоизбранных владык, продолжали вмешиваться в политику и в Новое время. После того, как в 1894 году султанский трон унаследовал малолетний Абд-аль-Азиз, страна вступила в период, получивший название «прелюдии к протекторату». Его лейтмотивом марокканский историк Абдалла Лару называет анархию: в 1904–1907 годах юный потомок Пророка, абсолютно не умеющий управлять – интересы султана ограничивались техническими новинками, получаемыми из Европы, и женщинами, которых в его гареме всегда было не менее двухсот, – неоднократно сталкивался с вооруженной оппозицией со стороны местной знати, которая время от времени собирала шайки разбойников и бросала вызов государственной власти. При этом, по мнению специалистов, «в марокканском контексте бандитизм был не какой-то маргинальной деятельностью, а неотъемлемой частью социального-политического процесса, посредством которого обделенные влиянием группы могли оспаривать государственную монополию на власть»¹¹. В начале XX века некоторые из этих разбойников даже учреждали в труднодоступных районах собственные квазигосударства – с аппаратом насилия, налогами и валютой.

С именем юного Абд-аль-Азиза связан еще один показательный эпизод, характеризующий отнюдь не первое место правящей династии в политическом устройстве Марокко до пришествия французов. В 1907 году бесталанному правителю бросил вызов его брат Абд-аль-Хафиз, что послужило сигналом к началу общенационального гражданского конфликта. В этой борьбе улемы Феса решили поддержать новоявленного претендента на власть, в 1908 году издав специальный документ, который провозгласил «моральную кончину» царствующего лица. Еще более интересным было то, что содействие, оказываемое Абд-аль-Хафизу, оговаривалось целым рядом условий: в частности, будущему султану предписывалось отменить некоторые налоги, освободить оккупированные европейцами города Каса-бланка и Ужда, ограничить пребывание иностранцев особыми местами и так далее. Как пишет историк Сьюзен Миллер, «осмелившись выставить условия восшествия на престол нового султана, улемы Феса совершили нечто беспрецедентное для марокканского опыта»¹². Их усилия, кстати, в ту пору не про-

АНДРЕЙ ЗАХАРОВ,
ЛЕОНИД ИСАЕВ

КОРОЛЕВСТВО МАРОККО,
БЮРОКРАТИЗАЦИЯ ИСЛАМА
И НОВАЯ «АРАБСКАЯ
ВЕСНА»

¹¹ MILLER S.G. *A History of Modern Morocco*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. P. 64.

¹² Ibid. P. 77–78.



пали даром: в стране появился новый султан. Окончательно обуздать эту «теологическую вольницу» правителям Марокко удалось лишь к рубежу XX и XXI веков, когда они забюрократизировали ислам до такой степени, что религиозные лидеры едва ли не поголовно были превращены в государственных чиновников. По оценкам специалистов, сегодня «марокканский кейс демонстрирует, что бюрократизация [религии] может выступать эффективным средством подавления тех угроз власти, которые исходят от независимых религиозных элит»¹³. Но следует еще раз повторить: подобное приручение религиозных институтов сакральной династией оказалось для Марокко не просто новым, но новейшим явлением.

Марокканский владыка не чувствовал себя полностью свободным даже в вопросах отправления исполнительной власти, зарезервированных за ним правоведами, поскольку его авторитет был значимым лишь для того населения, которое признавало власть центрального правительства (*блед ал-махзен* – в основном городские равнины и прибрежные зоны), а на входящих в состав государства «неподчиненных территориях» (*блед ас-сиба* – в основном горные и пустынные районы), где обитали по большей части берберы, реализацией исполнительных полномочий занималась вполне автономная местная администрация¹⁴. По этой причине марокканским султанам приходилось уделять большое внимание «поддержанию хотя бы относительной монополии на насилие», выстраивая альянсы и лавируя между иными центрами политического влияния¹⁵. Из-за особенностей местной географии рука государства оказывалась далеко не вездесущей: «многие локальные группы исторически сохраняли за собой высокий уровень местной автономии, позволявший им добиваться выгодных для себя условий взаимодействия с центральной властью или, если они проживали вообще “на отшибе”, полностью игнорировать ее административные указания»¹⁶. Это лишало государственное пространство необходимой для отправления суверенитета неизменности, делая его зыбким и неустойчивым.

Даже в конце XIX века султанат, не надеясь на родственные связи с Пророком, был вынужден регулярно подтверж-

13 WAINSCOTT A.M. *Bureaucratizing Islam: Morocco and the War on Terror*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. P. 14.

14 Подробнее см.: Луцкая Н.С. *Структура управления в Марокко. Мохзен и администрация французского протектората // Государственная власть и общественно-политические структуры в арабских странах. История и современность* / Отв. ред. И.П. Иванова, М.Б. Пиотровский, И.М. Смилянская. М.: Наука, 1984. С. 123–140.

15 LUST-OKAR E. *Structuring Conflict in the Arab World: Incumbents, Opponents, and Institutions*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. P. 44.

16 WYRTZEN J. *Making Morocco: Colonial Intervention and the Politics of Identity*. Ithaca: Cornell University Press, 2015. P. 15.

дать свою значимость посредством внушительных экспедиций, руководимых лично главой государства и отправлявшихся в окраинные регионы Марокко. «Мобильный и вооруженный двор [*mahalla*] циркулировал по марокканской территории, наказывая взбунтовавшиеся племена, собирая налоги, улаживая конфликты и назначая представителей центральной администрации»¹⁷. В ходе подобных инспекционных поездок, в которых участвовали до 15 тысяч человек, включая придворных и армейские подразделения, султан лицом к лицу встречался с шейхами отдаленных племен: тем самым «регулярно подтверждались древние узы преданности, связывавшие алаутского владыку с его вассалами из пустыни»¹⁸. Не занимаясь подобным делом, поддерживать территориальное единство было невозможно, и поэтому султаны несли бремя этой непростой повинности, буквально не жалея себя: достаточно сказать, что в июле 1894 года Хасан I скончался во время одного из таких путешествий. Парадокс этой системы заключался в том, что привилегированная связь того или иного шейха с султаном зависела сугубо от того, насколько решительно и жестко он был готов отбивать, в том числе и силой, притязания центральной администрации. Государство поневоле уважало тех, кто имел потенциал для сопротивления¹⁹.

Кстати, именно ущербность местного центра и могущество местной периферии позволили Франции довольно легко утвердиться в Марокко. В начале 1911-го, спустя всего три года после вышеупомянутого династического кризиса, берберские племена, возмущенные введением новых налогов и получением новых иностранных займов, спустились с Атласских гор и осадили Фес. Сакральный характер национальной политической власти, уместно подчеркнуть, их ничуть не смущал. Султан, оказавшийся заложником своих подданных в собственном дворце, в минуту паники обратился за помощью к французам. Воспользовавшись долгожданной возможностью, Париж в мае 1911 года ввел в Фес крупный экспедиционный корпус, покончив с хрупкой независимостью Марокко *de facto*, а в марте 1912-го благодарный своим спасителям султан Абд-аль-Хафиз подписал договор о передаче своей страны под протекторат Франции, закрепив перемены минувшего года *de jure*. Сразу же после установления протектората Париж оказался перед серьезной дилеммой. Марокканская раздробленность принесла пользу в период колониального проникновения в страну, продолжавшегося несколько десятилетий, – но выгодно ли было поддерживать ее при новом порядке? Мощное лобби

АНДРЕЙ ЗАХАРОВ,
ЛЕОНИД ИСАЕВ

КОРОЛЕВСТВО МАРОККО,
БЮРОКРАТИЗАЦИЯ ИСЛАМА
И НОВАЯ «АРАБСКАЯ
ВЕСНА»

¹⁷ Ibid. P. 44.

¹⁸ MILLER S.G. *Op. cit.* P. 42.

¹⁹ WYRTZEN J. *Op. cit.* P. 16.



АНДРЕЙ ЗАХАРОВ,
ЛЕОНИД ИСАЕВ

КОРОЛЕВСТВО МАРОККО,
БЮРОКРАТИЗАЦИЯ ИСЛАМА
И НОВАЯ «АРАБСКАЯ
ВЕСНА»

алжирских колонистов, имевшее голос и в марокканских делах, в своих корыстных интересах настаивало на продолжении «племенной политики», которая строилась бы на торге с отдельными племенами, но французское Министерство иностранных дел, оценив все ее плюсы и минусы, решило все же взять курс на укрепление правящей династии и превращение доколониальной системы в своего главного партнера в марокканских делах²⁰. Божественная родословная, подкрепляемая авторитетом европейцев, оказалась гораздо убедительнее просто божественного происхождения: иначе говоря, у Алауитов появился шанс пережить приход эпохи модерности – и они этим шансом воспользовались.

{ Божественная родословная, подкрепляемая авторитетом европейцев, оказалась гораздо убедительнее просто божественного происхождения.

СЕКУЛЯРНЫЕ УСТОИ САКРАЛЬНОСТИ

Таким образом, лишь в XX столетии и только благодаря французам политический и религиозный авторитет правящей в Марокко династии начал стабильно укрепляться, что, разумеется, способствовало и реанимации подзабытых сакральных оснований управленческой системы. Под французским «зонтиком» здешний монарх становился все более полновластным и неограниченным правителем. Главная заслуга в разрушении прежней структуры исламских сдержек и противовесов – того, что Ной Фельдман называет мусульманским аналогом правового государства²¹, – и в последовавшем потом возвышении монархии принадлежала не столько самому венценосцу, сколько французским колонизаторам. Об этом сегодня не очень-то принято вспоминать, поскольку в нынешнем историко-политическом дискурсе Марокко «огромное организационное, административное, политическое и культурное воздействие эпохи протектората на постколониальное государство старательно сводится к минимуму или вообще отрицается»²². Но факт остается фактом: как раз в те годы Париж всеми силами способствовал реорганизации султанского правления, последовательно работая над его осовремениванием. «В Марокко есть только одно правительство, а Франция лишь оказывает ему протекцию», – не раз повторял Юбер Лиотэ, верховный пред-

²⁰ Ibid. P. 21.

²¹ См.: FELDMAN N. *Op. cit.* P. 17–55.

²² MILLER S.G. *Op. cit.* P. 2.

ставитель Французской Республики в этой стране в первые десятилетия после Фесского договора²³. Этот чиновник, кстати, разработал марокканский дворцовый протокол, придумал гимн и флаг протектората, а также перенес столицу из Феса в Рабат. Соответственно, местное «первое лицо» сохранило все свои полномочия: оно издавало декреты, собственноручно их подписывая и скрепляя печатью, и оставалось первым имамом нации, контролируя все религиозные дела, – переуступив Парижу «лишь» поддержание безопасности и правопорядка, а также реализацию внешней политики. Цель европейцев была вполне понятной: им хотелось превратить султанат в эффективно работающий бюрократический механизм, построенный на принципах единоначалия и обслуживающий интересы метрополии. Но, какими бы ни были их замыслы, именно режим иностранного покровительства, по справедливому замечанию Миллер, «извлек институт султанской власти со свалки истории, вернул ему уважение, устранил всех, кто покушался на его религиозную монополию, – и, сделав все это, позволил ему в будущем, когда пыль деколонизации улеглась, утвердить свою абсолютную власть в Марокко»²⁴. В свою очередь расширение полномочий султана как единоличного политического лидера, инспирированное белыми властями «сверху», вполне ожидаемо стимулировало и укрепление его авторитета среди простых марокканцев «снизу».

Кроме того, престиж монарха подкреплялся и управленческими промахами, допускаемыми Парижем: например, в начале 1930-х французы специальным документом (*бербер дахир*) попытались внедрить отдельные судебные и образовательные системы для марокканских берберов и марокканских арабов, чем вызвали крайнее возмущение националистически настроенной интеллигенции, которая апеллировала к молодому султану Мухаммаду бин Юсуфу, вступившему на престол в 1927 году (и между прочим скрепившему своей подписью французскую инициативу). Это событие, вылившееся в масштабную кампанию гражданского неповиновения, стало отправной вехой формирования марокканского национального мифа. Задумывая реформу, Франция исходила из привычного для колониальной этнографии противопоставления арабов с равнин берберам с гор, в рамках которого романтизированный образ марокканского «благородного дикаря» – *la montagne berbère* – подкреплялся убежденностью, что берберы являются естественными союзниками французов в их конфликтах с арабами. Примитивность этой картины заслужила ей прозвище «марокканской вульгаты»; не удивительно, что «в глазах националистов бер-

АНДРЕЙ ЗАХАРОВ,
ЛЕОНИД ИСАЕВ

КОРОЛЕВСТВО МАРОККО,
БЮРОКРАТИЗАЦИЯ ИСЛАМА
И НОВАЯ «АРАБСКАЯ
ВЕСНА»

²³ Цит. по: Ibid. P. 91.

²⁴ Ibid. P. 118.



берский указ представал интегральной угрозой воображаемому национальному сообществу, на протяжении тысячелетия объединяемому исламизацией и арабизацией»²⁵. Султан же выступал главным символом этого сообщества, а о его собственных административных просчетах патриоты старались не вспоминать. Впрочем, справедливости ради стоит заметить, что нарратив «марокканского единства» и «арабо-берберского братства», разрабатываемый и продвигаемый городскими националистическими элитами, был таким же упрощенным и искажающим действительность, как и «вульгата» колонизаторов. В обществе, где в межвоенный период уровень неграмотности среди мужчин составлял 90%, а среди женщин – 94%, образованные люди могли с успехом внедрять любые нарративы.

Между тем султан Мухаммад еще более поднял свои ставки, во-первых, поддержав в 1940-х Францию в войне с Германией и санкционировав отправку в метрополию 50 тысяч марокканских солдат, а во-вторых, отказавшись в 1942 году сотрудничать с марионеточным режимом Виши, который формально управлял протекторатом до высадки в Северной Африке союзных войск. Это не только возвысило его голос в последующем политическом диалоге с лидерами антигитлеровской коалиции – в частности, молодой владыка произвел сильное впечатление на американского президента Франклина Рузвельта – и «Свободной Францией» генерала Шарля де Голля, но и подтвердило его статус серьезного политического актора в самом Марокко. Несмотря на то, что за предвоенные и военные годы некоторые сторонники независимости лишь укрепились в своем восприятии султаната как анахронизма, не вписывающегося в современность, в умах большинства националистов «этот институт, обретший под иностранной протекцией новую жизнь, по-прежнему оставался символическим полюсом, вокруг которого можно было объединить поднимавшееся движение за независимость»²⁶.

Главным сподвижником наследника Пророка стала националистическая партия «Истикляль» («Независимость»), учрежденная в 1943 году. Разумеется, противоречие между принципом абсолютизма и идеалом народно-демократического суверенитета не могло не проявить себя с первых же дней этого сотрудничества, но стороны довольно долго находили общий язык, за кулисами продолжая заниматься «перетягиванием каната». В 1947 году султан, который ранее не произнес почти ни одного слова, идущего вразрез с линией протектората, неожиданно во время визита в Танжер выступил с речью о неизбежности независимости и солидарности с арабским национализмом, в одночасье сделавшей его всенародным любимцем.

25 WYRTZEN J. *Op. cit.* P. 139.

26 MILLER S.G. *Op. cit.* P. 145–146.

Место было выбрано не случайно: последний раз марокканский венценосец посещал этот приморский город в далеком 1889 году, а сейчас суверенитет Марокко подтверждался именно на той части национальной территории, которая с 1920-х имела статус «международной зоны». Лидеры «Истикляль», естественно, испытывали определенную ревность к подобным жестам, негласно стараясь то там то здесь «подравнивать» амбиции богоизбранного владыки, но давалось это с трудом: по мнению наблюдателей, невозможно было понять, кто кого ведет – партия султана или султан партию. В некоторых вопросах Мухаммад и партийцы демонстрировали действенную солидарность; таким стал, в частности, вопрос о допуске французских колонистов к муниципальным выборам, с 1947 года превратившийся в острый конфликт Рабата с Парижем. Султан и его партия решительно отвергали инициативу чиновников протектората, указывая, что она нарушает внутренний суверенитет Марокко, гарантированный Фесским договором, поскольку колонисты не граждане страны²⁷.

В конечном счете, активное включение будущего короля в национально-освободительную борьбу стало причиной неоправимого ухудшения его отношений с Французской Республикой: в начале 1951 года венценосец отказался заверить своей подписью указ, запрещающий «Истикляль», получив в ответ французский ультиматум (им проигнорированный), а в 1953 году в наказание отправился в принудительную ссылку, сначала на Корсику, а потом на Мадагаскар. Генерал де Голль, в момент высылки Мухаммада временно находившийся не у дел, назвал эту акцию колонизаторов откровенной глупостью. Он был прав: посредством такого «прощального подарка» колониальная администрация не только укрепила личный авторитет монарха, но и вновь вознесла его над всеми конкурентами. Иначе говоря, секулярный режим протектората внес последний вклад в превращение независимого Марокко в абсолютистское государство с наследником самого Пророка во главе. Когда король через два года триумфально вернулся домой, иные центры местной власти – а таковые были, поскольку французы даже сумели найти изгнаннику преемника из боковой ветви тех же Алауитов, – уже не могли ему противостоять, и поэтому после обретения в 1956 году формальной независимости государственный суверенитет и территориальная целостность Марокко стали ассоциироваться в первую очередь с самим Мухаммадом V. Впрочем, процесс этот проходил не без трудностей: «выдворение султана в эмиграцию добавило ему легитимности, но не избавило от борьбы с политическими партиями»²⁸. Как и следовало ожидать,

АНДРЕЙ ЗАХАРОВ,
ЛЕОНИД ИСАЕВ

КОРОЛЕВСТВО МАРОККО,
БЮРОКРАТИЗАЦИЯ ИСЛАМА
И НОВАЯ «АРАБСКАЯ
ВЕСНА»

²⁷ WYRTZEN J. *Op. cit.* P. 260.

²⁸ LUST-OKAR E. *Op. cit.* P. 46.



главными оппонентами, недовольными возвышением короны, выступили ее бывшие союзники по антиколониальной борьбе.

САКРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ И ЕЕ ПРОФАННАЯ ПОЛИТИКА

Именно в 1950-е годы состоялся окончательный слом прежней административно-политической структуры, в результате которого верховная власть перешла от племенной верхушки и религиозных авторитетов, доминировавших в марокканской политической традиции со стародавних времен, к единоличному монарху. Таким образом, у исследователей, которые ссылаются на нынешнюю систему власти Марокко как на крайний пример персонификации исламского правления, имеются для этого все основания. Уже в первые годы царствования Мухаммад V современными правовыми средствами легитимировал собственную власть «повелителя правоверных», поставив тем самым себя выше всех остальных политических акторов государства. Гарантированное превосходство трона над прочими участниками политического процесса было закреплено в первой марокканской Конституции 1962 года. Хасан II, сын Мухаммада V, характеризовал марокканскую систему следующим образом: «Кто бы ни был назначен нами на государственную или военную должность, ему надлежит служить нашим целям – миссии повелителя правоверных, который является тенью Аллаха на земле». Говоря о своем месте в политической системе, тот же монарх отмечал, что он «предназначен Аллахом для выполнения миссии, которой нельзя пренебречь, равно как и поставить ее под сомнение»²⁹. Интересно, что партия «Истикляль», критиковавшая трон как раз за подобные идеи, новый Основной закон в начале 1960-х поддержала: ей очень хотелось упрочить свои позиции в различных институтах власти.

Иначе говоря, вопреки высказываемым иногда мнениям, та политическая система, в рамках которой королю приписывается «божественный иммунитет» от любых политических промахов, а его властные prerogatives трактуются как заведомо неоспоримые, оказывается не столько порождением национальной или исламской политической традиции, сколько рукотворным конструктом относительно недавнего прошлого. Трудно не согласиться со Сьюзен Миллер, которая утверждает, что «восприятие марокканской истории исключительно через призму эволюции марокканской монархии – искажающая практика, от которой нужно отказываться»³⁰. Могущество алавитского монарха держится вовсе не на якобы привычном для

²⁹ Цит. по: *Современная Африка: итоги и перспективы развития...* С. 188–189.

³⁰ MILLER S.G. *Op. cit.* P. 3.

мусульманского мира почтении к потомкам Пророка, а на специфической системе сдержек и противовесов, которую сконструировал король Мухаммад V, передав ее своим наследникам.

Среди прочих особенностей этой системы стоит выделить, в частности, применение хотя и изощренной, но вполне земной методики работы с оппозиционными силами, в рамках которой одни оппозиционеры полностью и жестко отстраняются от политического процесса, а другие, допущенные к нему, оказываются объектами манипуляций, лишаящих их стимулов активно бороться за власть или разжигать социальный протест³¹. К числу последних с полным основанием можно отнести как раз и ту самую старейшую политическую партию «Истикляль», основатели которой никогда не испытывали энтузиазма по поводу наделения правящей династии безраздельной властью. Политическая программа этой организации, разработанная в середине 1940-х, изначально отводила монархии весьма скромную роль; исламские националисты-партийцы полагали, что трон должен освободить себя от несвойственных ему тягот политической борьбы и ограничиться привычной для него ролью посредника, третейского судьи или просто символа нации³². Такая установка, как было показано выше, все же не мешала конструктивному взаимодействию будущего короля с националистами; более того, он и в изгнание отправился, по сути, из-за того, что отказался предать своих политических соратников. Но после достижения независимости отношения короля с главной националистической силой Марокко стали ухудшаться³³. Основанием для трений послужили как раз различные трактовки той роли, какую монархия должна играть в марокканской политике.

Благодаря французскому патронату, а потом и собственным новаторским подходам, вполне патриархальный владыка за весьма короткое время превратился, по выражению американского арабиста Эдмунда Бёрка, в «заинтересованного брокера на бирже политических интересов»³⁴. В итоге на протяжении последних десятилетий стабильность королевского «либерализованного авторитаризма»³⁵ обеспечивалась продуманной и жесткой тактикой, взятой на вооружение марокканскими монархами после обретения независимости: двор по очереди

**АНДРЕЙ ЗАХАРОВ,
ЛЕОНИД ИСАЕВ**

КОРОЛЕВСТВО МАРОККО,
БЮРОКРАТИЗАЦИЯ ИСЛАМА
И НОВАЯ «АРАБСКАЯ
ВЕСНА»

31 Функционирование этой системы детально описано в работе: LUST-ОКАР Е. *Op. cit.* По наблюдению ее автора, в 2000-е марокканские оппозиционные партии «с легкостью могли бы поднять массы на протестные акции, но дело выглядит так, будто они не хотят делать этого» (р. 14).

32 См.: Орлов В. В. *Марокко: монархия и ислам в условиях многопартийности // Современная Африка: метаморфозы политической власти* / Под ред. А. М. Васильева. М.: Наука, 2009. С. 95.

33 Подробнее о взаимодействии монарха с националистами в Марокко см.: ROGAN E. *Arabs: A History*. London: Penguin books, 2017. P. 367–372.

34 *Современная Африка: итоги и перспективы развития...* С. 184.

35 LUST-ОКАР Е. *Op. cit.* P. 5.



АНДРЕЙ ЗАХАРОВ,
ЛЕОНИД ИСАЕВ

КОРОЛЕВСТВО МАРОККО,
БЮРОКРАТИЗАЦИЯ ИСЛАМА
И НОВАЯ «АРАБСКАЯ
ВЕСНА»

привлекал к управлению страной различные политические силы и последовательно выявлял неспособность каждой из них управлять в одиночку, благодаря чему авторитет монарха непрерывно возрастал, а главных политических партий столь же неуклонно падал³⁶. Ведущая партия «Истикляль» тоже оказалась втянутой в эту игру: поскольку королю хотелось, чтобы его власть воспринималась в качестве религиозно санкционированной и потому безграничной, а националисты были сторонниками исключительно конституционной монархии, их попеременно то приглашали в правительство, то изгоняли отсюда. С самого конца 1950-х власть сознательно культивировала многопартийность, чтобы ослабить «Истикляль» и стать единственным арбитром на партийном поле. Как отмечают исследователи, в 1970-е, реагируя на тягостные для страны последствия «нефтяного шока», марокканский монарх решил жестко размежевать оппозиционные силы на легальные и нелегальные, санкционируя деятельность одних и пресекая активность других. «Такое разделение, становившееся все более жестким по мере углубления кризиса, заставило его легальных политических оппонентов с нарастающей осторожностью относиться к возбуждению массовых протестов»³⁷. Апелляции к религиозному авторитету тут вовсе не требовались – вполне хватало политических технологий. В целом же стратегический потенциал последней североафриканской монархии, как пишет американский специалист по Марокко, на протяжении десятилетий описывается одной и той же триадой: «плюрализация – арбитраж – отложенная демократизация»³⁸.

Двор по очереди привлекал к управлению страной различные политические силы и последовательно выявлял неспособность каждой из них управлять в одиночку, благодаря чему авторитет монарха непрерывно возрастал, а главных политических партий столь же неуклонно падал.

Наконец, тезис о «божественности» марокканской власти полезно сопоставить и с тем фактом, что после ухода французов династия Алауитов считала своей главной опорой вооруженные силы. Именно по этой причине с самого провозглашения независимости армия Марокко официально называлась не

36 Подробнее см.: Ланда Р.Г. *Марокко: 30 лет независимости*. М.: Знание, 1985.

37 LUST-OKAR E. *Op. cit.* P. 59.

38 WYRTZEN J. *Op. cit.* P. 282.

«национальной», а «королевской». При этом, однако, военные далеко не всегда сохраняли безоговорочную лояльность престолу, несмотря на его божественную родословную: на рубеже 1960-х и 1970-х в Марокко не только предпринимались попытки государственного переворота, но и состоялись несколько покушений на жизнь самого Хасана II, сына Мухаммада V. Летом 1972 года истребители сопровождения, встречавшие «борт номер один» после зарубежного визита, попытались сбить королевский самолет в воздухе – и лишь чудо избавило Хасана II от горестной участи некоторых иракских и иорданских Хашимитов, не раз, вопреки своему сакральному статусу, страдавших от рук убийц³⁹. Еще более опасным для режима стал путч, случившийся годом ранее, в июле 1971-го: тогда королевская резиденция, где проходил прием по случаю дня рождения монарха и где собрались сотни гостей, была атакована курсантами военной академии. Переворот возглавили офицеры, воевавшие в составе французских войск в Индокитае в 1950-е и выступившие, по их словам, против «морального разложения» династии. В этом случае монарха тоже спасло чудо, подкрепленное несогласованностью действий путчистов.

Кровавая акция, в ходе которой около ста гостей и полторы сотни мятежников были убиты, потрясла королевство до основания, и только предпринятая в 1975 году масштабная операция по «возвращению домой» Западной Сахары, остававшейся «бесхозной» после того, как испанцы объявили о своем намерении оставить это свое заморское владение, позволила Хасану II восстановить общенациональный консенсус и вернуть себе prerogatives лидера. Организуя «зеленый марш», в ходе которого 350 тысяч марокканцев, мужчин и женщин, «вооруженных только экземплярами Корана», как заявляла государственная пропаганда, хлынули через государственную границу на юг, престол в очередной раз продемонстрировал таланты политического лавирования. Дело в том, что идеал «великого Марокко», включавшего в себя и Западную Сахару, был главной составляющей геополитического видения «Истикляль» с самого начала суверенной государственности – это позволило наиболее массовой марокканской партии простить монархии накопившиеся грехи и в очередной раз согласиться на игру по ее правилам. Иначе говоря, какой бы сакральной ни была арабская власть, во-первых, ей обязательно и всегда нужно уметь маневрировать, а во-вторых, ее неприкосновенность, даже условно гарантированную самим Пророком, все-таки желательно поддерживать вооруженной рукой.

39 Хасан II тогда попросту перехитрил заговорщиков: после обстрела он лично связался по радио с землей и, представившись пилотом королевского лайнера, сообщил, что монарх якобы тяжело ранен. Ему разрешили посадку, после которой, естественно, заговор полностью провалился.

**АНДРЕЙ ЗАХАРОВ,
ЛЕОНИД ИСАЕВ**

КОРОЛЕВСТВО МАРОККО,
БЮРОКРАТИЗАЦИЯ ИСЛАМА
И НОВАЯ «АРАБСКАЯ
ВЕСНА»



РЕЛИГИОЗНАЯ КРИТИКА САКРАЛЬНОСТИ

Как и во всем мусульманском мире, конец 1970-х в Марокко был отмечен подъемом исламистских движений. Желая использовать их в качестве противовеса левым силам – в марокканском контексте традиционно мощным, – королевская власть в предшествующий период довольно терпимо относилась к тем нападениям, которым исламисты подвергали режим единоличной власти. При этом, однако, престол постоянно имел в виду, что уже «одним своим существованием исламисты ставили под сомнение прерогативу монарха, являющегося по Конституции верховным предводителем правоверных»⁴⁰. В указанном отношении характерна история 1974 года, когда основатель ассоциации «Справедливость и благочестие» Абд ас-Салям Ясин направил Хасану II обширное открытое письмо под названием «Ислам или потоп», где в крайне оскорбительном тоне отзывался о действующем монархе и ставил под сомнение его право выступать в качестве «повелителя правоверных», закрепленное за первым лицом как исторической традицией, так и законодательством⁴¹. Автор послания, как можно предположить, ни в коей мере не являлся демократом, но марокканский абсолютизм представлялся ему моделью, непоправимо далекой от ислама: в качестве идеала Ясин выдвигал исламскую республику, управляемую коллегиально. Второй марокканский король, по его мнению, вообще не мог считаться «справедливым правителем» из-за его немусульманского образа жизни.

Надо сказать, что Хасана II с самого вступления на престол в начале 1960-х сопровождала сомнительная для мусульманского монарха слава «любителя запретных удовольствий». «Воспринимаемый в качестве плейбоя, чьи ночные похождения в компании вечно пьяных молодых офицеров порождали естественные сомнения в его приверженности религиозным ценностям, молодой король сталкивался с серьезным вызовом соответствия требуемому образу “повелителя правоверных”», – пишет Сьюзен Миллер о ранних годах венценосца⁴². Разумеется, за десятилетие, проведенное на троне, Хасан II обстоятельно поработал над своим имиджем, но сделать его абсолютно идеальным было трудно, что неизбежно провоцировало исламистские атаки. Тем не менее до определенного момента власть старалась не обострять отношений с религи-

⁴⁰ Пономаренко Л.В., Чикризова О.С. *Исламский фактор во внутренней политике Марокко* // Вестник РУДН. Серия «Всеобщая история». 2013. № 1. С. 70.

⁴¹ Куприн А.И. *Власть и исламистская оппозиция в Марокко* // Ближний Восток и современность: Сборник статей. Вып. 24. М.: Институт Ближнего Востока, 2004. С. 236.

⁴² MILLER S.G. *Op. cit.* P. 162–163.

озным сообществом. Несмотря на то, что в соответствии с марокканским законодательством Ясину грозило уголовное дело, а вся эта история разворачивалась в так называемые «свинцовые годы», когда государство широко и часто обращалось к самым жестким репрессиям против инакомыслящих, в данном случае королевский двор решил ограничиться принудительным психиатрическим лечением – не желая, чтобы диссидент превратился в «мученика за правое дело». Впрочем, за свою долгую жизнь, завершившуюся в 2012 году, шейх все же не раз побывал в тюрьме, а его организация вынуждена была довольствоваться полулегальным статусом. В 2011 году, игнорируя божественное происхождение династии, «Справедливость и благочестие» предприняла неудачную попытку организовать в Марокко собственную «арабскую весну».

В 1980–1990-е королевскую власть атаковали и другие радикальные группировки, которых было довольно много. В частности, «Исламская молодежь» (запрещена властями в 1975 году), считавшая престол «западным агентом», на протяжении следующего десятилетия в распространяемой в Марокко нелегальной периодике использовала, к примеру, такие пассажи: «Наше настоящее и будущее находятся между молотом американского империализма и наковальней его агентов, представленных коррумпированным монархическим режимом и теми, кто его поддерживает»⁴³. Движение «Салафитский джихад» тоже призывало своих сторонников расправляться с людьми, которые, по его мнению, относились к категории «неверных». В этот круг зачислялись не только «продажные улемы», выступающие пособниками официоза, или «официальные исламисты» из умеренно мусульманской и промонархической «Партии справедливости и развития», но и представители конкурирующих исламистских групп – например, «Братьев-мусульман», слишком либерально, по мнению джихадистов, трактующие священные тексты⁴⁴. Подобную антигосударственную идеологию, нацеленную на полный слом конституционной системы, разделяют и другие, весьма многочисленные, группы, в 2000-е обратившиеся к террористической тактике. Однако все эти радикальные порывы, ни в грош не ставящие божественную генеалогию монархии, так и не нашли массовой поддержки в марокканском обществе. Дело в том, что «небесный мандат», не имеющий никакой религиозной ценности в глазах исламистов-радикалов, по-прежнему сохраняет определенную значимость для крестьянского населения Марокко – и это отчасти стабилизирует режим, позволяя ему противопоставлять революционным версиям ислама его охранительную трактовку. Разумеется, это далеко не

АНДРЕЙ ЗАХАРОВ,
ЛЕОНИД ИСАЕВ

КОРОЛЕВСТВО МАРОККО,
БЮРОКРАТИЗАЦИЯ ИСЛАМА
И НОВАЯ «АРАБСКАЯ
ВЕСНА»

⁴³ Цит. по: Пономаренко Л.В., Чикризова О.С. *Указ. соч.* С. 71.

⁴⁴ Там же. С. 75–76.



АНДРЕЙ ЗАХАРОВ,
ЛЕОНИД ИСАЕВ

КОРОЛЕВСТВО МАРОККО,
БЮРОКРАТИЗАЦИЯ ИСЛАМА
И НОВАЯ «АРАБСКАЯ
ВЕСНА»

единственный, но весьма важный элемент устойчивости государственного здания.

В последние десятилетия религиозные прерогативы монархии оспаривались и более умеренными политическими силами. В 2003 году в отставку был вынужден уйти видный функционер умеренно исламистской «Партии справедливости и развития» Ахмед Раиссуни, который публично поставил под сомнение право короля скреплять своей подписью фетвы, принимаемые созданным королевской властью в 1981 году Высшим советом улемов. Фактически Раиссуни пытался дезавуировать одно из ключевых религиозно-политических полномочий, присвоенных монархом в ходе обновления ислама в Марокко: ведь после того, как глава государства лично возглавил главный коллегиальный орган мусульманских богословов, они автоматически утратили полномочия публиковать фетвы самостоятельно и «вразнобой». В прежние времена, как мы отмечали выше, использование улемами этого права иногда причиняло монархии немалые неприятности. Отправив Раиссуни в изгнание, режим показал потенциальным критикам, что он не допустит оспаривания ни королевского права управлять религиозной сферой в целом, ни прерогативы монарха утверждать фетвы в частности.

«Небесный мандат», не имеющий никакой религиозной ценности в глазах исламистов-радикалов, по-прежнему сохраняет определенную значимость для крестьянского населения Марокко.

Кстати, власти весьма болезненно реагируют и в тех случаях, когда негласную «красную черту» пересекают сами богословы. В этом смысле показательна история 2013 года: тогда один из марокканских Интернет-порталов (позже закрытый властями) опубликовал текст фетвы, принятой Высшим советом улемов годом ранее. Документ, призывавший выносить государственные смертные приговоры всем «отступникам», переходящим из ислама в другие вероисповедания, произвел немалый резонанс не только в Марокко, но и в мире. Поскольку он явным образом подрывал официально насаждаемую репутацию марокканского ислама как «умеренного и терпимого», власти предприняли расследование инцидента, в ходе которого выяснилось, что эту фетву не передавали на королевское утверждение – улемы попробовали действовать самостоятельно. Министерство по делам религиозных фондов и ислама, опекающее религиозные структуры,

событие не комментировало, но нет никаких сомнений, что организационные выводы были сделаны и дисциплинарные решения последовали⁴⁵.

**АНДРЕЙ ЗАХАРОВ,
ЛЕОНИД ИСАЕВ**

КОРОЛЕВСТВО МАРОККО,
БЮРОКРАТИЗАЦИЯ ИСЛАМА
И НОВАЯ «АРАБСКАЯ
ВЕСНА»

БЮРОКРАТИЗАЦИЯ ИСЛАМА И НЕДОЛГАЯ «АРАБСКАЯ ВЕСНА»

Широко применяя в отношении исламских экстремистов карательные меры, режим Алауитов задействовал и другие рычаги «приручения уммы». Именно Хасан II начал процесс бюрократизации ислама, укрепляя позиции официальных духовных структур и, по выражению российского историка Владимира Орлова, превращая религиозную жизнь Марокко в «свою вотчину»⁴⁶. Еще в 1980-е марокканский корпус улемов был реформирован и встроен в государственную управленческую вертикаль: общенациональную сеть религиозных деятелей подчинили высшей религиозно-правовой инстанции в лице Высшего совета улемов, руководимого самим королем. Этот орган, однако, не собирался до 2000 года, оставаясь декоративным. Но на фоне набирающего обороты противодействия марокканского государства салафитам и шиитам Мухаммад VI, вступивший на престол в 1999 году, вдохнул в него новую жизнь: в 2008-му он заявил, что улемы должны со всем усердием «крепить духовную безопасность нации»⁴⁷. К началу 2010-х в бюрократическую пирамиду, венчаемую Высшим советом улемов, входили 27 региональных и 67 местных советов. Подобная иерархическая система не допускает никакой самостоятельности: улучшая материальное положение духовных лиц, двор постоянно требует от них административной дисциплины и неизменного почтения к монарху. Что же касается религиозных институций, не вписывающихся в государственный курс, то их власти жестко выдавливали за пределы общественного поля. С середины 1980-х, после реформы профильного министерства, занимающегося делами ислама, в деятельность советов улемов, связанную с утверждением имамов мечетей, предварительным одобрением текстов проповедей, а также решением финансовых вопросов, оказались вовлеченными и губернаторы провинций⁴⁸.

Стараясь подчеркнуть свой особый религиозный статус, Хасан II уделял большое внимание внешней стороне благочестия. Учрежденный им Высший институт пропаганды веры был упол-

45 Подробнее см.: WAINSCOTT A.M. *Op. cit.* P. 111–112.

46 См.: Орлов В.В. *Указ. соч.*

47 WAINSCOTT A.M. *Op. cit.* P. 108.

48 Орлов В.В. *Указ. соч.* С. 103.



номочен опекать мусульманское образование, а также обеспечивать распространение официального религиозного нарратива. Начиная с 1980-х годов в Марокко появлялось все больше теле- и радиопрограмм, освещающих исламскую проблематику. Исламская проповедь изображалась в качестве инструмента, сплачивающего марокканскую нацию, что в свете этнокультурной неоднородности и арабо-берберской дихотомии было особенно важным. Кроме того, Хасан II реанимировал начатую еще его отцом Мухаммадом V программу строительства в Марокко тысячи мечетей, заложив в 1987 году в Касабланке третью по величине мечеть мусульманского мира. Ислам, однако, поощрялся при непременном условии: от мусульманских объединений требовалась безупречная лояльность режиму, а от духовенства и мирян – отказ от любой самостоятельности в религиозных делах.

Ту же линию на интеграцию ислама в бюрократический аппарат власти еще более энергично продолжил Мухаммад VI. В его случае мощнейшими импульсами к более основательному огосударствлению доминирующей религии послужили, во-первых, «война с террором», развернутая Соединенными Штатами Америки после 11 сентября 2001 года и накалившая ситуацию в исламском мире, а во-вторых, террористические атаки в самом Марокко, произошедшие в первой половине 2000-х. Всеобъемлющая и комплексная религиозная реформа, запущенная Рабатом в 2004 году, «до предела бюрократизировала марокканский ислам, отдав ключевые решения относительно религиозных практик в руки людей, получающих зарплату от государства»⁴⁹. В результате состоялась полная кооптация старых и формирование новых религиозных элит, которые объединяет безраздельная преданность престолу. Принимая под свою опеку всю полноту религиозной жизни нации, марокканская монархия опиралась на обширный набор руководимых государством институций, которые всевозможными способами воспроизводят и распространяют официальную интерпретацию ислама. В сферу контроля попали способы освоения и интерпретации религиозных текстов, религиозные средства массовой информации и религиозные учебные заведения. Координирующие усилия государства заставили работать рука об руку маленькие фонды, подготавливающие новые издания Корана, и огромные университеты, осуществляющие масштабные программы исламских исследований. Показательно, что в настоящее время столь же развитой религиозной инфраструктурой обладают лишь две страны исламского мира – Иран и Саудовская Аравия⁵⁰.

⁴⁹ WAINSCOTT A.M. *Op. cit.* P. 1.

⁵⁰ Ibid. P. 98.

Как и следовало ожидать, наполнение вероисповедного смыслового поля контентом, фабрикуемым и поставляемым государственными органами, позволило властям, во-первых, заглушить претензии к сакральным основаниям монархии, а во-вторых, снизить градус политики устрашения, к которой так или иначе в 2000-е обращались все авторитарные режимы Ближнего Востока и Северной Африки. Если после взрывов в Касабланке в 2003 году местные силовые структуры разово задержали более пяти тысяч активных исламистов, то после терактов 2007-го и 2011 годов количество арестованных исчислялось лишь десятками. Полная нейтрализация угрозы, потенциально исходящей от независимых религиозных элит, породила довольно необычный политико-религиозный конструкт, который некоторые исследователи называют «марокканским исламом». Реформа оказалась настолько эффективной, что в 2015 году, по случаю сорокалетия «зеленого марша», который при Хасане II обеспечил аннексию Западной Сахары, марокканские власти позволили себе символический жест, немыслимый в соседних странах, тоже страдающих от террористической угрозы: они амнистировали более трех с половиной тысяч исламских радикалов и сократили сроки еще нескольким сотням⁵¹. Среди выпущенных на свободу были и те, кто обвинялся в причастности к терактам 2003-го. Символично, однако, что масштабной амнистии предшествовал королевский декрет, подписанный в мае 2014 года и категорически запрещающий имамам участие в любой политической деятельности, включая работу с профсоюзами.

**АНДРЕЙ ЗАХАРОВ,
ЛЕОНИД ИСАЕВ**

КОРОЛЕВСТВО МАРОККО,
БЮРОКРАТИЗАЦИЯ ИСЛАМА
И НОВАЯ «АРАБСКАЯ
ВЕСНА»

Ислам поощрялся при обязательном условии: от мусульманских объединений требовалась безупречная лояльность режиму, а от духовенства и мирян – отказ от любой самостоятельности в религиозных делах.

Социально-политические протесты, начавшиеся в арабском мире в 2010-е, в очередной раз показали, что сакральный образ «повелителя правоверных» нужно поддерживать не только продуманной религиозной политикой, но и более прозаичным инструментарием. С одной стороны, не приходится спорить с тем, что «арабская весна» продемонстрировала вариативность реформаторских требований в республиканских и в монархических государствах. В отличие от республик Египта, Ливии, Туниса и Йемена, где доминировали лозунги

51 Ibid. P. 42.



коренного переустройства всей политической жизни, в монархиях Иордании, Марокко, Бахрейна и Кувейта выдвигаемая улицей программа демократизации ограничивалась отставкой правительств, изменением избирательных систем, ограничением прерогатив монархов – не затрагивая основ монархического правления. Иначе говоря, в целом «консервативные режимы оказались более устойчивыми к кризисной ситуации, [...] нежели республиканские»⁵². С другой стороны, религиозная родословная династии Алауитов, которая активно культивируется и продвигается марокканскими властями, отчасти позволив здешнему королевскому двору повысить устойчивость в трудные времена, едва ли может считаться определяющим фактором ее выживания. Напротив, лозунги, направленные против узурпации власти королем, нередко звучали в ходе марокканских протестов не только в 2011-м, но и в последующие годы.

Между тем превентивный референдум, спешно организованный и проведенный в Марокко в разгар «арабской весны», санкционировал вступление в силу новой Конституции. Являясь реакцией на массовые волнения, Основной закон 2011 года, как и следовало ожидать, урезал полномочия короля: в частности, он отказался от эксклюзивного права назначать премьер-министра и больше не может лично возглавлять правительство. При этом сокращение королевских полномочий автоматически расширило прерогативы других ветвей власти в лице парламента и судов. Тем не менее положения, подтверждающие сакральный статус монарха, остались неизменными⁵³. Статья 41 новой Конституции дословно повторяет формулу Конституции Марокко 1962 года: монарх остается «повелителем правоверных», тем самым сохраняя за собой право на единоличные решения относительно религии⁵⁴.

Но что же будет дальше – и в Марокко, и в исламском мире? Если исходить из того, что «неприкасаемых» на Ближнем Востоке и в Северной Африке нет, в обозримой перспективе, как представляется, не исключено заметное расширение географии протестов. Попытки предвидеть недалекое будущее становятся еще более интригующими из-за того, что организаторы новой «арабской весны» 2019–2020 годов, по оценкам комментаторов, учли просчеты и недоработки предыдущего раунда. В подтверждение можно сослаться, скажем, на то, что и алжирские, и суданские, и ливанские активисты, бунтовав-

52 ТРУЕВЦЕВ К.М. *Год 2011 – новая демократическая волна?* Препринт WP14/2011/05 (серия «Политическая теория и политический анализ»). М.: НИУ ВШЭ, 2011. С. 21.

53 См.: Сухов Н.В. *«Политическая весна» в Марокко // Системный мониторинг глобальных и региональных рисков...* С. 255.

54 WAINSCOTT A.M. *Op. cit.* P. 20.

шие в минувшем два года, опирались в основном на тактику ненасильственного сопротивления, дезориентировавшую политические и военные элиты и затруднявшую для них силовое реагирование, а также широко использовали принцип максимального привлечения в ряды манифестантов всех, кого только можно. В Судане, в частности, организаторы летних демонстраций 2019-го обращались со специальным призывом даже к христианской общине страны, приглашая ее членов присоединиться к митингующим на площадях мусульманам. Подобный инклюзивный подход показал себя вполне эффективным.

**АНДРЕЙ ЗАХАРОВ,
ЛЕОНИД ИСАЕВ**

КОРОЛЕВСТВО МАРОККО,
БЮРОКРАТИЗАЦИЯ ИСЛАМА
И НОВАЯ «АРАБСКАЯ
ВЕСНА»

* * *

Сегодня не вызывает сомнений, что текущая эпидемия коронавируса не слишком сдерживает социальное недовольство в тех странах, где его потенциал хронически высок. Это означает, что мусульманский мир, включая Королевство Марокко, вполне могут ждать новые неприятности. Там, где «оттепель» только-только начнется, придется решать важнейшую задачу сдерживания исламистов, которые, как показывает практика, автоматически выигрывают в случае крушения авторитарных режимов. Из опыта первой «арабской весны» известно, что удастся это не всем, а предсказывать наперед исходы постреволюционного противоборства невозможно. Кстати, у многих стран региона имеется богатый опыт гражданских войн; как известно, такое прошлое заметно повышает конфликтный потенциал общественных систем. Но даже если до крайностей не дойдет, то революции, как минимум, повлекут за собой нестабильность, а она спровоцирует новые человеческие миграции. Это означает, что для Европы вторая «арабская весна» может обернуться теми же последствиями, что и первая: очередным натиском беженцев, который теперь будет усугубляться пандемией. Что касается тех государств, которые после первой «весны» уже оказались в ситуации гражданской войны, то там можно ожидать новых рецидивов насилия. Дело в том, что внутреннее противоборство и в Ливии, и в Йемене, и в Сирии происходит при самом широком вмешательстве внешних акторов, и дестабилизация кого-то из них или просто переключение этих акторов на другие, более насущные, проблемы повлечет за собой нарушение сложившегося на полях боев баланса сил.

Новая «арабская весна», если она действительно наступит, повлечет за собой сдвиги, которые скажутся не только на Ближнем Востоке и Северной Африке, но и на других регио-



**АНДРЕЙ ЗАХАРОВ,
ЛЕОНИД ИСАЕВ**

КОРОЛЕВСТВО МАРОККО,
БЮРОКРАТИЗАЦИЯ ИСЛАМА
И НОВАЯ «АРАБСКАЯ
ВЕСНА»

нах планеты. В минувшее десятилетие арабский мир проработал «черновик» революционного преобразования, а теперь пришла пора его переписать, поскольку тогда получилось не все и не все тираны простились со своими креслами. Охранителям же и легитимистам можно только посочувствовать – их, вероятно, ждут огорчения, и почтенные религиозные родословные едва ли помогут. Впрочем, выход у них все-таки есть: это превентивная модернизация, способная смягчить грядущий кризис. Надо сказать, что у единственного североафриканского королевства, доказавшего свою готовность гибко откликаться на глобальные веяния, имеются предпосылки и для такого курса.

Социальная политика движений «Талибан» и «Хизбалла» как способ их легитимации

МАРГАРИТА
МЕДВЕДЕВА

Нынешний международный порядок был создан по образу и подобию западных национальных государств (*nation-states*), ставших его базовыми кирпичиками. Вооруженные политические движения не вписываются в эту систему и поэтому считаются болезненным отклонением от нормы. Но национальное государство в разных частях планеты укоренено не одинаково. Постоянная турбулентность ближневосточного региона, представляя собой по-настоящему большую проблему, все же должна рассматриваться в качестве симптома, а не болезни. Болезнь же, как полагают многие, – *искусственная* для этих территорий структура национальных государств. Так, находящийся в турецкой тюрьме Абдулла Оджалан, указывая на обилие племен, народов и этносов, сравнивает Ближний Восток с лоскутным одеялом. По его мнению, национальное государство в таких условиях выступает неиссякаемым источником межнациональных конфликтов и притеснений меньшинств. В качестве альтернативы лидер Курдской рабочей партии предлагает формат демократической конфедерации, где на смену нынешнему государству придет кооперация низовых сетей гражданского общества¹. Вооруженные негосударственные акторы, действующие в целом ряде ближневосточных стран, и есть, по сути, упоминаемые им низовые сети – пусть даже милитаризованные и потому не совсем стандартные. В ряду тех из них, кто более или менее успешно действует еще с прошлого века, видное место занимают два движения: афганский «Талибан» и ливанская «Хизбалла»². В контексте той международной политики, которая ведется в регионе в последние десятилетия (особенно «великими державами»), столь долгий срок жизни этих группировок может показаться странным. Попробуем разобраться, в чем преимущества избранного ими организа-



Маргарита Александровна Медведева (р. 1997) – магистрант факультета социальных наук (направление «Political Analysis and Public Policy») Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

1 Подробнее об идеях Оджалана и попытке их воплощения в современной Сирии см.: *Жизнь без государства: революция в Курдистане* / Сост. Д. Окрест, Д. Петров, М. Лебский. М.: Common place, 2017.

2 В Российской Федерации движение «Талибан» признано террористической организацией, деятельность которой запрещена.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ЛЕГИТИМНОСТЬ

Согласно классической формулировке, «социальная политика – это та часть публичной политики, которая отвечает за решение социальных проблем»³. Социальные проблемы возникают там, где есть социум, поэтому, как только негосударственный актор берет под свой контроль те или иные обитаемые территории, на его плечи ложится забота о населяющих их людях. (Разумеется, в данном случае речь идет о политических движениях, которые ориентированы на удержание территорий и сохранение власти над ними, а не просто на совершение террористических актов, сопровождаемое какими-то разовыми политическими требованиями.) Невозможно сохранять контроль над большими территориями без согласия, пусть даже молчаливого, проживающих там людей⁴. Важно подчеркнуть, что страх выступает лишь одним из факторов такого согласия; другим, не менее важным, фактором оказывается восполнение негосударственными акторами пробелов и недоработок, оставленных государством. После захвата Мосула «Исламским государством»⁵ три четверти жителей этого – более чем полуторамиллионного – города остались в местах своего проживания, причем около 35% из них свидетельствуют, что город в те дни был чище и безопасней, чем при иракской национальной администрации⁶. Сказанное, разумеется, ни в коем случае не оправдывает чудовищные жестокости, совершенные джихадистами на территории Ирака. Однако констатация этой истины не отменяет другое важное наблюдение: кровожадность того или иного режима отнюдь не сводит на нет его эффективность в вопросах, например, жизнеобеспечения или правопорядка. Этот тезис можно и усилить: не исключено, что именно негуманные методы помогают социальным акторам, подобным «Исламскому государству», превзойти официальные государства, с которыми джихадисты конкурируют. Впрочем, за рамками этой догадки необходимо упомянуть и иные причины, обеспечивающие вооруженным политическим движениям успехи в социальной политике.

3 VARGAS-HERNÁNDEZ H., NORUZI M., HAJ ALI IRANI F. *What Is Policy, Social Policy and Social Policy Changing* // International Journal of Business and Social Science. 2011. Vol. 2. № 10. P. 3.

4 Подробнее см.: REVKIN M.R. *Competitive Governance and Displacement Decisions under Rebel Rule: Evidence from the Islamic State in Iraq* // The Journal of Conflict Resolution. 2021. Vol. 65. № 1. P. 46–80.

5 В Российской Федерации «Исламское государство» признано террористической организацией, деятельность которой запрещена.

6 REVKIN M.R. *Op. cit.* P. 48.

Прежде всего, подобные негосударственные организации не обременены раздутым бюрократическим аппаратом. В этой связи террористические группировки иногда уподобляются стартапам: по наблюдению группы российских исследователей, государственной бюрократической машине они противопоставляют динамизм внутреннего развития и быстроту реакции на внешние перемены⁷. Среди других достоинств неправительственных организаций в целом и вооруженных политических движений в частности ученые упоминают относительную простоту их структуры и близость лидеров к рядовым членам. Наконец, еще одно преимущество парадоксально проистекает из того, что, в отличие от выборных органов, управляющих демократическими странами, у вооруженных формирований нет никаких легальных оснований обладать властью. Дефицит же легитимности нужно чем-то восполнять, а потому запросы и требования населения воспринимаются вооруженными политическими движениями с большей чуткостью. Винтовка рождает власть, но, чтобы удержать ее, необходим еще и «пряник», функции которого исполняет активная социальная политика.

МАРГАРИТА МЕДВЕДЕВА
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ДВИЖЕНИЙ «ТАЛИБАН»
И «ХИЗБАЛЛА» КАК СПОСОБ
ИХ ЛЕГИТИМАЦИИ

После захвата Мосула «Исламским государством» три четверти жителей этого города остались в местах своего проживания, причем около 35% из них свидетельствуют, что город в те дни был чище и безопасней, чем при иракской национальной администрации.)

Легитимность означает принятие и признание существующего режима и его действий⁸. Несмотря на то, что в базовых определениях легитимности обычно ничего не говорится о других странах, без международного признания ни один режим, как правило, обойтись не может – если такового нет, то от поддержки, оказываемой собственным населением, толку будет немного. В демократических государствах легитимность приобретает в результате выборов, и это обеспечивает ей приоритетное значение. Все последующие, послевыборные, действия демократического государства опираются на стартовый капитал электорального доверия. Но негосударственные

7 Эта точка зрения представлена, в частности, в работе: Наумкин В.В., Кузнецов В.А., Сухов Н.В., Звягельская И.Д. *Ближний Восток в эпоху испытаний: травмы прошлого и вызовы будущего. Доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай»*. М., 2016. С. 17 (<https://book.ivran.ru/f/dokladblichnij-vostok-v-epohu-ispytaniy.pdf>).

8 Подробнее см.: STILLMAN P. *The Concept of Legitimacy* // Polity. 1974. Vol. 7. № 1. P. 32–56.



акторы не располагают изначальным признанием, подтвержденным у избирательных урн, и поэтому его приходится добиваться иными путями. В подобных случаях оправданием властвования становятся неформальные ценности, черпаемые, в частности, из традиции. Это вполне соответствует идее Макса Вебера, который, как известно, наряду с легальным типом политического лидерства, основанным на формальных процедурах, выделял еще два типа – традиционный и харизматический, – в основе которых лежат нерациональные факторы. (Впрочем, и легальный тип *de facto* тоже базируется на неформальных ценностях, просто при нем общественный консенсус узаконен формальным образом; без общей ценностной базы прочность любого такого договора окажется сомнительной.)

Так или иначе, очевидно одно: социальный контракт, не закрепленный официально, располагает гораздо меньшим капиталом легитимности в сопоставлении с социальным контрактом, санкционированным электорально. Именно поэтому в ситуации негосударственных акторов, образно выражаясь, «хвост виляет собакой»: желая закрепиться у власти, они вынуждены обращаться к активной социальной политике. Соответственно, трактовка легитимности в подобной оптике преобразуется: правительство считается легитимным только тогда, когда результаты его действий соответствуют ценностям общества⁹.

Квазигосударственные движения появляются только в тех странах, власти которых слабо контролируют собственные территории и/или не способны удовлетворять базовые потребности населения. Проводимая ими политика избавлена от неформальных ценностей, но при этом поддерживает формальные отношения. Это становится главной причиной их слабости: в большинстве случаев успех вооруженных группировок фиксирует произошедший провал государства. Скажем, в случае оккупации Мосула «Исламским государством» таковой предстала недееспособность иракского правительства, а в случае Сирийского Курдистана (Рожавы) – кризис сирийского режима. Сказанное верно и в отношении негосударственных вооруженных акторов. Так, многие афганцы, в отличие от своего правительства, считают, что их обществу модернизация не требуется – и «Талибан» выражает их умонастроения, поскольку правительство в Кабуле этого не делает. А социально не защищенные шииты, живущие на юге Ливана, ощущают себя маргиналами в собственной стране – и «Хизбалла» помогает им избавиться от комплекса неполноценности, поскольку ведомства в Бейруте с этим не справляются. Согласно теории

конкурентного управления (*competitive governance theory*), которой придерживается, в частности, Мара Ревкин, повстанческие движения способны наращивать общественную поддержку, более качественно и всесторонне удовлетворяя социальные запросы на подконтрольных им территориях¹⁰. При этом эффективность такой деятельности применительно к квазигосударственным образованиям есть понятие относительное¹¹. Ведь, чтобы преуспеть, вооруженным негосударственным акторам достаточно просто не «проваливаться» так позорно, как это делает правительство, и выглядеть хотя бы чуть более компетентными.

МАРГАРИТА МЕДВЕДЕВА
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ДВИЖЕНИЙ «ТАЛИБАН»
И «ХИЗБАЛЛА» КАК СПОСОБ
ИХ ЛЕГИТИМАЦИИ

Повстанческие движения способны наращивать общественную поддержку, более качественно и всесторонне удовлетворяя социальные запросы на подконтрольных им территориях.

«ХИЗБАЛЛА»: ЛЕЧИМ И УЧИМ ВО ИМЯ АЛЛАХА

С самого своего появления на карте мира, состоявшегося в годы Второй мировой войны, Ливан остается страной множественных (и множачихся) социальных расколов. Экономическое неравенство здесь традиционно соседствует с религиозными, этническими, идеологическими размежеваниями. В столь гетерогенном обществе кто-нибудь всегда будет недоволен своим положением, однако в ливанском случае таких недовольных слишком много. Несмотря на то, что движение «Хизбалла» в 1982 году возникло в качестве реакции на израильскую оккупацию юга страны, предпосылки как его появления на свет, так и всей последующей деятельности во многом предопределялись базовыми характеристиками ливанского социума¹².

Первоначальным запросом, на который откликнулась молодая организация, стало элементарное обеспечение безопасности. Разработке полноценной социальной политики, реализуемой движением «Хизбалла» в настоящее время, предшествовали спорадические акции помощи людям с низкими доходами: возникнув, объединение быстро обрело славу покровителя бедняков. После того, как в 1992 году члены движения участво-

¹⁰ REVKIN M.R. *Op. cit.* P. 49 ff.

¹¹ Подробнее об этой относительности см.: KASFIR N., FRERKS G., TERPSTRA N. *Introduction: Armed Groups and Multi-Layered Governance* // *Civil Wars*. 2017. Vol. 19. № 3. P. 257–278.

¹² О движении «Хизбалла» см.: AVON D., KHATCHADOURIAN A.-T. *Hezbollah: A History of the «Party of God»*. Cambridge: Harvard University Press, 2012; AL-ALOOSY M. *The Changing Ideology of Hezbollah*. Cham: Palgrave Macmillan, 2020.



вали в широко освещаемом СМИ спасении людей после схода лавины, об организации «Хизбалла» знали уже все ливанцы¹³. В 1990-е, когда Ливан начал приходить в себя после долгой гражданской войны, перед движением встал принципиальный вопрос: интегрироваться в политическую систему страны, несмотря на то, что воинствующее крыло шиитов она не очень устраивала, или же вообще игнорировать публичную политику, рискуя превратиться в маргиналов? В итоге «Хизбалла», подобно многим другим военизированным формированиям того периода, преобразовалась в политическую партию. В этом процессе, однако, имелась принципиальная особенность: в отличие от других движений, «Партия Аллаха» оставила при себе свою весьма боеспособную армию, не подчиняющуюся ливанскому правительству. Ее лидеры и сегодня заявляют, что движение управляется из единого центра и в нем нет разделения на военное крыло и политическое¹⁴. Несмотря на то, что «Хизбалла» активно участвует в легальной политике, наличие собственных воинских формирований определенно превращает эту организацию в вооруженного негосударственного актора. Именно на этом основании Израиль, США, Канада, Великобритания и ФРГ считают ливанское движение террористической группировкой, не обособляя друг от друга его вооруженные отряды и парламентскую партию.

Решение официально включиться в политическую жизнь вывело шиитскую организацию на рациональный уровень легитимности, а военные успехи и социальная деятельность стали капиталом, который сделал такую метаморфозу возможной. Найденный четверть века назад рецепт успеха используется до сих пор. В то время как руководитель движения шейх Хасан Насралла регулярно делает воинственные выпады в адрес Израиля, его соратники дополняют барабанную риторику более мирным поведением. Так, шейх Садек Наболси в одном из своих интервью 2018 года рассказывал о желании партии делегировать своих представителей в ливанские министерства – здравоохранения, транспорта, просвещения и общественных работ¹⁵. По его мнению, руководство ведомствами, которые непосредственно оказывают услуги населению, должно продемонстрировать согражданам навыки управления, имеющиеся у движения «Хизбалла» и, соответственно, повысить уровень его поддержки. Позднее, правда, назначение представителя

13 FLANIGAN S., ABDEL-SAMAD M. *Hezbollah's Social Jihad: Nonprofits as Resistance Organizations* // Middle East Policy. 2009. Vol. 16. № 2. P. 124.

14 Подробнее см.: RUDNER M. *Hizbullah: An Organizational and Operational Profile* // International Journal of Intelligence and CounterIntelligence. 2010. Vol. 23. № 2. P. 226–246.

15 См.: БЕЛЕНЬКАЯ М. «Русские благодарны “Хезболле” за участие в войне в Сирии» // Коммерсант. 2018. 25 мая (www.kommersant.ru/doc/3642423).

«Партии Аллаха» главой министерства здравоохранения обернулось отказом США помогать Ливану в борьбе с пандемией COVID-19; это, кстати, как раз та ситуация, когда внутренняя легитимность споткнулась об отсутствие признания извне.

Деятельность партии в период пандемии весьма показательна. После того, как коронавирус пришел в Ливан, «Хизбалла» позаботилась о создании дополнительного коечного фонда, укомплектовании больниц необходимым оборудованием, приобретении машин скорой помощи; кроме того, партия привлекла для противодействия вирусу 25 тысяч волонтеров из числа своих активистов. По словам ее лидера, главной целью подобных действий стало облегчение нагрузки, которую испытывала государственная система здравоохранения¹⁶. Хотя движение «Хизбалла» было не единственной негосударственной структурой, проявившей инициативу – в Ливане нашлись и другие акторы, тоже воспользовавшиеся слабостью государства для пропаганды своих социальных программ, – его действия оказались более масштабными и скоординированными, чем у конкурентов. В частности, помимо оказания ситуативной помощи, «Партия Аллаха» уже давно сформировала специальное административное подразделение, отвечающее за разработку и проведение последовательной политики в сфере медицины, – отдел исламского здравоохранения. Если в 1997 году под его началом находились 46 больниц и клиник, то к 2004-му их число увеличилось до 55¹⁷. Более того, несколько государственных лечебных учреждений были переподчинены отделу исламского здравоохранения на том основании, что им практикуется более качественное управление¹⁸.

В глазах населения главным плюсом больниц, которые содержит «Хизбалла», стало более дешевое или вообще бесплатное медицинское обслуживание шиитов, проживающих на юге Ливана. Тот же курс, кстати, реализуется и в курируемых партией аптеках. Разумеется, наблюдатели не могут не задаваться вопросом, за счет чего «Хизбалла» снижает цены на лекарства и медицинские услуги. Согласно некоторым свидетельствам, дешевые препараты ввозятся в Ливан контрабандой из соседней Сирии¹⁹. Иначе говоря, движению удастся убить двух зайцев разом: оно минимизирует свои расходы на добрые дела и одновременно уходит от налогообложения. А это в свою очередь означает, что привилегии одной части общества достают-

МАРГАРИТА МЕДВЕДЕВА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ДВИЖЕНИЙ «ТАЛИБАН»
И «ХИЗБАЛЛА» КАК СПОСОБ
ИХ ЛЕГИТИМАЦИИ

16 KNECHT E. *Hezbollah Asserts Role in Lebanon's Coronavirus Fight* // Reuters. 2020. April 1 (www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-lebanon-hezbollah-idUSKBN21J537).

17 FLANIGAN S., ABDEL-SAMAD M. *Op. cit.* P. 125.

18 Ibid.

19 См.: GHADDAR H. *Hezbollah Has Created Parallel Financial and Welfare Systems to Manage the Current Crisis*. Washington, D.C.: The Washington Institute for Near East Policy, 2020 (www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/hezbollah-has-created-parallel-financial-and-welfare-systems-manage-current-crisis).

ся за счет других его сегментов – в будущем это может только усугубить социальный раскол.

Столь же активно движение «Хизбалла» и в своей образовательной политике. Ливанская система образования подразделяется на государственный и частный сектора, но, поскольку качество образования, предоставляемого государственными школами, оставляет желать лучшего, ливанские родители стараются устраивать своих детей в частные школы. При этом, естественно, стоимость обучения в частной школе далеко не всем по карману. Реагируя на имеющийся общественный запрос, отдел образования «Партии Аллаха» дает возможность представителям шиитского меньшинства обучать своих детей в частных школах за меньшую стоимость, подкрепляя это еще и стипендиальной программой для одаренных учащихся из бедных семей. Студенты частных школ, которым покровительствует «Хизбалла», на выпускных экзаменах показывают стабильно высокие результаты, что выгодно отличает их от выпускников государственных школ²⁰. Директор британского Центра ливанских исследований Маха Шияб говорит, что при выборе школы родители предпочитают руководствоваться качеством обучения, а не идеологическими установками²¹. Такая ситуация способствует популяризации партии среди представителей других конфессий.

Несмотря на то, что «Партия Аллаха» обладает выраженной конфессиональной и социальной идентичностью, а ее услуги приоритетно адресованы определенному слою ливанского населения, представители других социальных групп так же могут пользоваться предлагаемыми ею сервисами. С борьбой за места в парламенте и в правительстве эксклюзивность в социальных делах никак не сочетается. Как неоднократно повторялось руководителями движения, «Хизбалла» стремится достучаться до людей; человеческий ресурс для движения важен не меньше, чем его военная мощь. Развитая социальная структура и постоянная работа над ее совершенствованием предназначены для того, чтобы вырастить поколение преемников нынешних активистов – образованных и идейных молодых людей, готовых в недалеком будущем пополнить ряды партии. Нынешняя «Хизбалла» ориентируется уже не столько на молчаливую поддержку населения, сколько на мобилизацию активных сторонников.

20 *Hizbollah Mahdi Schools Mix Maths with Doctrine* // The Financial Times. 2013. October 20 (www.ft.com/content/e0be1122-2695-11e3-9dc0-00144feab7d).

21 Ibid.

«ТАЛИБАН»: СОЗДАТЬ ПРОБЛЕМУ – И ПРОДАТЬ РЕШЕНИЕ

МАРГАРИТА МЕДВЕДЕВА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ДВИЖЕНИЙ «ТАЛИБАН»
И «ХИЗБАЛЛА» КАК СПОСОБ
ИХ ЛЕГИТИМАЦИИ

Начавшаяся в конце 1970-х затяжная война с советской интервенцией и пришедшие затем междоусобицы полевых командиров не только разрушили материальную инфраструктуру Афганистана, но и сломили его население морально. Люди отчаянно хотели порядка и мира, а движение «Талибан» с самого своего основания в 1994 году заявляло о намерении восстановить стабильность и спокойствие на афганской земле. Организация, созданная бывшими студентами-клириками, с надеждой и воодушевлением была встречена афганским социумом, поскольку ее цели соответствовали ожиданиям общества²². Симпатии к талибам и пропагандируемым ими ценностям оказались настолько глубокими, что афганцы в основном даже простили им бездарную пятилетку пребывания у власти, длившуюся с 1996-го по 2001 год. Сегодня они вновь превратились в мощную силу, на равных разговаривая с кабульским правительством и поддерживающими его иностранными державами.

«Талибан» – военизированное движение, а его ряды укомплектованы вооруженными людьми. Соответственно, разрабатываемый им политический курс определяется в первую очередь военными нуждами, одной из которых является необходимость обзавестись поддержкой гражданского населения. Организация иерархична, однако талибские управленцы на местах обладают широкой свободой действий в реализации установок, разрабатываемых руководством «Талибана»: если некоторые из них применяются буквально и полностью, то другие реализуются лишь частично или вовсе игнорируются. Такой элемент самоуправления обусловлен глубокой неоднородностью афганского населения. Чтобы привлечь на свою сторону как можно больше местных кланов, «Талибан» к настоящему времени перестал быть движением, ориентированным на пуштунские племена, каким являлся изначально. И, хотя в организации пуштуны по-прежнему составляют большинство, лидеры других этнических групп если и не примыкают к «студентам», то с готовностью взаимодействуют с ними.

Подобная управленческая модель довольно эффективна, так как реализация «вертикальных» и унифицирующих схем в Афганистане затруднена из-за языкового разнообразия. Кроме того, задействованные в ней лидеры из числа местных жителей с большей вероятностью могут рассчитывать на под-

22 О движении «Талибан» см.: RASHID A. *Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia*. New Haven: Yale University Press, 2010; NOJUMI N. *The Rise of the Taliban in Afghanistan: Mass Mobilization, Civil War and the Future of the Region*. New York: Palgrave, 2002.



держку земляков, а это привлекает дополнительные симпатии к «Талибану» в целом. Нынешняя расстановка военно-политических сил не позволяет руководить всей машиной движения из единого центра, а жесткое насаждение однотипной повестки способно оттолкнуть массы. В таких условиях делегирование полномочий становится не прихотью, а необходимостью. Вместе с тем видеть в руководстве «Талибана» федералистов не стоит: если движению вновь доведется оказаться у руля управления Афганистаном, то его лидеры скорее всего откажутся от децентрализации ради создания единой уммы.

Цель движения предполагает не просто завоевание власти, но установление исламского режима. Согласно мусульманским представлениям, то или иное происхождение правоверного вовсе не мешает единству уммы, а своеобразной «стяжкой», скрепляющей непохожие друг на друга группы, выступают религиозные институты. Именно по этой причине во время прежнего пребывания «Талибана» у власти муллам отводилось подчеркнуто высокое место в общественной иерархии²³. Другая причина их возвышения состояла в апелляции к исламу как к универсальной ценностной базе – к тому общему, что объединяет весь афганский народ. Однако, как представляется, реализация национального единства на религиозной базе грозит маргинализацией местным шиитам.

После прихода к власти проведение социальной политики вполне логично оказалось для талибов обязанностью, которую они добросовестно, хотя и своеобразно, выполняли. Международного признания в 1996–2001 годах их режим не получил, но движению удалось выйти на новый уровень влияния²⁴. В последующий период, вновь превратившись в негосударственного актора, оно продолжило заниматься социальной политикой. Первым серьезным обращением к ней, состоявшимся через четыре года после выдворения боевиков-талибов из Кабула, стало обнародование в 2005 году лидером движения, муллой Омаром, так называемой Лайхи – инструктивного послания к членам движения, затрагивавшего различные практические темы. Многие пункты этого документа были посвящены ведению войны, применению норм шариата и разрешению споров²⁵. Этот демарш оказался весьма действенным: афганцы до сих пор гораздо охотнее обращаются за разрешением споров к суду «Талибана», поскольку, в отличие от

23 Подробнее см.: GIUSTOZZI A. *The Taliban beyond the Pashtuns* // The Afghanistan Papers. 2010. № 5. P. 2–15.

24 Подробнее об этом периоде см.: RASHID A. *Op. cit.*

25 См.: МУНИР М. *Лайха для моджахедов: анализ кодекса поведения боевиков «Талибана» в соответствии с правом ислама* // Международный журнал Красного Креста. 2010. № 880–881. С. 223–248 (<https://cyberleninka.ru/article/n/layha-dlya-modzhahedov-analiz-kodeksa-povedeniya-boevikov-talibana-v-sootvetstvii-s-pravom-islama>).

государственных судов, он основан на шариате, более скор и не подвержен коррупции²⁶.

В области здравоохранения и образования талибы преуспели гораздо меньше – прежде всего из-за упорного стремления полностью исключить женщин из общественной жизни. Поскольку женщины преобладали как среди педагогов, так и среди врачей, реализация в 1996–2001 годах отстаиваемых моджахедами принципов завершилась упадком и образования, и медицины. Сейчас, однако, движение «Талибан» подходит к гендерной теме более гибко: часть женских кадров вернулась на рабочие места. Большинство афганских больниц находится в совместном ведении официального правительства и повстанцев: их управлением занимается «Талибан», а материальное обеспечение остается за центральными властями²⁷. Даже в районах, контролируемых «Талибаном», для девочек снова открылись школы – правда, только до пубертатного возраста. Девочки постарше обязаны продолжать обучение отдельно от мальчиков. Подобных школ, однако, не хватает, и продолжать учебу могут лишь немногие юные афганки – несмотря на отсутствие прямого запрета на обучение, исходящего от талибов. Тем не менее провал в обеспечении базовой социальной потребности нивелируется низким спросом на девичьи школы, демонстрируемым самим населением²⁸. Женское образование никогда не было приоритетом в сельской местности, и поэтому, отсылая к одному из упомянутых выше определений легитимности, можно сказать, что результат реализуемой моджахедами образовательной политики вполне согласуется с ценностями большей части афганцев.

МАРГАРИТА МЕДВЕДЕВА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ДВИЖЕНИЙ «ТАЛИБАН»
И «ХИЗБАЛЛА» КАК СПОСОБ
ИХ ЛЕГИТИМАЦИИ

Большинство афганских больниц находится
в совместном ведении официального правительства
и повстанцев: их управлением занимается
«Талибан», а материальное обеспечение остается
за центральными властями.

«Талибан» также начал работу, нацеленную на обеспечение безопасности населения. В прежние времена мирные жители не только становились случайными жертвами военных операций, осуществляемых группировкой, но зачастую оказыва-

²⁶ WARD C., ABDELAZIZ S., QURAIISHI N. *36 Hours with the Taliban* // CNN Exclusive Report. 2019 (<https://edition.cnn.com/interactive/2019/02/middleeast/36-hours-with-the-taliban-intl/>).

²⁷ Ibid.

²⁸ Шукрия Баракзай: *Присутствие женщин в государственном управлении не должно быть символическим* // Afghanistan.ru. 2020. 20 февраля (<https://afghanistan.ru/doc/136805.html>).



лись их главными мишенями. В 2019 году лидеры «Талибана» заявили, что считают весь Афганистан своей землей, а всех афганцев своим народом и поэтому работники образования и медицины, а также прочие государственные служащие больше не рассматриваются ими в качестве целей для атак²⁹. Ранее педагоги, особенно занимавшиеся совместным обучением мальчиков и девочек или допускавшие отступления от доктринальных принципов, проповедуемых «Талибаном», нередко гибли от рук боевиков. Под прицелом оказывались также политические активисты и государственные служащие, участвующие в электоральной легитимации кабульского режима: кандидаты в депутаты, сотрудники избирательных комиссий и им подобные, риски для которых сейчас тоже снизились. Однако, согласно установкам талибов, на судей и высокопоставленных государственных чиновников понятие «мирных граждан» не распространяется – они до сих пор в опасности. Страдают и предприниматели, работающие на подконтрольных талибам территориях или просто пересекающие их транзитом: во избежание неприятностей им приходится платить боевикам³⁰. Это своеобразный налог на безопасность, которую боевики, в отличие от властей, способны обеспечивать.

Безопасность простых афганцев находится в центре внимания особого органа, созданного талибами, – комиссии по предотвращению гражданских жертв и рассмотрению жалоб. Ее официальная задача заключается в оперативном реагировании на жалобы мирных обывателей, касающиеся безопасности. Этот орган решает и менее заметную задачу: используя обращения граждан, руководство «Талибана» дисциплинирует собственных бойцов. Наконец, талибы регулярно представляют мировому сообществу свою версию того, что происходит в стране. Занимаясь этим, «Талибан» публично реагирует на отчеты о работе миссии ООН в Афганистане (United Nations Assistance Mission in Afghanistan – UNAMA), представляя альтернативные данные о жертвах, где пострадавшие от действий боевиков и от действий правительства подсчитываются раздельно³¹. Помимо желания придать образу группировки большую человечность, за такой щепетильностью скрывается желание дискредитировать, насколько возможно, центральные власти и их курс.

Социальную политику «Талибана» трудно назвать успешной, но в условиях низкой конкуренции со стороны государ-

29 См.: JACKSON A., AMIRI R. *Insurgent Bureaucracy: How the Taliban Makes Policy*. Washington, D.C.: United States Institute of Peace, 2019 (www.usip.org/sites/default/files/2019-11/pw_153-insurgent_bureaucracy_how_the_taliban_makes_policy.pdf).

30 См.: <https://riafan.ru/1350259-kak-zarabatyvaet-taliban>.

31 *UN Assistance Mission in Afghanistan. Afghanistan: Annual Report 2012, Protection of Civilians in Armed Conflict*. Kabul, 2013 (www.refworld.org/docid/512b26a92.html).

ства талибам есть что предложить. Движение удовлетворяет нематериальные ценностные запросы, которые не в состоянии удовлетворить власти в Кабуле, прежде всего в особой идентичности, исламской идеологии и безопасности. Афганцы, по-видимому, не готовы отказаться от клановых маркеров в пользу общенациональной идентификации, а мусульманская религия выступает оплотом стабильности во взбаламученной стране. С безопасностью дело обстоит еще сложнее: движение «Талибан» сначала создало проблему, беспокоившую весь мир, а теперь пытается продать заинтересованным сторонам ее решение. Спровоцировав собственными действиями внешнюю интервенцию, оно сегодня активно эксплуатирует общественное недовольство иностранным военным присутствием на афганской земле.

МАРГАРИТА МЕДВЕДЕВА
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ДВИЖЕНИЙ «ТАЛИБАН»
И «ХИЗБАЛЛА» КАК СПОСОБ
ИХ ЛЕГИТИМАЦИИ

Социальную политику «Талибана» трудно назвать успешной, но в условиях низкой конкуренции со стороны государства талибам есть что предложить. Движение удовлетворяет нематериальные ценностные запросы, которые не в состоянии удовлетворить власти в Кабуле.

* * *

Представленные кейсы были отобраны исходя из их сходства: оба движения – и «Хизбалла», и «Талибан» – признаны террористическими в разных странах; оба возникли в последней четверти XX века, но до сих пор активны; оба имеют управленческий опыт в качестве как официальной власти, так и негосударственного актора. В ряду других сходств можно указать на ситуацию гражданской войны в странах, где движения зародились. Военные конфликты создали хаос, в котором возникли вооруженные группировки, а социальные расколы и размежевания не позволили укрепнуть легитимным и легальным государственным структурам. Отсюда возник спрос на удовлетворение самых простых и насущных социальных нужд. В свое время Усама бен Ладен описывал становление исламского государства как процесс, состоящий из трех шагов: создание радикалами «зоны хаоса», устраняющей государственный контроль; превращение радикальных организаций в источник стабильности, безопасности, благополучия населения, обеспечивающий поддержку масс; учреждение исламского государ-



ства на подконтрольных территориях³². Этот сценарий разыгрывался уже не раз. Причем если в случае с «Талибаном» эволюция была хрестоматийной, то путь «Хизбаллы» оказался сложнее, так как Ливан исторически стабильнее, а его институты более развиты – и, следовательно, спрос на публичную политику выше. В итоге по мере своего взросления «Партия Аллаха» отказалась от планов построения мусульманской теократии в многоконфессиональной стране, чего «Талибан» не сделал и никогда не сделает.

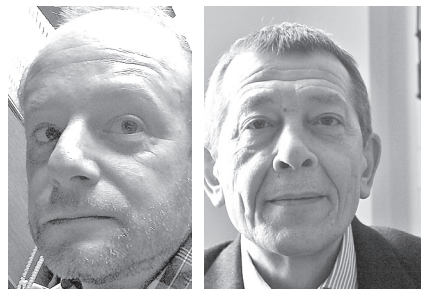
Важнейшим запросом общества, на который откликается социальная политика негосударственных вооруженных акторов, выступает требование безопасности. Поскольку в обеих странах главным источником угрозы население считает иностранных военных, оба рассмотренных движения делают основными объектами своей риторической и практической агрессии именно их, а также сотрудничающих с ними местных. Иначе говоря, первопричиной террористических вылазок, как ни прискорбно это признавать, оказывается, наряду с жестокостью и бесчеловечностью их исполнителей, запрос на подобные действия, формулируемый обществом. Исходя из этого простое устранение негосударственных вооруженных акторов с политической арены – иначе говоря, их гипотетический военный разгром – ничего не решит, поскольку едва ли изменит общественные настроения. В этом случае на смену низвергнутому врагу «мира и стабильности» на Ближнем Востоке придут новые враги – возможно, еще более могучие и опасные.

32 См.: SOUFAN H. *Anatomy of Terror: From the Death of bin Laden to the Rise of the Islamic State*. New York: W.W. Norton & Company, 2018.

«Текст далеко не всегда совпадает с истиной»

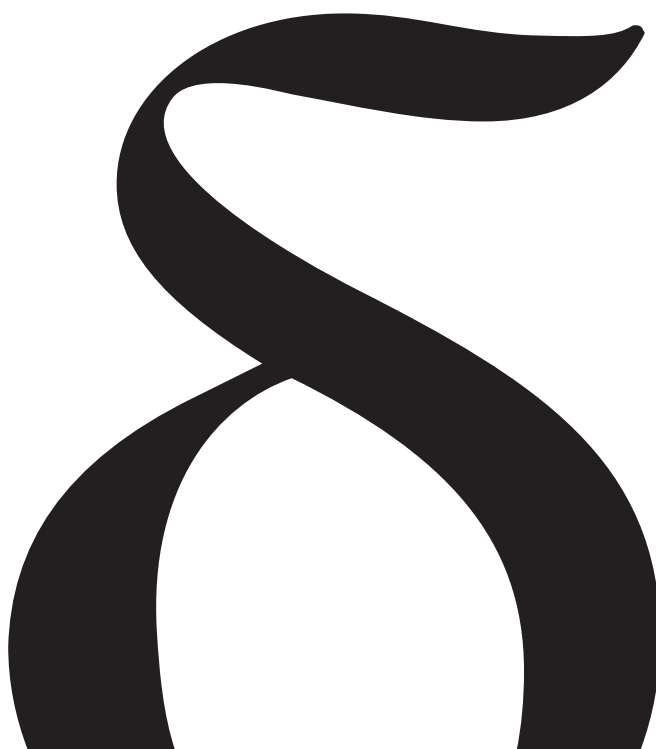
Беседа Дмитрия Ермольцева с Рустамом Шукуровым

Знакомство с Рустамом Шукуровым, поначалу заочное, состоялось в пору моего преподавания в замечательной московской школе «Муми-Тролль». Мы с коллегами пользовались тогда экспериментальным учебником «От средневековья к новому времени», написанным им совместно с Ольгой Дмитриевой и Людмилой Пименовой. Это был превосходный учебник, один из лучших в стране. Как-то раз Рустама Мухаммадовича пригласили в школьный лекторий, попросив его рассказать об истории и культуре таджиков – то была одна из наших акций по профилактике антиимигрантских предрассудков. На лекции я убедился, что профессор Шукуров не только эрудированный автор, но и замечательный рассказчик. Спустя несколько лет, когда у меня возник замысел цикла бесед с учеными-гуманитариями, он был в числе первых, о ком я подумал. [Дмитрий Ермольцев]



РЫБА МОЖЕТ БЫТЬ ИХТИОЛОГОМ

Дмитрий Ермольцев: Чем определялся сделанный вами выбор профессии – как вы стали востоковедом и византинистом?



**ИНТЕРВЬЮ
«НЗ»**

Рустам Мухаммадович Шукуров (р. 1961) – профессор кафедры истории средних веков исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Лаборатории по изучению стран Причерноморья и Византии в средние века исторического факультета МГУ, автор книг «Тюрки в византийском мире» (2017), «Великие Комнины и Восток» (2001), «Чужое: опыты преодоления. Очерки из истории культуры Средиземноморья» (1999) и других.

Дмитрий Алексеевич Ермольцев (р. 1972) – журналист, преподаватель истории.

Рустам Шукуров: Наверное, этот выбор был предопределен моим происхождением. Я таджик, причем от рождения двуязычный: у меня таджикский отец и русская мама, родился в Душанбе и провел там первые шестнадцать лет. Когда на втором курсе исторического факультета МГУ зашла речь о специализации, мне захотелось применить свое знание азиатской жизни, полученное «из первых рук». К тому же у меня имелось довольно важное преимущество перед другими студентами, а именно – персидский язык, который я получил по рождению. Именно по этим причинам я с самого начала желал заниматься пограничьем, мусульманско-христианским пограничьем. Будучи тогда очень юным, я не слишком хорошо представлял, как это должно выглядеть. Оттого и предложил для собственной специализации арабскую Андалусию, то есть Испанию мавров и бытовавшие там взаимоотношения мусульман и христиан. Но в начале 1980-х на кафедре средних веков не оказалось специалиста, который мог бы стать моим научным руководителем. И тогда Сергей Карпов, нынешний президент исторического факультета, предложил мне заняться той же проблематикой, но на византийском материале. Сейчас, став зрелым исследователем, понимаю, что сама судьба поправила мой незрелый выбор: конечно же, выбирать нужно было именно Византию. Вот так сошлись генетически обусловленные склонности, сознательные намерения и слепой случай.

Д.Е.: Иначе говоря, вы как историк изучаете Византию, византийско-тюркские и византийско-иранские контакты?

Р.Ш.: Да, и одновременно приходится заниматься греческой, персидской, арабской словесностью. Когда речь идет о пограничных феноменах, мы можем о них судить только на основании достаточного знания о внутренних процессах по обе стороны границы. А граница мне интересней всего.

Д.Е.: Насколько типична ваша личная ситуация? Люди часто становятся специалистами – японистами, например, – потому, что их привлекает именно чужеродность и экзотичность предмета.

Р.Ш.: Филологи в шутку говорят: рыба не может стать ихтиологом – такова установка позитивистской науки: сам себя человек изучить не может. Но я эту установку категорически не принимаю. Мы ведь находимся в ситуации постмодерна или даже постпостмодерна, причем не в смысле конфигурации художественных течений и стилей, а в смысле самого модуса нашей мысли. Я вижу, что в современной ситуации наиболее успешные научные исследования связаны с самопознанием. Иначе говоря, в моем личном положении нет ничего необыч-

ного. Вполне естественно, что во Франции большинство ученых – этнические французы, а в России – этнические русские. Но в истории российского востоковедения было немало примеров, когда носители той или иной восточной культуры становились самыми успешными ее исследователями. Такое повторялось сплошь и рядом, особенно в советское время – в эпоху империи.

ДМИТРИЙ ЕРМОЛЬЦЕВ –
РУСТАМ ШУКУРОВ

«ТЕКСТ ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА
СОВПАДАЕТ С ИСТИНОЙ»

Д.Е.: А что изменилось после распада империи?

Р.Ш.: Востоковедение оказалось в кризисе. Большая проблема с историей Грузии: картвелологов у нас нет в принципе. Серьезные трудности с арменистикой и исследованиями Средней Азии. В советское время эти научные области были даны на откуп местным кадрам: центром арменистики был Ереван, центром грузиноведения – Тбилиси. При этом шел очень интенсивный интеллектуальный обмен: люди постоянно встречались на конференциях, региональных, общесоюзных, международных. Существовало единое научное пространство, поскольку все писали по-русски. Но сейчас этому пришел конец, и российская наука потеряла очень много.

Д.Е.: Имеется ли сейчас у российской публики хоть какой-то интерес к мусульманскому Востоку, его истории и культуре? Иногда кажется, что эта часть мира воспринимается как совершенно чуждая или даже враждебная.

Р.Ш.: По моему мнению, отношение современного русского интеллектуализма к материалу, скажем, турецкому, иранскому, среднеазиатскому, указывает на основательную незрелость и несамостоятельность этого интеллектуализма. Если хотите почитать что-то серьезное и объективное об истории Индии, читайте англичан, тут им равных нет: они владели Индией и изучили ее лучше индийцев. Если нужно узнать что-то о Магрибе, читайте французов: они осваивали его со времен Наполеона и познали весьма глубоко. Русские же, долгое время владея Средней Азией и активно взаимодействуя с Ираном и Турцией, так и не превратились в авторитетных носителей знания об этих территориях. Это о чем-то говорит. В русском интеллектуализме постсоветской поры я вижу ту же слепоту и то же отсутствие бескорыстного интереса к чужому.

Не так давно мне довелось подготовить к печати написанные в начале XX века дневники одного высокопоставленного функционера Бухарского эмирата, подконтрольного в то время Российской империи. Перевел на английский, книга вышла в издательстве «Brill» в Лейдене¹. Потом попытался предло-

¹ *The Personal History of a Bukharan Intellectual: The Diary of Muhammad-Sharīf-i Sadr-i Ziyā* / Trans. by R. SHUKUROV. Leiden: Brill, 2004.

жить ее московским издателям – никого это не заинтересовало. А ведь до 1917 года у русских был бескорыстный, сугубо научный интерес к тому, что происходит в Средней Азии. Последующее угасание этого интереса сыграло с мировой наукой злую шутку, потому что в дореволюционный период мировая наука знала: если дело касается Средней Азии – надо читать русских авторов. И люди, которые на Западе по тем или иным причинам стремились заниматься среднеазиатским регионом, учили русский язык. Но потом последовал разгром востоковедения в Советском Союзе. Когда же СССР развалился, на Западе вновь заинтересовались Средней Азией, свято при этом веря, что русские уже описали практически все. Но, начав углубленно знакомиться с материалами по XX веку, представленными советскими востоковедами в кандидатских и докторских диссертациях, зарубежные специалисты сразу обнаружили, что это не наука, а политические декларации.

{ Русские, долгое время владея Средней Азией и активно взаимодействуя с Ираном и Турцией, так и не превратились в авторитетных носителей знания об этих территориях.

Д.Е.: Получается, что прогресс российского востоковедения оборвался на Василии Бартольде и его коллегах в начале прошлого века?

Р.Ш.: Поколение Василия Бартольда, Евгения Бертельса и их непосредственных учеников – мощная традиция мирового уровня. В русском дореволюционном сознании была потребность в научной истине, удивление чужому и жажда его познания.

Д.Е.: А что происходит – в сопоставлении с отечественной ситуацией – с гуманитарной наукой в Турции и Иране? Трансформации этих обществ тоже вовлекли ее в кризис?

Р.Ш.: В отношении Турции я отметил бы две тенденции, связанные с эволюцией турецкой культурной модели. Кемаль Ататюрк перешел с арабицы на латиницу, после чего прошла волна очищения турецкого языка от персидских и арабских заимствований. Но в имперское время эти языки преподавались в османских школах, не говоря уже об университетах, и поэтому в 1960–1970-х годах в стране еще жило поколение, которое эти языки знало. В то же время в силу открытости Турции западным влияниям и при империи, и при республике многие турки владели европейскими языками – в основном

немецким и французским. Турецкая гуманитарная наука, до 1970-х комбинировавшая две традиции, выдавала добротный продукт. Потом, однако, наступил глубочайший кризис. Если же говорить о второй тенденции, то она обусловлена тем, что в последние тридцать или сорок лет интеллигентские семьи, прежде всего из Стамбула, отправляют детей во французские, американские и английские университеты. Новое поколение турецких исследователей – очень просвещенные люди, с широким горизонтом и современным инструментарием. Но при этом турки, которые духовно сформировались после реформы Кемалю Ататюрка, не в состоянии в полной мере осознать собственную традицию – именно в силу незнания арабского и персидского. Что же касается Ирана, то это мощная и древняя культура, генерировавшая огромное количество текстов. Иранцы полностью погружены в себя, изучают свое культурное наследие чрезвычайно успешно, они большие знатоки собственного языка, искусства, литературы, но по большей части абсолютно глухи к новым интерпретациям, предлагаемым современной европейской наукой. Причем дело не в идеологии и не в политике – просто они склонны к изоляционизму и нарциссизму, как любой древний народ.

**ДМИТРИЙ ЕРМОЛЬЦЕВ –
РУСТАМ ШУКУРОВ**

«ТЕКСТ ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА
СОВПАДАЕТ С ИСТИНОЙ»

Д.Е.: Но в Турции идеология вроде бы должна влиять на науку – в частности, государственная идея, что в Турции живут только турки.

Р.Ш.: Поскольку турки еще недавно стремились в Европейский союз, в последние десятилетия об этом почти не говорили. Официальная Турция старалась быть осторожной по поводу идеологических деклараций. Поэтому, например, теперь в стране работает собственная Ассоциация византистов, которую создали те самые ученые, которые вернулись из западных университетов. А прежде, между прочим, существовал негласный запрет не только на изучение Византии, но на само упоминание о ней.

КЕМ СОТВОРЕН СОВРЕМЕННЫЙ МИР

Д.Е.: Кавказ заинтересовал русскую культуру в пору романтизма, когда был высок спрос на экзотику и местный колорит. Там побывали Пушкин, Лермонтов, Толстой. В итоге сложилась эмоциональная связь, которая позволила Александру Кушнеру после распада Советского Союза написать: «До свиданья Кавказ, мы тебя любили / Больше, чем Кострому или Вятку». А кто из наших писателей побывал в Средней Азии, кто писал о ней? «Звезды над Самаркандом» Сергея Бородина и «Повесть о Ход-



же Насреддине» Леонида Соловьева – вот, собственно, и все, что наша художественная литература посвятила этой части мира.

Р.Ш.: Говоря о советском периоде, мы должны помнить о распределении «зон ответственности». В советское время в Средней Азии работало множество литераторов местного происхождения, описывавших ее на русском языке. Они создавали своего рода колониальную литературу, подобную той, какой, скажем, богата современная Франция: это письмо о своем, но выполненное по чужим лекалам. Арабские франкофоны, пишущие по-французски об арабской жизни в Северной Африке и в самой Франции, зачастую даже не знают арабского языка. Примерно то же самое наблюдалось и в Средней Азии. Чингиз Айтматов, Тимур Пулатов, Тимур Зульфикаров, Олжас Сулейменов – наиболее яркие представители этого жанра. При этом Айтматов, как мне кажется (но это надо бы проверить), вообще не говорил по-киргизски, а Зульфикаров не владеет таджикским.

Д.Е.: На отношении к мусульманскому Востоку ощутимо сказываются наши политические убеждения. Сторонники демократии и политических свобод осуждают «восточный деспотизм», а поборники авторитаризма, напротив, симпатизируют «восточному порядку». Повелось это издавна: наверное, еще с Ивана Пересветова, который предлагал Ивану Грозному соединить православную веру с «правдой», носителем которой он представил султана, повелевшего сдирать кожу с неправедных судей.

Р.Ш.: Здесь мы снова имеем дело с недостатком информации. Именно на плохом знании основываются умозаключения, согласно которым Запад – модель «свободы», иногда выходящей из берегов и оборачивающейся безобразиями, а Восток – модель «сильного государства», лидер которого ведет свой народ к процветанию. Действительно, демократические институты складывались в первую очередь в Западной Европе. Но Восток оставался очень разнообразным. Скажем, турецкая государственность была сильно централизованной, а институт рабства занимал в ней видное место. Но при этом устройство Османской империи для мусульманского мира оставалось отнюдь не типичным – такого не было ни у арабов, ни у иранцев. Иран, кстати, являл собой одну из самых ранних азиатских демократий, а понятие свободы всегда оставалось первоосновой иранской ментальности. В этой стране никогда не было крепостного права. В эпохи политической нестабильности включались механизмы самоорганизации горожан, которые работали чрезвычайно эффективно. Когда рушилась государственная система управления, местные сообщества брали на себя функции

поддержания порядка и охраны торговых коммуникаций. Интересно, между прочим, что в конце 1980-х что-то подобное наблюдалось и в Фергане – хотя это тюркское пространство, модели жизни здесь иранские. На фоне ослабления, а потом и полного развала советской управленческой системы, беспомощности центральной власти Ташкента в Фергане возникли самоорганизующиеся городские общины. В будущем как раз они и стали причиной конфликта между Исламом Каримовым и Ферганской долиной. Он начинал консолидировать власть в Узбекистане с подавления самоорганизации в Фергане. Андижанские события 2005 года тоже имеют отношение к этому сюжету.

**ДМИТРИЙ ЕРМОЛЬЦЕВ –
РУСТАМ ШУКУРОВ**

«ТЕКСТ ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА
СОВПАДАЕТ С ИСТИНОЙ»

Иран являл собой одну из самых ранних азиатских демократий, а понятие свободы всегда оставалось первоосновой иранской ментальности.

Д.Е.: Что же происходило с иранской самобытностью в новейшие времена?

Р.Ш.: Революция 1905 года вынудила правившую в Иране династию Каджаров ввести конституционную монархию, в стране тогда появился реальный парламент, посредством которого реализовалось волеизъявление народа. Первопричина последующего конфликта между иранской монархией и народом Ирана заключалась именно в том, что представитель династии Пехлеви, последней правящей семьи Ирана, перед Второй мировой войной распустил парламент. Свое решение он объяснял тем, что начинающаяся война потребует концентрации всех сил в одних руках. Исламисты же, свергшие последнего шаха в конце 1970-х, оказались у власти по воле народа, а не из-за дворцового заговора. Население снесло шахский режим – мы не обсуждаем сейчас вопрос, стоило ли это делать, – и пригласило опальных мулл именно потому, что они боролись с диктатурой Пехлеви. Сейчас иранцы понимают, что сделали ошибку. И они точно так же уничтожат режим, выстроенный Хомейни, – в этом у меня нет никаких сомнений. Конечно, могут возникнуть внутренние или внешние обстоятельства, которые отсрочат этот момент, но, что дело будет решено самими народными массами – а не узкой группой высокопоставленных бюрократов и политтехнологов, которые решают подобные вопросы в России, – в этом я уверен.

Д.Е.: Можно ли говорить о том, что в Иране, вопреки господству исламистов, общество осталось в основном секулярным?



Р.Ш.: Готов согласиться с такой оценкой. Более того, я думаю, что после падения режима мулл страну ждет радикальная атеизация: ведь если маятник слишком увести в одну сторону, он потом с той же амплитудой уйдет в другую сторону. И, честно говоря, я немного озабочен: на этой волне могут произойти нежелательные культурные эксцессы – вроде, например, отказа от арабской письменности. Напомню, вопрос о переходе на латиницу в Иране начали обсуждать еще в конце XIX века, раньше, чем в Турции. Если такое случится, то культура помолодеет сразу на целое тысячелетие, а это вызовет разрыв новых поколений с богатейшей традицией. Будет хуже, чем в Турции, ведь турецкая литературная традиция намного короче.

Д.Е.: Интересно, что для Европы еще с античности Иран выступал символом тирании. Греки полагали, что отразить персидское нашествие им удалось лишь из-за того, что царь повел на них мириады подневольных людей – и все эти толпы разбились об общество, основанное на законе и свободе.

Р.Ш.: Размышляя об этом, стоит вспомнить, как эволюционировала сама греческая цивилизация. Она проделала путь от городов-республик к Александру Македонскому, который создал вселенскую империю, превратив себя, по сути, в персидского шаха. По моему мнению, в греческом сознании соседствовали гордость за себя и зависть к блестящему соседу.

Д.Е.: К соседу, прежде всего неприлично богатому и развращавшему золотом?

Р.Ш.: Из Ирана шли не только деньги, но и технологии, научные знания, культурные достижения. И греки активно пользовались этими благами, даже не признаваясь себе в этом. Персия выступала для них, с одной стороны, символом тирании и страшным врагом, но, с другой стороны, – источником благосостояния и развития. Широкий товарный обмен продолжался и в римский, и в византийский периоды, что не удивительно: ведь Византия, по сути, есть тот же Рим, различия в основном внешние. Самые серьезные конфликты у Рима были с древним Ираном. Для того времени это настоящие мировые войны с участием огромных масс людей и применением новейших военных технологий. Но эти враги парадоксальным образом были очень нужны друг другу. Не случайно Феофилакт Симокатта, византийский историк VII века, писал: Рим и Персия – два ока Вселенной. Вся мировая история возникла из взаимоотношения этих двух половинок обитаемого мира – греков и иранцев. Иран – явно недооцененная и недопонятая культура. Муллы, теократия, антиамериканизм и антисионизм отнюдь не встроены в нее «генетически». Иранская цивилизация опре-

делила облик современного мира именно в соперничестве и сотрудничестве с греко-римским миром. В том числе – и через встречу с иудеями. Иначе говоря: современный мир сотворен индоевропейским началом в лице греко-римлян и иранцев и семитским началом в лице евреев, а потом и арабов.

ДМИТРИЙ ЕРМОЛЬЦЕВ –
РУСТАМ ШУКУРОВ

«ТЕКСТ ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА
СОВПАДАЕТ С ИСТИНОЙ»

**Иран – явно недооцененная и недопонятая культура. }
Муллы, теократия, антиамериканизм и антисиионизм }
отнодью не встроены в нее «генетически».**

ПРОТИВ СЕБЯ И ПРОТИВ БОГА

Д.Е.: Давайте вернемся к проблеме современной невосприимчивости к мусульманской культуре. В свое время вы писали об Исмаиле Гаспринском – крымскотатарском просветителе, жившем во второй половине XIX и в начале XX веков². Он прославился своим проектом культурной модернизации ислама, предполагавшим заимствование элементов европейской образованности. По вашему мнению, могло ли движение в таком направлении ликвидировать барьер между Россией и миром ислама?

Р.Ш.: Я бы определил мотивацию Гаспринского противоположным образом: освоение европейских интеллектуальных технологий и принятие европейской школьной традиции требовалось с его точки зрения для того, чтобы сделать разделяющую нас стену еще крепче и еще выше. Такова особенность ранних форм обновленчества в мусульманстве, к которым принадлежал и упомянутый мыслитель. Кстати, сейчас по тому же пути идут салафиты, то есть радикальный ислам. Но, говоря об этом, надо иметь в виду и альтернативу, которую предложил Мохаммед Аркун – алжирский философ-бербер, в друзьях у которого были Жиль Делёз и Жак Деррида. Он говорил, что нужна глубинная гомогенизация интеллектуальных практик христиан и мусульман, а путем к ней считал заимствование мусульманами европейского мыслительного инструментария. Выравнивание образовательного уровня двух миров, по его мнению, должно было автоматически устранить конфликты между ними, поскольку современный радикализм в значительной мере обусловлен недостатком знаний. Уточняя свое видение, Аркун добавлял, что политические режимы Северной Африки и Ближнего Востока являются марионеточными, кор-

2 Шукуров Р. *Исмаил Гаспринский. Проект счастья* // Отечественные записки. 2004. № 1(16) (<https://strana-oz.ru/2004/1/ismail-gasprinskiy-proekt-schastya>).



румпированными и антинародными из-за того, что их после Второй мировой войны насадили европейцы – ради собственных нужд. Реакцией на это и стал радикализм. Допустив его появление внутри восточных сообществ, Запад сам положил начало процессам, которые теперь вообще не поддаются его контролю. Я говорю об организованном терроризме, который не имеет никакого отношения к порыву националистического чувства арабов или религиозного чувства мусульман: это политическая организация, не обремененная ни принципами, ни идеалами.

Д.Е.: Вы описываете исламский терроризм, как Голема, который обратился против своих создателей, – и как феномен, изначально политический. Но сегодняшние шахида – верующие фанатики. Как объяснить этот переход от политического сознания к религиозному?

Р.Ш.: В массе своей участники радикального политического движения в исламе остаются по преимуществу нерелигиозными существами – по большому счету, это малообразованные люди. Да, они декларируют, что являются мусульманами, но трудно сказать, насколько глубоко они понимают ислам. Практиковать религию как идеологему и как веру – разные вещи. Российская современность демонстрирует, что самыми яркими сторонниками православия подчас оказываются наиболее правотверные в прошлом коммунисты. С распадом СССР они сожгли свои партийные билеты и пошли в церковь, в этом им видится обретение истины. Но на деле они как были карьерными существами, так и остаются таковыми. Что же касается тех несчастных людей, которые совершали и совершают террористические акты в США, России, других странах, то их внутренней мотивацией, разумеется, выступает служение религии. Но при этом у них не хватает знаний, чтобы понять: занимаясь подобным, они совершают преступление в рамках самой религии – преступление против себя и против Бога.

Д.Е.: Мир в свое время был покорен европейской цивилизацией, но всякое завоевание, как известно, не только приобретение, но и ответственность. Может быть, европейцам не хватило опыта, чтобы такую ответственность проявить?

Р.Ш.: Как мне кажется, в последнюю пару десятилетий европейское понимание этих материй становится все более тонким и нюансированным – в частности, благодаря привлечению интеллектуальных сил уроженцев Востока. То, что я говорю о современном состоянии исламского мира, вполне понятно людям в Европе – по крайней мере тем из них, кто принадлежит к научно-экспертному сообществу. Проблема, правда, в том,

что Европа сегодня бессильна: Европейский союз не в состоянии демонстрировать свою волю в мусульманском мире – да и сама эта воля отнюдь не едина.

ДМИТРИЙ ЕРМОЛЬЦЕВ –
РУСТАМ ШУКУРОВ

«ТЕКСТ ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА
СОВПАДАЕТ С ИСТИНОЙ»

Д.Е.: Есть ли в современной России такое же «понимающее» экспертное сообщество, как в Европе, и какова его востребованность нынешним режимом?

Р.Ш.: Мне трудно судить обо всем экспертном поле, но если говорить о Средней Азии и Ближнем Востоке, то по большей части действия власти в этих регионах приходится признать не слишком грамотными, а то и вовсе по-детски незрелыми. Причем, оставаясь не слишком сведущими и не особенно профессиональными, государственные органы и обслуживающие их политизированные «экспертные структуры» всячески избегают привлечения специалистов из академической среды, которые обладают запасом знаний, достаточным для выработки адекватных рекомендаций.

Оставаясь не слишком сведущими и не особенно профессиональными, государственные органы и обслуживающие их политизированные «экспертные структуры» всячески избегают привлечения специалистов из академической среды, которые обладают запасом знаний, достаточным для выработки адекватных рекомендаций.

Д.Е.: Это только наша болезнь или в других местах такое тоже есть? Как это устроено, скажем, в Великобритании или во Франции?

Р.Ш.: Во-первых, на Западе наиболее авторитетные специалисты в той или иной научной области принимаются на должности советников различных структур исполнительной или законодательной власти. Во-вторых, специалист из академической среды может в разовом порядке приглашаться к участию в той или иной экспертизе. Но необходима важная оговорка: все упомянутое возможно лишь в тех социумах, где отсутствует антагонизм между властью и населением. Его нет ни во Франции, ни в Великобритании, ни в США – там даже сотрудничество исследователя со спецслужбами не будет считаться чем-то зазорным. У нас же ситуация другая: антагонизм между народом и властью, сформировавшийся при монархии и сохранившийся при коммунизме, не удалось изжить даже



в постсоветское время. Мне, например, не нравится нынешняя политика государства – ни внешняя, ни внутренняя. Я бы хотел, чтобы власть в России была другой. Поэтому, не исключая для себя возможности поделиться экспертными знаниями, если ко мне вдруг обратятся, я тысячу раз подумаю, делать это или нет при нынешнем режиме. Впрочем, как я уже говорил, у нас и сама власть не очень доверяет экспертному мнению и не слишком стремится о нем узнать. Нелюбовь у нас взаимна.

СРЕДНИЕ ВЕКА: ЭСХАТОЛОГИЯ, ТОЛЕРАНТНОСТЬ, ДИНАМИЗМ

Д.Е.: Из ваших статей и лекций можно сделать вывод, что Средневековье – при всей его религиозной конфликтности – было в каком-то смысле более толерантной эпохой, чем наша нынешняя.

Р.Ш.: Сознание средневековых людей ни в коем случае нельзя рассматривать с точки зрения мультикультурализма: они отличались крайним равнодушием к чужому, и у них не было того отторжения инаковости, которое зачастую присуще современному человеку. Вопрос о том, как слышать чужое, поставила нынешняя атеистическая культура: это сделал, к примеру, Люсьен Леви-Брюль в отношении первобытного мышления – оно, по его мнению, настолько не похоже на наше, что недоступно описанию с привнесением каких-то наших черт.

С чем связаны проблемы современной религиозности? Если, скажем, еще в эпоху Просвещения элементы атеистического сознания оставались редкими и маргинальными вкраплениями на бескрайнем поле религиозной ментальности, то религиозное сознание в современном мире, напротив, представляет малозначительные всполохи в преимущественно атеистической среде. Наша жизнь исключительно секулярна, даже в Иране, сколько бы тамошние муллы ни пытались изменить сложившуюся модель. Отсюда и радикализм современного религиозного сознания, которое на самом деле – симулякр, имитация религиозности. Про Средневековье такого сказать нельзя: там господствовало настоящее религиозное чувство, причем менее радикальное. Оно всегда ощущало относительность провозглашаемой истины, ее изменчивость и динамичность. В современной же ситуации произносимые истины воспринимаются буквально в их нерелятивном, абсолютном модусе.

Д.Е.: А чем, собственно, опасны современные обыкновения религиозной симуляции? Может быть, просто сейчас время такое? Мы же на каждом шагу сталкиваемся с симулякрами.

Р.Ш.: Симулятивная религиозная традиция напрочь лишена творческого начала, поскольку прямо заявляет: творчества сейчас нет – возвращаемся к истокам. Люди, которые провозглашают подобное, недостаточно образованны, чтобы понимать, что в одну и ту же воду дважды не войдешь. Невозможно восстановить реалии I века, вернувшись во времена Иисуса Христа и апостолов: другой язык, другая ментальность, другой быт. Иначе говоря, религия в нашем мире оказалась периферийной из-за своего нетворческого характера. А могла бы, наоборот, остаться творческой и современной. Нынешней религиозности, на мой взгляд, не хватает культуры, что отчетливо просматривается в сравнении. Так, византийское законодательство в отношении неправославных было предельно жестким: по закону всех, кто не приобщен к православной вере, требовалось ставить перед выбором – либо православие, либо меч или изгнание. Но практика была совсем иной, потому что, помимо религиозной истины и ее юридических следствий, в социальном пространстве византийцев имелось и кое-что еще: цивилизационный, культурный опыт и цивилизационное, культурное благоразумие. Именно культура в широком смысле позволяла им не соблюдать собственные законы, в правомерности которых, кстати, никто из них не сомневался. Посмотрите, православие стало государственной религией в 381 году, но насквозь языческую Афинскую академию закрыли только в 525-м, причем без репрессий. Кроме того, лакмусовой бумажкой служит отношение к евреям. Византийцы были убеждены, что евреи распяли Христа и потому заслуживают самого худшего. Но при этом в Византии никогда не было еврейских погромов. А в Западной Европе они были, подтверждая ее более низкий цивилизационный уровень.

**ДМИТРИЙ ЕРМОЛЬЦЕВ –
РУСТАМ ШУКУРОВ**

«ТЕКСТ ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА
СОВПАДАЕТ С ИСТИНОЙ»

**Культурный контекст – единственный противовес,
который способен умерить ярость религиозной
истины. Если человек верит без культуры, то лучше
бы он не верил вообще.**

Д.Е.: Иначе говоря, нам есть чему поучиться у Средневековья?

Р.Ш.: Современные радикалы создают ситуацию, когда религиозная истина находится вне культурного контекста. А культурный контекст – единственный противовес, который способен умерить ярость религиозной истины. Если человек верит без культуры, то лучше бы он не верил вообще, на мой взгляд. Если целое общество верит без культуры, выставляя религиозные истины в качестве базовой политической идеологии,



**ДМИТРИЙ ЕРМОЛЬЦЕВ –
РУСТАМ ШУКУРОВ**

«ТЕКСТ ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА
СОВПАДАЕТ С ИСТИНОЙ»

то это опасно, с этим нужно что-то делать. Наверное, у Средних веков стоит учиться отношению к религии. В те времена она жила динамично и творчески, никогда не останавливаясь в своем развитии. Вызовы, постоянно предъявляемые жизнью, вызывали ответную реакцию богословов, которые, говоря нашим языком, модернизировали религиозную традицию в свете изменившихся обстоятельств. По-моему, неудача нашей цивилизации обусловлена статичностью ее сознания. Кризис в гуманитарных технологиях очевиден. Вплоть до середины XX века и даже чуть позже у нас была уверенность в том, что мы в состоянии, используя строгий инструментарий, воспроизвести истину. Но, похоже, наша цивилизация истину не ухватывает как раз в силу своей логоцентричности и текстоцентричности. Я между тем верю, что истина в мире есть. Она не поддается статической фиксации, но раскрывается в динамическом аспекте – и не обязательно в речевом. Ведь текст далеко не всегда совпадает с истиной: истина динамична, а текст статичен.

Москва, август 2020 года

Московский концептуализм и исторический авангард, или Деконструкция деконструкции

ИГОРЬ
СМИРНОВ

Выявление оснований, на которых покоится московский концептуализм, крайне затруднено тем, что он был занят предвосхищением направленных на него исследовательских усилий, снабжая свою художественную продукцию автоинтерпретациями, отчасти предназначенными для внутреннего пользования (как, например, обсуждения участниками «Коллективных действий» *post festum* проводившихся ими перформансов¹), отчасти адресованными реципиентам (в первую очередь в этой связи следует назвать многочисленные работы Бориса Гройса, популяризовавшего и толковавшего творчество группы, к которой он сам принадлежал, вначале главным образом для западной, а затем и для русской публики). Рассчитывая стать долгосрочной информационной ценностью, всякое произведение искусства защищает себя от того, чтобы быть исчерпывающе понятым. Обычным приемом такой стратегии служит расслоение художественной семантики на



1 Как писал Андрей Монастырский в предисловии (1980) к документации «Коллективных действий», «во время акции расширенная интерпретация исключается, но потом она неизбежна» (Монастырский А. и др. *Поездки за город*. М., 1998. С. 20).

ПОЛИТИКА
(СОВЕТСКОЙ)
КУЛЬТУРЫ

Игорь Павлович Смирнов (р. 1941) – автор многочисленных статей и книг гуманитарного профиля, основной научный интерес сосредоточен на теории истории. Живет в Констанце (Германия) и Санкт-Петербурге.

явную и скрытую, загадочную. Выражая в экстремальной форме самоохранительную установку, свойственную эстетической деятельности, Сьюзен Зонтаг призвала в эссе «Against Interpretation» (1964) вовсе отказаться от умопостижения художественного творчества ради сопереживания ему («Взамен герменевтики нам нужна эротика искусства»²). Концептуализм в его московском исполнении обратил требование Зонтаг в собственную противоположность, включив интерпретацию в художественное произведение в качестве его конститутивного элемента³. Перед нами как будто отказ авторов от искусства, сопротивляющегося проникновению в его тайну. Но это придание эстетическим явлениям прозрачности обманчиво. Интерпретации словесных, изобразительных и акциональных текстов, предпринимавшиеся их авторами, не более чем дальнейшие акты художественного творчества, вторичные произведения искусства, подлежащие такой же дешифровке, как и первичные. Пусть секундарное искусство такого рода и принимает часто вид аргументативно-рационализованной речи, оно составляет предмет эстетического созерцания, будучи интегрированным в примарном творческом продукте, и не может поэтому считаться вполне достоверным, вовсе не фикциональным. В сущности, мы имеем здесь дело с особенно изощренной техникой засекречивания содержания, таящегося в глубине того, что нам сообщается. Дефензивная функция самоописания остается у московских нонконформистов в силе и тогда, когда оно отчуждается от собственно текстопорождения, выходит за его предел: отправленное широкой аудитории, оно – в кураторском жесте – убеждает ее в легитимности концептуализма. Сторонним наблюдателям концептуализма внушается мысль о том, что им нечего добавить к сказанному об этой эстетической системе – метаавтореферентной, претендующей на то, чтобы вывести на поверхность всю свою подоплеку, быть откровением о себе самой. Антитетичная по отношению к проекту, предложенному Зонтаг, концептуалистская эстетика дает в конечном счете одинаковый с ним результат: в обоих случаях у воспринимающего сознания отнимается право на свободное соревнование с сознанием производительным.

Сцепление художественного текста с его трактовкой явственно отличает концептуализм от постсимволистского авангарда, так же бывшего склонным опережать рецепцию своих созданий в поэтологической рефлексии, но при этом строго отделявшего манифесты и теоретические трактаты от первич-

2 SONTAG S. *Against Interpretation* // *A Susan Sontag Reader*. London, 1982. P. 104.

3 Гройс отсчитывает начало этого совмещения эстетической практики с ее комментированием от альбомов Ильи Кабакова 1970-х: Гройс Б. *Эстетизация идеологического текста* [1990] // Он же. *Утопия и обмен*. М., 1993. С. 285.

ного творчества (как то имело место, допустим, у Казимира Малевича или Сергея Эйзенштейна). Социокультура, возникшая в 1910-х, отправлялась от идеи самotoждественного автора, для которого, соответственно, каждая его роль была равна себе, не смешиваясь с другими ролями. Концептуализм отменил дифференциацию авторских позиций и поставил под сомнение твердую идентичность творческих личностей, вменив им фикциональный статус в произведениях, атрибутированных вымышленным писателям и живописцам («персонажным авторам», по ставшему ходовым определению Свена Гундлаха⁴). Как бы концептуализм ни преподносил себя в интра- и интеркоммуникации, в объективном освещении он явился отрицанием авангардистского проекта. Мы будем в состоянии избежать зараженности концептуалистскими автопрезентациями, если станем на диахроническую точку зрения, которая позволяет вести речь о предпосылках изучаемого явления, в нем самом завуалированных.

ИГОРЬ СМЕРНОВ
МОСКОВСКИЙ КОНЦЕПТУАЛИЗМ И ИСТОРИЧЕСКИЙ АВАНГАРД...

Сторонним наблюдателям концептуализма внушается мысль о том, что им нечего добавить к сказанному об этой эстетической системе – метаавтореферентной, претендующей на то, чтобы вывести на поверхность всю свою подоплеку, быть откровением о себе самой.

1

Одно из главных намерений исторического авангарда состояло в том, чтобы начать историю заново, передвинуть генезис социокультуры из прошлого в современность и будущее. Авангард абсолютизировал генезис, приписав всепреобразующую мощь собственному происхождению. Для зародившегося в 1970-е московского неофициального искусства эта целеположенность авангардистского творчества воспринималась как потерпевшая крах. Все инициативы по обновлению социокультуры – ее прошлое. В актуальном состоянии она допускает только повторение достигнутого ею прежде и обрекает творческую индивидуальность на пребывание в точке опустошенного генезиса. Не низводить креативный порыв к рутине, быть на острие эстетического развития удастся в таких условиях, лишь наделяя былой авангард обратным знаком, беря назад его свершения. Работа, сделанная концептуализмом, заклю-

⁴ Гундлах С. *Персональный автор* // Литературное А-Я [Париж]. 1985. № 1. С. 76–77.



чалась в подстановке на место авангардистских начинаний им противоречащих или аннулирующих их антитез⁵.

В ряд центральных тем концептуализма входит невозрождаемость авангардистских экспериментов и – в более общем плане – несостоятельность попыток переиначить ход истории. Отмеченные влиянием кубизма и супрематизма картины выдуманного Ильей и Эмилией Кабаковыми художника Шарля Розенталя (инсталляция «Альтернативная история искусства», 2008) обнаруживают, что их создатель страдал нехваткой зрения (на его полотнах есть слепые пятна). Эволюция живописной манеры Розенталя влечет его в сторону соцреализма. Почти одержимый в брежневские годы интерес московского андерграунда к тоталитарной социокультуре 1930–1950-х не в последнюю очередь объясняется тем, что она обесправила авангард. По мнению Гройса («Стиль Сталин»)⁶, она была органическим следствием самого авангарда и предвосхитила концептуалистскую эстетику. Авангард теряет в этой схеме свое своеобразие, растворенный в конкурирующем образовании, а сталинизм оказывается в ней ключом к разгадке искусства текущей современности. Полотно Виталия Комара и Александра Меламида «Происхождение социалистического реализма» (1982), на котором портрет Сталина рисуется кистью, обводящей контуры его тени, иллюстрирует рассказ из «Естественной истории» Плиния о тени как источнике возникновения живописного изображения⁷. Претензия авангарда на первозданность отбирается у него и передается соц-артом, пусть и не всерьез, тоталитарному искусству. В «Тридцатой любви Марины» (1982–1984) Владимира Сорокина диссидентка, желающая изменить советский строй, превращается в послушную исполнительницу его требований и обезличивается в трудовом коллективе.

В противоход к авангарду концептуализм выхолащивает из нового его субстанциальное содержание. По идее Гройса, новое – это не что иное, как ревалоризация старого, как сакрализация того, что было профанным, и уничтожение считавшегося священным⁸. Излюбленный в авангарде жанр манифеста, знакомый нас с будущим еще до того, как оно осуществилось

5 Одновременно концептуализм вел полемику с распространившимися в 1960-е усилиями реанимировать классический авангард (скажем, беспредметную живопись, которую восстанавливал в правах Эдуард Штейнберг).

6 Одно из последних изданий: Гройс Б. *Gesamtkunstwerk Сталин*. М.: Ad Marginem, 2013.

7 См. подробно: Стоикита В. *Краткая история тени*. СПб., 2004. С. 131–133.

8 Groyes B. *Über das Neue. Versuch einer Kulturökonomie*. München; Wien, 1992. Свои взгляды на полемику концептуализма с авангардистским культом новаторства Гройс наиболее отчетливо изложил в статье «Несказуемость банального», где эта контроверза была рассмотрена в плане отношения обоих эстетических движений к практической речи, преодолеваемой во втором случае и захватывающей собой поэзию в первом: IDEM. *Zwei Reden über moderne Dichtung. 1. Das Unausprechliche des Banalen* // *Schreibheft*. 1993. № 42. S. 27–31.

в творческой практике, торопящий наступление нового, выражается в «Манифестах» (1987–1993) Дмитрия Александровича Пригова так, что настоящее, обсуждаемое в них, выступает периодом, не обещающим никакого перехода в иное состояние: «Мы [...] находимся в [...] застывшем, зависшем времени»⁹. Концептуалистский текст нередко свертывается к проекту некоего произведения, которое остается нереализованным, навсегда задержавшимся в прошлом: таковы как бы вчерне, без окончательной определенности набросанные эскизы к пьесе в сочинении Льва Рубинштейна «Все дальше и дальше» (1984), завершающемся ремаркой, которая сообщает о нарастании шума – об информационном обрыве пути от обдумывания замысла к его воплощению. В рубинштейновском «Появлении героя» (1984) четырехстопный ямб (вроде: «Давай пешочком до метро»¹⁰) складывается не по ту сторону повседневного общения, а в нем самом: стихотворная речь лишается небывалости в сравнении со словесной рутинной. В поэме Андрея Монастырского «Так же, как везде» (1976) тема текста не сменяется ремой, потому что представляет собой общезначимое отрицание, из коего нельзя предпринять дальнейшие выводы: «все стало неначатым [...] все стало неясным [...] все стало непонятным»¹¹ и так далее. В живописи безвыходность данного находит выражение в запирании открытых пространств – как, скажем, в ставшем классическим полотне Эрика Булатова «Горизонт» (1971–1972), на котором линия схождения неба и земли затянута орденой лентой. По колористике (красное с золотым) эта лента отправляет нас к «Красной коннице» (1928–1932) Малевича, у которого то же самое сочетание цветов маркирует горизонт, дающий зрителям возможность увидеть в глубине картины вереницу всадников¹². Как и многие другие концептуалисты, Булатов пародирует авангард. Завуалированное у Булатова пародирование авангардистской экспериментальной живописи обнажил среди прочих Павел Пепперштейн, продемонстрировавший на своей персональной пражской выставке «Memory is over» (2016, куратор – Томаш Гланц) – картину, которая совместила несовместимое: «Битву кентавров» (1873) Арнольда Бёклина с работой Эль Лисицкого «Красным клином бей белых» (1920). Концептуализм ввел в оборот серийное производство художественного продукта, постоянно возвращающегося в свой исходный пункт, будь то альбомы Кабакова или периодически возобновляющиеся акции участников организованных Монастырским «Поездов

ИГОРЬ СМЕРНОВ

МОСКОВСКИЙ КОНЦЕПТУАЛИЗМ И ИСТОРИЧЕСКИЙ АВАНГАРД...

9 Пригов Д. *Манифесты* // Wiener Slawistischer Almanach. 1994. № 34. S. 301.

10 Рубинштейн Л. *Домашнее музицирование*. М., 2000. С. 171.

11 Монастырский А. *Поэтический мир*. М., 2007. С. 121.

12 См. подробно: Смирнов И. *Homo homini philosophus...* СПб., 1999. С. 154–155.



за город»¹³. На периферии концептуалистского круга из приостановленного добывания нового выросла центонная поэзия Тимура Кибирова, погруженная в претексты.

Если реальность в концептуалистской эстетике и трансцендируема, то таким образом, что превращается в ничемную, неценную. Таков подтекст мусора в инсталляциях Кабакова и выстроенной им в качестве арт-объекта общественной уборной («Туалет», 1992)¹⁴. Засорение изобразительного пространства конфронтирует с катарсической нацеленностью раннеавангардистского творчества, ставившего себе задачей очищение социокультуры от всех ее исторических накоплений с тем, чтобы она вторично развернулась с чистого листа (каковым исчерпывалась «Поэма конца» (1913) Василиска Гнедова). В концептуализме пародируется и *tabula rasa* футуристов («Тридцать пять новых листов» (1981) Рубинштейна мультиплицируют пустую страницу «Поэмы конца»), и авангардистский катарсис (один из перформансов, проводившихся Вадимом Захаровым в 1978–1980 годах в Москве, состоял в том, что он вышел на улицу с метлой, ничем не отличаясь от заурядного дворника). Произошедшее трансцендирование преподносится концептуализмом и как противоречащее естественному положению вещей и здравому смыслу, как возможность, ввергающая нас в неопределенность: в инсталляции Кабакова «Человек, улетевший в космос из своей комнаты» (1980) рваная пробоина в потолке помещения свидетельствует, что событие, профанирующее сакральное вознесение на небо, и впрямь совершилось, но при этом мы не получаем никакой информации об обстоятельствах случившегося.

Неясность результатов, которыми чревато трансцендирование, не позволяло концептуалистам однозначно подытожить

13 Ср. еще: Янечек Дж. *Серийность в творчестве Д.А. Пригова // Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов (1940–2007)* / Под ред. Е. Добренко и др. М., 2010. С. 501–512. Вслед за Георгом Витте (WITTE G. *Appell – Spiel – Ritual. Textpraktiken in der russischen Literatur der sechziger bis achtziger Jahre*. Wiesbaden, 1989. S. 145 ff) можно говорить о ритуальном характере серийной поэтики у концептуалистов. Важно, однако, подчеркнуть, что она не имеет ничего общего с мифопоэтикой авангарда, восстанавливавшей архаическую семантику. Концептуалистская ритуальность имеет в виду не воспроизведение первотворения, как в авангарде, для которого социокультура возникает в настоящем еще раз по образцу ее далекого прошлого, а порабощение художника его современностью (коммунальным бытом у Кабакова) или неизбежность, безальтернативность бегства художника из сферы символического порядка («Поездки за город»).

14 К теме отходов и отбросов в работах Кабакова ср., например: КАВАКОВ I., GROYS B. *Die Kunst des Fliehens. Dialoge über Angst, das heilige Weiß und den sowjetischen Müll*. München; Wien, 1991. S. 103–136; GLANZ T. *Видение русских авангардов*. Praha, 1999. С. 124–131. Включение мусора в поле зрения искусства объединяет концептуализм с авангардом-2 (например с прозой Андрея Платонова), сложившимся в середине 1920-х, в отталкивании от раннеавангардистских программ. Сопоставление концептуализма с творчеством второго поколения авангардистов выходит за рамки моей статьи. Замечу все же, что это творчество, пусть и ознаменовавшее собой кризис авангардистской утопии, было проникнуто ностальгией по ней, отнюдь не свойственной концептуализму. Ставя под вопрос чаяния авангарда-1, его смена снижала значимость того, что ему противоречило: коллекционирование в романах Константина Вагинова приходит на место войны, объявленной футуристами музею, но это собирательство довольствуется малоценными объектами – оно ничтожно.

его мотивом смерти. Загородные вылазки группы «Коллективные действия» (кстати сказать, оспаривающие футуристический урбанизм¹⁵) сразу и намекали на свою гибельность, и опровергали ее. Так, действующие лица акции, предпринятой 28 мая 1978 года неподалеку от деревни Киевы Горки, то исчезали в заранее вырытых ямах, то появлялись оттуда (иногда в фиолетовых балахонах, иногда в будничной одежде). Еще одна, там же разыгранная 18 сентября 1983 года, акция не более чем лишь имитировала орфический спуск в преисподнюю, придавая ему обыденный и к тому же сугубо воображаемый модус (тогда как авангардистский орфизм бывал и впрямь самоубийственным): приглашенным на этот перформанс лицам предлагалось прослушать магнитофонные записи объявлений, звучащих в московском метро¹⁶. Нераскрываемость цели, преследуемой «Поездками за город», уравнивала их финал с подготовкой к ним, с еще не совершенной акцией. По словам Монастырского, «если поле ожидания “пусто”, то и само ожидание как психическое переживание концентрируется и ощущается как почти достаточное (пред-достаточное) состояние»¹⁷. Выдвижение на передний план категории ожидания роднило концептуализм с тоталитарной социокультурой. Но там ожидание было сдобрено обещанием (победы коммунизма, наступления тысячелетнего господства нордической расы). В эстетике же московских нонконформистов и преддверие события, и оно само одинаково не насыщены смыслом – точнее, если и наполнены, то *несмыслом*. Роман Сорокина «Очередь» (1983), передающий разговоры людей, ожидающих начала торговли в магазине, заканчивается выяснением того, что товар еще лежит неучтенным на складе. Эта комическая по своей природе ситуация усилена тем, что текст подходит к финалу в *quid pro quo*: свое неудовлетворенное консюмеристское вожеление герой «Очереди» возмещает тем, что получает в эротическое обладание тело продавщицы.

ИГОРЬ СМЕРНОВ

МОСКОВСКИЙ КОНЦЕПТУАЛИЗМ И ИСТОРИЧЕСКИЙ АВАНГАРД...

15 К антиурбанизму «Коллективных действий» ср.: Монастырский А. «КД» и «Поездки за город» // Художественный журнал. 1999. № 24. С. 26–27.

16 Ср. замечания о «формализованной» мистериальности «Поездок за город»: ГРИГОРЬЕВА Н. *Мистерия в советском неофициальном искусстве 1970–1980-х годов (московский концептуализм)* // Энергия кризиса / Под ред. К. Ичин, И. Калинина. М., 2019. С. 265–288. О пустотности в «Коллективных действиях» см. подробно: SASSE S. *Texte in Aktion. Sprech- und Sprachakte im Moskauer Konzeptualismus*. München, 2003. S. 136 ff. Похоже, что перформансы, инсценированные Монастырским, стали предметом внутригрупповой пародии в романе Сорокина «Сердца четырех» (1991), персонажи которого производят бессмысленно-загадочные действия (возглавляющий их Генрих Штаубе залезает в куб, откуда называет ряд ничего не значащих цифр, похожих на шифrogramму, и тому подобное), а в концовке, уехав из Москвы в Сибирь, ложатся в «ледяном поле» под пресс, выбрасывающий наружу их сердца в виде игральные кости. В пародийной редакции нейтрализованная гибельность «Поездок за город» оборачивается оргией убийств, протягивающихся в романе непрерывной чередой. Но доподлинная смерть в концептуалистском тексте так же несерьезна, как и мнимая, будучи всего-навсего игровым абсурдом, литературной травестией, скрытно отсылающей, если моя догадка верна, к художественной деятельности соратников по школе.

17 Монастырский А. и др. *Указ. соч.* С. 21.



Согласно хорошо известному определению Иммануила Канта (из «Критики способности суждений», § 54), смех – это аффект, сопровождающий превращение напряженного ожидания в ничто. В концептуализме, для которого новое либо отсутствует, либо не имеет ценности и определенности, рядка творческого акта в ничто не просто один из видов текстопорождения, а его доминанта, его условие *sine qua non*. Концептуалистское произведение искусства смешно в обязательном порядке. Гройс был, без сомнения, прав, когда обратил внимание на юмористическую сторону работ, выполненных московскими неофициальными художниками, но напрасно вывел концептуалистский смех из советской литературы 1920–1930-х, снижавшей «большой стиль» социалистического реализма, и зря не опознал полный объем этого смеха, увидев в нем по преимуществу следствие уступки авторами своих функций выдуманным лицам¹⁸. Надевание на себя маски карнавально. Между тем комическое в концептуализме далеко выходит за пределы карнавала в бахтинской трактовке, хотя и сохраняет в себе его следы. Этот глубоко оригинальный, ранее духовной истории неизвестный комизм являет собой, в отличие от карнавального, не смех над серьезным, а смех всерьез, неотделимый от творчества как такового, попавшего в своей критике авангардистской абсолютизации генезиса в такое положение, в каком оно может быть релевантным, производительным только в режиме самоустранения и самоумаления. Подрывающий саму креативность концептуалистский смех подчеркивает и тот этап социокультуры, на котором она пребывала в 1910–1950-е, и его закономерное преобразование на последующей стадии, но не предлагает ничего иного, кроме этой трансформации прежнего художественного опыта, продолжая вовсе не шуточно наращивание истории. Быть в истории, трудясь на нее, и смеяться над ней – для концептуалистов одно и то же. Поскольку человек – историческое существо, постольку их смех не частно-, а общезначим, тотален, философичен, ориентирован антропологически.

Концептуалистский комизм часто бывает эксплицитным, как, например, в стихотворном цикле Пригова «Тараканомания» (1981) или в случае вырождения картины в список жильцов коммунальной квартиры в кабаковском «Выносе помойного ведра» (1980)¹⁹. Но не реже смех всерьез оказывается затаенным. То, что объемистый «Роман» (1989) Сорокина, повествующий

18 Гройс Б. *Новое русское искусство: художник как персонаж юмористического романа* [1992] // Он же. *Утопия и обмен*. С. 292–297.

19 Ср. обсуждение чисто смеховой функции арт-объектов, создававшихся группой «Синие носы» (Александр Шабуров и Вячеслав Мизин), одного из ответвлений концептуализма: Липовецкий М. *Паралогии. Трансформации (пост)модернистского дискурса в культуре 1920–2000-х годов*. М., 2008. С. 504.

о чудовищном уничтожении сельской идиллии, принадлежит к смеховой культуре, становится очевидным только из последней фразы текста: «Роман умер»²⁰. Она явно указывает на героя произведения, который носит имя «Роман», но вместе с тем подразумевает гибель жанра, намекая на статью Осипа Мандельштама «Конец романа» (1922), и тем самым осуществляет смеховой переворот до того описанных злодейств, переводя их в литературно-игровой план²¹. Прежде всего концептуалисты, скептически относившиеся к *creatio ex nihilo*, потешаются над демиургом и культурными героями, что составляло одну из главных задач соц-арта в живописи и в его литературных филиациях, скажем, в стихотворном цикле Кибирова «Когда был Ленин маленьким» (1984–1985), который открывается порно-сценой в семье Ульяновых-старших, зачинающих сына – вождя большевистской революции. Помимо конкретизированных выпадов против признанных авторитетов, демиург осознается концептуалистами как плод фантазии, коль скоро они отдают предпочтение мистифицированному авторству. Обычно московское неофициальное искусство последней трети XX века понимается его исследователями как деидеологизирующее²². Такой подход к нему во многом оправдан. Однако оно не ограничивается подрывом идеологий и компрометацией ангажированных художественных произведений. Оно то и дело переступает черту этого задания, поднимая на смех, десублимируя созидание во всех его проявлениях²³. В пьесе Сорокина «Юбилей» (1989) распад постигает драматургию даже такого противившегося идеологизации литературы писателя, как Чехов. Плодовитость – объект иронии в инсталляции Кабакова «Моя родина (Мухи)» (1991) и в иных его работах о «жизни мух»²⁴. (Стоит заметить, что быстро размножающиеся дрозоды, изучение которых было важно для хромосомной теории наследственности, послужили поводом для насмешек над генетиками на августовской сессии ВАСХНИЛ (1948), легитимировавшей лысенковщину; впрочем, этот контекст – лишь один из многих, значимых для мух Кабакова). В неприятии зачинательности концептуализм не страшится ломать, казалось бы, непоколебимые табу. В новелле Сорокина «Настя» (2000) биологическая продолжаемость рода прерывается тем, что родители съедают собственную дочь

ИГОРЬ СМЕРНОВ

МОСКОВСКИЙ КОНЦЕПТУАЛИЗМ И ИСТОРИЧЕСКИЙ АВАНГАРД...

20 Сорокин В. *Роман*. М., 1994. С. 311.

21 О смеховом начале в прозе Сорокина см. подробно: Смирнов И.П. *Видимый и невидимый миру юмор Сорокина* // Место печати. 1997. № 10. С. 60–76.

22 См., например: Бобринская Е.А. *Концептуализм*. М., 1994 [стр. не нумерованы].

23 Что побудило Оге Хансен-Лёве говорить о «псевдопрофессионализме» концептуалистов: HANSEN-LÖVE A.A. *Kunst/Profession. Russische Beispiele zwischen Avantgarde und Konzeptualismus* // STEINER B. (Hrsg.). *Lost Paradise. Positionen der 90er Jahre*. München; Stuttgart, 1995. S. 89 ff.

24 Ср. автокомментарий к этой теме: КАБАКОВ И. *Жизнь мух* / КАБАКОВ I. *Das Leben der Fliegen*. Köln: Kölnischer Kunstverein, 1992.



в день, когда ей исполняется 16 лет. В альбоме Олега Кулика и Сорокина «Вглубь России» (1994) одна из фотографий запечатлела *cunnilingus* Кулика, разыгравшего вступление в половой контакт с лошастью. Ясно, что альбом подхватывает эпатажную традицию, учрежденную футуризмом и дадаизмом. Но если там на вседозволенность претендовал творец, то здесь она достоинство того, кто занимает непродуктивную позицию в ее более непревосходимом максимуме (ведь Кулик отнимает возможность размножения и у человека, и у животного).

Кантовское ничто, в которое упирается смех, возникает оттого, что комизм нейтрализует (по принципу «ни то ни другое») всяческие различия: между культурой и природой, мужским и женским, своим и чужим, знаком и референтом и так далее. Снятие оппозиций – характернейший показатель концептуалистского искусства. «Коллективные действия» привязывают эстетически отмеченные перформансы к естественной среде. Пригов выступает автором поэтического цикла «Женская лирика» (1989). Сплошь и рядом концептуализм присваивает себе чужие стили (особенно виртуозно и смешно они были апроприированы в сорокинском «Голубом сале» (1999)) и упраздняет *copyright* (картина Кабакова «Проверена» (1981) воспроизводит полотно мало известного соцреалиста Н. Алехина). Референтами целого ряда живописных работ Булатова были письменные знаки, а в его «Улице Красикова» (1976) путь прохожим преграждает гигантское панно с изображением Ленина. По словам Булатова, «весь мир стал искусством»²⁵. Картина Ивана Чуйкова «Дорожный знак» (1973) и вовсе мало чем разнится с регулирующим уличное движение указателем, который запрещает обгон. В тех обстоятельствах, в которых дифференциации, необходимые для утвердительного моделирования мира, теряются, затрудненным становится и саморазличение художника. Он остается собой только в роли, так сказать, режиссера в театре, на сцене которого все обратимо в свою противоположность, порождая комический эффект. Художник самотождествен в той мере, в какой он отвечает за замысел (концепт) постановки, стирающей на выходе те или иные антитезы, в том числе и несходство подлинного с подменным. Аутентична интенция, вызывающая к жизни художественное произведение, но не оно само.

Под таким углом зрения предложенное Гройсом именование московского андерграундного искусства, которое заявило о себе в 1970-е, «концептуализмом»²⁶ вполне оправдано. Не приходится сомневаться, что это искусство имеет много общего

25 Булатов Э. *Поверхность – свет* [1981] // Кабаков И. 60-е – 70-е... *Записки о неофициальной жизни в Москве* [Wiener Slavistischer Almanach, Sonderband 47]. Wien, 1999. С. 240.

26 Гройс Б. *Московский романтический концептуализм* // А – Я. Paris, 1979. № 1. С. 3–11.

с *conceptual art* – изобретением Джозефа Кошута, которым тот обратил на себя публичное внимание в конце 1960-х. Так, установку Кошута на связывание арт-объекта с контекстом, оглашенную им в одном из интервью в 1985 году²⁷, вполне разделял Кабаков, для которого «включение окружающего пространства в инсталляцию» послужило аргументом для ее понимания в качестве «тотальной»²⁸. Центральное требование, на котором покоилась эстетика Кошута, заключалось в переносе акцента с «явления» искусства на лежащие в его основе «пропозиции», что вело к замещению в арт-объектах иконических знаков письмом (излюбленному приему также московских концептуалистов²⁹). По формулировке Кошута: «Искусство – это дефинирование искусства»³⁰. В обеих версиях – в западной и русской – концептуализм был не согласен с авангардистским представлением об искусстве как «делании вещей» (и – шире – с таким подходом к социокультурным завоеваниям, который игнорировал их конвенциональность), сосредотачиваясь на мыслительной стороне творческого процесса³¹. При всем своем сходстве два направления одинаково десигнативной художественной культуры, однако, по-разному целеположены. Экстрагирование из искусства его понятийного содержания – у москвичей не просто умственная операция, эмоционально не окрашенная, как у Кошута, а аффективно нагруженный акт смеха, превращающего саму эту процедуру в разрушающуюся, импловивную³². Московский концептуализм отнюдь не рассчитывает на то, что его концепты будут приняты за однозначно аффирмативные. Распорядитель спектакля здесь аутентичен в своей веселой фрустрации. Складывающиеся в лозунг «Слава КПСС» буквы на одноименной картине Булатова (1973) обесценивают не только живописный мимезис, но и самих себя в качестве средств, делающих эстетическую реальность читаемой. В конечном счете смешон концептуалистский нигилизм, попирающий нигилизм же авангар-

ИГОРЬ СМЕРНОВ

МОСКОВСКИЙ КОНЦЕПТУАЛИЗМ И ИСТОРИЧЕСКИЙ АВАНГАРД...

27 Kosuth J. *Interviews. 1969–1989*. Stuttgart, 1989. P. 76.

28 КАБАКОВ И. «Тотальная» инсталляция // *НОМА, или Московский концептуальный круг / NOMA, oder Der Kreis der Moskauer Konzeptualisten*. Zürich, 1993. С. 170.

29 В русской философской традиции переводимость любых художественных знаков в вербальные была задолго до концептуализма постулирована Густавом Шпетом в его «Эстетических фрагментах» (1922–1923), направленных против футуристического творчества (Шпет Г. *Искусство как вид знания*. М., 2007. С. 208). Для классического авангарда интрасемиотический перевод был невозможен, каждое из искусств замыкалось на себе самом: «Живописная живопись – вот лозунг живописца», – восклицал, к примеру, Николай Кульбин в статье «Кубизм» (*Стрелец. Сборник первый*. Петроград, 1915. С. 216).

30 Kosuth J. *Art after Philosophy* [1969] // ИДЕМ. *Art after Philosophy and after*. Cambridge; London, 1991. P. 24.

31 Ср. отрицательную оценку, данную Кошуту авангарду: ИДЕМ. *Interviews...* P. 63.

32 Московский концептуализм – звено в той цепи русских смеховых сообществ, которую начинает опричина (в той мере, в какой та породила монастырский быт) и продолжают Всешутейший и Всепьянейший соборы Петра I, «Арзамас», содружество обзриутов-чинарей и прочие сходные с ним явления в артистической среде XX века; см. подробно об истории этого явления: ШАХАДАТ Ш. *Искусство жизни. Жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI–XX веков*. М., 2017. С. 121 (SCHANADAT S. *Das Leben zur Kunst machen*. München, 2004).



да, который надеялся стать художественной культурой после ее конца, расправившись с ней. Смешон нигилизм *ad infinitum*.

Художник самотождествен в той мере, в какой он отвечает за замысел постановки, стирающей на выходе те или иные антитезы, в том числе и несходство подлинного с подменным. Аутентична интенция, вызывающая к жизни художественное произведение, но не оно само.

2

Тема, открывающая беседы Гройса и Кабакова об искусстве и его предпосылках, – «ужас». По признанию Кабакова, страх, который он постоянно испытывает, внушен ему переживанием его неписанности в систему принятых остальными людьми правил³³. Императив, которым могло бы руководствоваться «я» Кабакова, отсутствует. Эта конститутивная для самости неданность ей какой бы то ни было нормы, твердого принципа обобщается Кабаковым в проекции на искусство заявлением о том, что оно перестало быть «откровением»³⁴, то есть истиной. Концептуалистский комизм часто являет собой тот терапевтический прием, посредством которого выходят из фобийного состояния. В тексте Рубинштейна «Учителя без учеников, или Из-под глыб» (1997) чрезвычайно опасные для рассказчика ситуации вдруг перевоплощаются в самые что ни на есть мирные, побуждающие к смеху (пьяный громила, спрашивающий рассказчика в электричке, кого бы он мог убить, неожиданно засыпает на его плече). На такое же комическое превозмогание страха нацелены мнимо апокалиптические «Азбуки» Пригова – например, Сороковая («Конец света», 1985) или Пятьдесят седьмая («Поминальная», 1985). Концептуалистский страх – обратная сторона повышенной агрессивности, преобладавшей в художественной и прочей культуре 1910–1950-х. Тогдашняя нетерпимость к инаковости, к чужому мнению проистекала из убежденности этой социокультуры в том, что она и есть окончательная правда истории. Для концептуалистов в истории нет последнего слова (откуда моментальность преходящего творческого акта в «Поездках за город»), а в художественной деятельности – неперменной истины (если таковой считать

33 КАВАКОВ I., GROYS B. *Op. cit.* S. 11.

34 Ibid. P. 91.

не *adaequatio rei et intellectus*, а высокую духовную ценность искусства). Симулятивная эстетика концептуализма ставит на место тоталитарной веры в непобедимость идеи тексты, вводящие реципиентов в заблуждение. Они разоблачают идеологизирование, но вместе с тем не дают нам права держать их самих за доподлинные произведения искусства (что подчеркивается во многих стихотворениях Пригова нарочитой порчей литературного дискурса – таков, в частности, цикл «Явление стиха после его смерти», 1991). Концептуализм демистифицирует пафос предшествующего ему креативного труда, не выдвигая взамен ничего, кроме симулякров, и совпадая в этом аспекте с западным постмодернизмом в том его варианте, который был представлен в статье Жиля Делёза «Платон и симулякр» (она вошла в его книгу «Логика смысла», 1969³⁵), где фантомное определялось как разрушающее и образец, и его репродуцирование. Концептуалистская контркультура была политически нейтральной, потому что ее диверсионная работа направлялась не против власти в обществе, а против власти искусства, конкурирующей с государственной.

Разрешением антиномии, в которую впадал концептуализм, расколдовывавший былую претензию на аутентичность неаутентичным образом, было самоотрицание, самонаказание сформировавших его авторов – интроецирование страха, преследовавшего их. В «Каширском шоссе» (1989) Монастырский повествует о своем, вызванном раскаянием в греховности, бегстве из повседневности в «измененную реальность» (религиозного бреда), как бы посмертную, где он присутствует на «собственном отпевании» и чувствует «какую-то безопасность», ибо «внешний мир» более «не может причинить вреда»³⁶. Даже разочаровываясь в себе, концептуализм не отрешается от своего изнаночного авангардизма. Написанное в форме репортажа (о нарастании безумия и мытарствах души в преддверии Страшного суда), «Каширское шоссе» воссоздает лефовскую «литературу факта» – однако не применительно к опытной среде, а в сообщении из инобытия, из «мира эйдосов»³⁷. Роман Пригова «Живите в Москве» (2000), скомпонованный из множества самых разных небылиц об истории российской столицы, завершается карой, постигшей его создателя, которого разбивает паралич³⁸. Как и Монастырский

ИГОРЬ СМЕРНОВ

МОСКОВСКИЙ КОНЦЕПТУАЛИЗМ И ИСТОРИЧЕСКИЙ АВАНГАРД...

35 Рус. перев.: Делёз Ж. *Логика смысла*. М.: Академия, 1995.

36 Монастырский А. и др. *Указ. соч.* С. 571, 566. К изображению делириума в романе ср.: Гланц Т. *Самозванство и психоделика. Святость текста (проект словаря «Каширского шоссе» Андрея Монастырского)* // Место печати. 2001. № 13. С. 122–141.

37 Монастырский А. и др. *Указ. соч.* С. 586.

38 Наказание автора странным образом не было учтено в содержательном разборе приговского романа, предпринятого Михаилом Ямпольским в статье «Высокий пародизм» (*Неканонический классик Дмитрий Александрович Пригов (1940–2007)* / Под ред. Е. Добренко и др. М., 2010. С. 181–251).



в «Каширском шоссе», Пригов ведет в своем романе прения с авангардом, смещая его мотивы в несерьезный план. Желанное в «Человеке с киноаппаратом» (1929) Дзиги Вертова разрушение Большого театра становится у Пригова исторической реальностью, а увлекший футуристов проект Николая Федорова по воскрешению отцов ассоциируется с кремлевской геронтократией в финале брежневского правления страной. Но этим интертекстуальное содержание романа не исчерпывается. Он насыщен и отсылками к текстам близких Пригову авторов из концептуалистского круга. Так, «Живите в Москве» пародирует сорокинскую «Очередь» в рассказе о женщине, у которой расстроился желудок, пока она ждала, когда придет ее срок на покупку шубы в магазине. Болезнь повествователя подытоживает не только его недостоверный рассказ – она урок концептуализму, предупреждение об опасности, которой ему грозят его намерения³⁹.

Концептуализм демистифицирует пафос предшествующего ему креативного труда, не выдвигая взамен ничего, кроме симулякров, и совпадая в этом аспекте с западным постмодернизмом в том его варианте, где фантомное определялось как разрушающее и образец, и его репродуцирование.

Интенсивное внутригрупповое общение было, пожалуй, самым существенным из тех факторов, которые обуславливали динамику концептуалистской эстетической системы, чуткой и к внешним меняющимся обстоятельствам, но всегда ослаблявшей зависимость от них в диалоге, понятном прежде всего для посвященных. «Поездки за город» не предусматривали зрителей, были представлением для самих актеров. Концептуализм развивался через автотематизацию. Инсталляцию «Нома» (Гамбург, 1993) Кабаков выстроил в виде круглого помещения, поделенного на 12 секций, каждая из которых была посвящена участникам концептуалистского восстания против официального искусства. Замкнутый на себе в переключке своих членов, в кружковой интертекстуальности и домашнем теоретизировании концептуалистский коллектив выработал особый эзотерический язык, лексика которого была упорядочена и истолкована Монастырским⁴⁰. Это сугубо локальное

39 Ср. мотив «суда будущего» уже в «Вопросах к Сорокину Владимиру Георгиевичу от Пригова Дмитрия Александровича» (WIEDLING Th. (Hrsg.). *Gruppe / Группа. Texte aus Moskau*. Stuttgart, 1989. S. 82–127).

40 *Словарь терминов московской концептуальной школы* / Сост. А. Монастырский. М., 1999.

средство коммуникации контрастировало с футуристической «заумью», трансрациональной, как и оно, но предназначавшейся Велимиром Хлебниковым осуществить мечту о *lingua adamica* – об универсальном языке всего человечества. (В сочинении «Тридцатой любви Марины» в противоход к хлебниковской лингвоутопии язык коммунистической пропаганды, устремленный как будто к общезначимости, перерождается в набор бессвязных клише, в нонсенс.)

Погруженный в себя концептуализм отказывался быть представителем для чего бы то ни было ему внеположного. С логикориторической точки зрения он базировался на негативной метонимии, на отрицании того, что часть способна замещать целое, а целое – свои части. На картинах Виктора Пивоварова, написанных в пору зарождения концептуализма («Синие очки» (1970), «Ах» (1971) и другие), множество изолированных друг от друга предметов не складывались в композицию, подчиненную какому-то одному отчетливому замыслу, пребывали во фрагментированном парящем состоянии. В кабаковской «Номе» каждая часть сооружения самоценна – концептуализм в этой инсталляции не поддается обобщению, преподнесен в ней сформированным, по словам Пепперштейна, «из радикальных индивидуалистов, каждый из которых обретается в “нимбе” своей патотекстуальности»⁴¹. Исторический авангард канонизировал метонимическое мышление, осознав себя репрезентативным применительно к социокультуре во всем ее объеме и вменив отдельному автору ответственность за судьбу мира (что побудило Хлебникова объявить себя «Председателем земного шара», а дадаиста Йоханнеса Баадера – «Председателем человечества»). Концептуализм кладет конец идее репрезентативности. Заключительный текст «Трилогии» Сорокина, роман «23 000» (2005), рисует на своих последних страницах гибель Братьев Света – отборной элиты, взявшейся заместить собой род *hoto*, авангарда земной истории, взыскующего космической жизни. Переносы значений по смежности, позволявшие авангардистскому художественному творчеству не допустить разрыва между *pars* и *totum*, лишаются высокого смысла в фотоискусстве Бориса Михайлова, близком концептуализму и высоко ценимом его адептами (пусть иллюстрацией здесь послужит фотография из цикла «Неоконченная диссертация», изображающая заурядную встречу двух старух в районе новостроек и снабженная соответствующим авторским комментарием, который посвящен «съемке, проводимой автоматически» в сознании, «что ничего вроде бы особенного не снимается»⁴²).

41 ПЕППЕРШТЕЙН П. *Репорт «НОМА – НОМА» // НОМА, или Московский концептуальный круг...* С. 11.

42 MICHAÏLOV B. *Unvollendete Dissertation*. Zürich; Berlin; New York, 1998. S. 51.

ИГОРЬ СМЕРНОВ

МОСКОВСКИЙ КОНЦЕПТУАЛИЗМ И ИСТОРИЧЕСКИЙ АВАНГАРД...



Сказанное о негативной метонимии объясняет специфику отношений между первым и вторым поколениями концептуалистов. Концептуалистская молодежь, объединившаяся в 1980–1990-е под именем «Медицинской герменевтики», менее всего жаждала перехватить власть у основателей школы, стать полноправно репрезентативной для движения. «Медицинская герменевтика» оказалась частью целого, не замещающей его. История художественной культуры активизировалась без безоговорочного вытеснения прошлого настоящим – без того, чтобы быть и впрямь историей, сменой утвердившихся нормативов прежде небывальными. Младоконцептуализм симулировал историю, уже растратившую свой поступательный порыв у его непосредственных предшественников, что констатировал Кабаков: «Мы узнаем в медгерменевтах самих себя, хотя – будучи такими же симулянтами – мы по тем или иным причинам не догадывались, что скрывать этого не нужно». Реакция Кабакова на вторую концептуалистскую волну граничила с эйфорией: в только что процитированной беседе с Виктором Тупицыным он говорил об испытанной им «радости», возникшей «при чтении текстов медгерменевтов и знакомстве с ними самими»⁴³. Там, где старшие концептуалисты отчуждали от себя авторство в заведомо неаутентичных «я»-образах, совершается явление самости, инаковой в себе (раз она зависит от окружения), носительницы не собственного, а измененного (в том числе психотропно) сознания, бытующей в галлюцинаторной реальности, то есть овнутривающей симулятивность.

Избавленная от напряжения, каким неизбежно чревата история, протекающая в борьбе настоящего с прошлым, «Медицинская герменевтика» определила свое искусство как релаксированное – как «Великий Отдых», которому предалась «Культура, свободная от стратегий»⁴⁴ (читай: от учета будущего). Другой важный пункт в самоопределении «Медицинской герменевтики» – ее терапевтическое назначение. Если у концептуалистов первого призыва нехватка самотождественности, толкавшая их к экстатическому примериванию на себя заемных образов, кульминировала в резиньяции и болезни (как в текстах Монастырского и Пригова), то Пепперштейн объявил в «Апологии антидепрессантов» (1992), что пришла пора врачевания угнетенных состояний души:

⁴³ Тупицын В., Кабаков И. *Разговор о «Медгерменевтике»* // Место печати. 1998. № 11. С. 92, 94. Ср. соображения Гройса о непародийности вторичного использования медгерменевтами начинаний раннего концептуализма: Гройс Б. «Медицинская герменевтика», или *Лечение от здоровья* [1991] // Он же. *Утопия и обмен*. С. 317–321. Творчество Пепперштейна наиболее обстоятельно исследовано в диссертации Елены Кусовац «Концептуальное искусство Павла Пепперштейна» (Белград, 2017).

⁴⁴ Ануфриев С., Лейдерман Ю., Пепперштейн П. *Идеотехника и рекреация. Т. 1* / Под ред. П. Пепперштейна, Н. Шептулина. М.: Obscuri viri, 1989. С. 22.

«Тема депрессии и антидепрессантов позволяет нам говорить [...] о том, что такое “медицинская герменевтика” [...] как определенная интеллектуальная практика, созданная для облегчения “ментальных страданий интеллигентов”, то есть предоставляющая возможность таким образом интерпретировать собственную “внутреннюю речь”, чтобы эти интерпретации были изоморфны психотропным и транквилизирующим препаратам»⁴⁵.

ИГОРЬ СМЕРНОВ
МОСКОВСКИЙ КОНЦЕПТУАЛИЗМ И ИСТОРИЧЕСКИЙ АВАНГАРД...

Лечащее искусство прямо противоположно авангардистской эстетике шока. Адресуясь к учредителям концептуализма, оно надстраивается над «имиджевым» творчеством, выдвигает на передний план взамен бегства от «я» и вещания не от своего имени «расследование преступлений границ сознания, расследование преступлений»⁴⁶. Из творческого труда под маской не следуют чувство вины и боязнь наказания за присвоение себе чужой собственности – он становится предметом квазинаучной авторефлексии (с психоаналитическим обортоном). «Пустое я» не пугает Пепперштейна, апологетизировавшего «предел деиндивидуации»⁴⁷. Аналогично: попадание эстетической истории в мертвую точку не мешает в проекте Сергея Ануфриева и Вадима Захарова «Тупики» творчеству, которое черпает энергию из отражения этой ситуации. «Образовалась колоссальная яма, из которой не так просто выбраться. А может, и незачем. Начинается обустройство [...] собственно тупика», – пишут авторы проекта⁴⁸. Конструкция кабаковской «Номы» затрудняла зрителям выход из своего пространства. «Тупики» делают лабиринт «Номы» вовсе безбудущностным, не выводя, однако, отсюда заключение о смерти искусства. В инсталляции Захарова (сотрудничавшего с «Медицинской герменевтикой», но не входившего в группу) под названием «Колодец» (1983) дно провала уходило под землю – место обитания молодого человека, его хтоническое убежище.

Упразднявший весь социокультурный архив ради запуска в ход другой истории авангард, соответственно, проповедовал принцип экономии генеративных усилий, сжимавших свой контекст в границах времени сего часа. Концептуализм оппонировал редукционизму и функционализму авангарда в избыточном текстопорождении (число произведений, написанных Приговым, достигло, по его свидетельству, тридцати шести тысяч). У креативного процесса, лишившегося в концептуализме собственного смысла, который был пожертвован в пользу представления о невозрождаемости авангарда, нет заверше-

45 Декларацию Пепперштейна цитирую по рукописи. Немецкий перевод текста был напечатан в журнале «Via regia» (1997. № 48/49. С. 47–52).

46 Ануфриев С., Лейдерман Ю., Пепперштейн П. *Идеотехника и рекреация...* С. 27.

47 Пепперштейн П. *Белая кошка* // Место печати. 1998. № 11. С. 46–47.

48 Ануфриев С., Захаров В. *Тупик нашего времени*. [Б.м.], 1998. С. 38.



ния в себе. Созидание не удовлетворяется созданным, требует продолжения после уже достигнутого результата, не обходится без излишка (без *supplément*, по терминологии Жака Деррида). Если произведение концептуалистского искусства и завершаемо, то в интерпретации, которую оглашает его автор, в само-добавлении, в *circulus vitiosus*. «Медицинская герменевтика» (особенно в лице Пепперштейна) превратила и интерпретатора в отправителя безостановочных, избыточно нарастающих сообщений. Тогда как в раннем концептуализме толкования затемняли своей серьезностью (конечностью) смеховую сущность художественного текста, то в позднем и они, не находя исхода, вырываясь тем самым из-под контроля целеположенной рациональности, сделались явлениями комизма. У Пепперштейна «сознание развлекает себя; оно “смешит” само себя, как Царевну-Несмеяну, продолжая [после своих актов. – И.С.] создавать нелепые и комичные герменевтические фигуры» («Апология антидепрессантов»). В тексте Пепперштейна «Дуэльное окошко» (1992) шутивая трактовка поэзии Пушкина перерастает в псевдоисторическое рассуждение:

«Словосочетание “Ленский расстрел” представляет собой инверсию словосочетания “расстрел Ленского”. Ленский был “расстрелян” Онегиным в поэме Пушкина. Это наводит нас на то, что литературные персонажи, в силу своей сакральной близости, трансформируются в обозначения коллективов, “близких масс”. Пустое, бессмертное тело Ленского, вечно погибающего на дуэли, выворачивается наизнанку и, в этом вывернутом состоянии, накрывает собой “полные, мертвые тела” расстрелянных рабочих»⁴⁹.

Интерпретации младших концептуалистов избылиуют недостоверными этимологиями, смехом отсылающимися на этимологическое мышление Хлебникова или, скажем, Мартина Хайдеггера, которое покушалось на построение языка, различного бытию. Вот как Захаров разъяснял название издаваемого им журнала «Пастор» (этимологически – «пастух»): «Латинское [...] слово Пастор [–] это [...] установка к действию: к выбору – *Past(or)*, к сшиванию и склеиванию – *Pasta*, к вхождению в *Pas, le pas*, где (*Tor*) – ворота»⁵⁰.

Не ставя себе задачей превзойти учителей, затеять соревнование с ними, медгерменевты эстетизировали свой статус младших в концептуалистской «семье» в предпочтении, отдаваемом их текстами малому, задержавшемуся в росте – вечно-му детству. Ускользание от социально значимых норм, которое приняло у Кабакова вид иронического дистанцирования от

49 ПЕППЕРШТЕЙН П. Дуэльное окошко // Место печати. 1993. № 4. С. 16.

50 ЗАХАРОВ В. Издательская деятельность – мыльные пузыри, или Воздушный шарф Айседоры Дункан // НОМА, или Московский концептуальный круг... С. 156.

них в его альбомах, посвященных быту коммунальных квартир, преобразуется у Пепперштейна в разнообразно варьируемый им мотив беглого Колобка, заимствованный из сказки для детей. Вместе с тем установка концептуализма на неэкономичную креативность обязывала «Медицинскую герменевтику» погасить разницу между малым и большим, между литотой и гиперболой⁵¹. Один из способов, которым преодолевалась несовместимость этих полюсов, состоял в придании инфантильному письму формы героического эпоса, который охватил в «Мифогенной любви каст» (1999–2002) Пепперштейна (первый том был написан в соавторстве с Ануфриевым) множество этапов Великой Отечественной войны. Участвующий во всех решающих сражениях с немцами парторг Дунаев – инобытийный воин, напоминающий небесных патронов земных участников битв в древнерусской словесности (например в житии Александра Невского). Изобилующая интертекстуальными намеками на концептуалистские тексты «Мифогенная любовь каст» всеисторична – она отсылает нас и к современной ей эстетической ситуации, и ко Второй мировой войне, и к Средневековью. Истории не предназначено состариться в этом симулякре монументального повествования, как не выходят из инфантильного состояния и медгерменевты. Еще одним приемом, с помощью которого «Медицинская герменевтика» снимала несходство между малым и большим, было уравнивание детей со взрослыми. В рассказах Юлии Кисиной, собранных в книге «Полет голубки над грязью фобии» (1993), ребенок не пациент в мире старших, а его агент и, более того, каратель, уничтожающий этот мир (так, в новелле, давшей название сборнику, героиня, сошедшая с ума в 12 лет, совершает несколько убийств)⁵². В восприятии авангарда ребенок был способен стать создателем высокого искусства. Отменяя авангард в этой связи, как и во всех остальных его пунктах, концептуализм ассоциирует детство с деструктивностью и агрессией и низводит профессиональное занятие искусством к ребячеству, к детской забаве («Мифогенная любовь каст» имитирует соцреализм, как бы усвоенный сознанием ребенка).

Как групповое творчество, объединившее к тому же два поколения художников и сформировавшее обширную периферию, концептуализм стал в русской социокультуре последним событием в ряду эстетических начинаний, предпринятых сразу множеством солидарных друг с другом авторов. Во всяком

ИГОРЬ СМЕРНОВ

МОСКОВСКИЙ КОНЦЕПТУАЛИЗМ И ИСТОРИЧЕСКИЙ АВАНГАРД...

51 Встававшая перед «Медицинской герменевтикой» дилемма обсуждается в: ПЕППЕРШТЕЙН П. *Отдаление маленького* // Ануфриев С., Лейдерман Ю., Пепперштейн П. *На шести книгах*. Дюссельдорф, 1990. С. 51–55.

52 Об изображении детства в прозе Кисиной я подробно писал в другом месте: Смирнов И. П. *Между симметрией и асимметрией* // Кисина Ю. *Простые желания*. СПб., 2001. С. 5–18.



ИГОРЬ СМЕРНОВ

МОСКОВСКИЙ КОНЦЕПТУА-
ЛИЗМ И ИСТОРИЧЕСКИЙ
АВАНГАРД...

случае ничего сравнимого с концептуализмом по полученному им общественному резонансу сейчас нет. Если иметь в виду коллективную креативность, то можно сказать, что за концептуализмом образовалась пустота. Как констатировал Сорокин в беседе с Николаем Шептулиным, «там, где был московский концептуализм, [...сейчас] нечего смотреть»⁵³. Авангард расквитался с историей искусства за опровержение своих устремлений так, что она лишилась позиции, отведенной ее передовому отряду.

**{Отменяя авангард, концептуализм ассоциирует
детство с деструктивностью и агрессией и низводит
профессиональное занятие искусством к ребячеству,
к детской забаве.**

53 Шептулин Н. *Разговор о московском концептуализме* [2007] // «Это просто буквы на бумаге...» Владимир Сорокин: после литературы / Под ред. Е. Добренко и др. М., 2018. С. 684.

Грешники в раю, или Невыносимая легкость коммунистического бытия

ИГОРЬ
КОБЫЛИН

Practising the Good: Desire and Boredom in Soviet Socialism

KETU CHUKHROV

Minneapolis: University of Minnesota Press, 2020. – 330 p.

Новая книга Кети Чухров, посвященная позднесоветскому социализму как *успешному антибуржуазному эксперименту*, является несомненным вызовом как для «патриотических левых» сталинистского толка (и это неудивительно), так и для тех, кто ориентирован на современную, прежде всего западную, антикапиталистическую теорию (именно в полемике с этой последней – основной теоретический нерв книги). Как известно, «патриотические левые», ностальгирующие по Советскому Союзу, испытывают рессентимент не столько по социализму, сколько по былой «имперской мощи» и «геополитическому влиянию». Социализм в этой идеологической конфигурации ретерриторизировался и «национализировался» (вызывая неизбежные и крайне неприятные исторические ассоциации) настолько, что как бы совпал с глубинным ценностным ядром внеисторической русской идеи. СССР – это просто очередная инкарнация



**НОВЫЕ
КНИГИ**

Игорь Игоревич Кобылин (р. 1973) – доцент кафедры социально-гуманитарных наук Приволжского исследовательского медицинского университета, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории историко-культурных исследований Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС, редактор журнала «Неприкосновенный запас».

«вечной России», вариация архетипа или загадочного «цивилизационного кода». Любопытно, что такой взгляд оказывается симметричным леволиберальному западному дискурсу. В небольшом предисловии к книге Чухров Борис Гройс отмечает, что с западной точки зрения раскол эпохи «холодной войны» был не столько формационным расколом между социализмом и капитализмом, сколько фазой цивилизационного противостояния России и Запада. Социализм и тут воспринимается как «русский/советский» по преимуществу, и инерция такого восприятия очевидна даже сегодня, когда политика Кремля объясняется не спецификой современного олигархического капитализма, а тяжелым наследием советского прошлого.

Для Гройса одно из главных достоинств книги Чухров заключается в том, что она восстанавливает «универсальное измерение советской идеологии и советского опыта» (р. 12). Это действительно важно – тем более, что и сама позднесоветская философская мысль была, как мы увидим, сосредоточена на проблеме общего и универсального и предлагала нестандартное решение этой проблемы. Но Чухров не только отвязывает советский проект от конкретного национально-культурного локуса со всеми его «цивилизационными» особенностями, но и делает следующий шаг – крайне рискованный даже для тех левых, которые ориентированы именно на Маркса, а не на Данилевского со Шпенглером. Она теоретически отстраняется от того, что, опираясь на введенный Марком Бевиром термин «девелопментальный историзм», можно было бы назвать «девелопментальным» оправданием чистоты марксистской теории. Логика такого оправдания хорошо известна: то, что было построено в Советском Союзе, попросту не является социализмом, а соответственно, все пороки позднесоветской системы – неэффективная плановая экономика с огромными «теневыми» зонами, коррумпированная партийная и государственная элиты, ригидная идеология, чья бессмысленность была очевидна даже работникам идеологического аппарата, – не имеют отношения к научным построениям классиков марксизма. Отождествлять советский государственный капитализм (если не «новый феодализм») с Марксовым социализмом – как раз и означает занять правую, антикоммунистическую, позицию и дискредитировать саму идею будущего коммунистического общества.

Чухров приводит в книге три основных аргумента, которые выдвигают против советского социализма несоветские левые. Первый принадлежит Этьену Балибару, полагавшему, что социализм – это просто другое имя для непрерывной классовый борьбы, которую должен развернуть победивший пролетариат, чтобы прийти к коммунизму. В СССР же внутренний антагонизм между более привилегированными классами нового

общества и менее привилегированными ни к какой классовой борьбе не привел. Установившаяся в стране с конца 1960-х (геронто)партократия ничем не напоминала милитантный трансфер к ассоциации свободных производителей, кроме разве что революционного жаргона, становящегося по прошествии времени мере все более комичным.

Второй аргумент сводится к тому, что плановая советская экономика продолжала базироваться на прибавочной стоимости. Само существование в СССР наемного труда делает бессмысленным разговор о преодолении капитализма. Чухров ссылается здесь на относительно недавние размышления Антонио Негри, сравнившего планирование и партийные институты с капиталистическим накоплением и государственной монополией.

Наконец, третий аргумент напоминает нам, что отмена частной собственности не привела к отмене разделения труда: труд по-прежнему оставался дифференцированным на интеллектуальный и физический, квалифицированный и неквалифицированный.

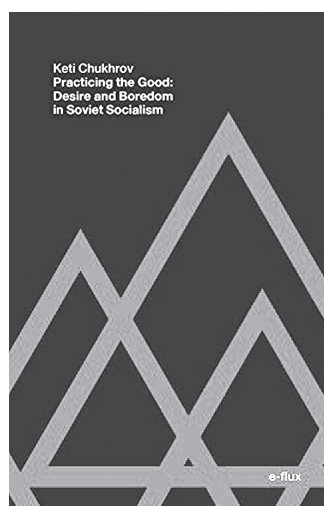
В общем, советский эксперимент – это, безусловно, исторически важная, но в целом неудачная попытка построить общество на настоящих социалистических началах. Конечно, виноваты в этом не архетипические особенности национальной психологии – речь должна идти об исторически конкретных экономических и политических причинах. Однако в любом случае убогий «реальный социализм» до социализма «теоретического» явно не дотягивал. Более того – он не дотягивал и до западного капитализма эпохи *welfare state*.

Радикальность позиции Чухров заключается как раз в том, что она, отдавая себе отчет во всех теоретических и политических рисках, настаивает на подлинно социалистической – и при этом универсально значимой – сущности позднесоветского строя. И именно исторический социализм, его «нелибидинальная» политэкономика, коррелятивная нелибидинальной же сексуальности, его реалистическое искусство и диалектико-материалистическая философия становятся своего рода тестом на настоящий антикапитализм, тестом, с которым западная левая мысль в диапазоне от Франкфуртской школы до еще недавно столь актуального акселерационизма очевидным образом не справляется.

Но обо всем по порядку. Во-первых, Чухров оспаривает вышеприведенные аргументы о несоциалистическом характере советского социализма. Отвечая на тезис Балибара, она пишет, что классовая борьба в посткапиталистическом обществе не может не отличаться от той, что имела место в обществе капиталистическом. Капитализм – воплощенное неравенство,

ИГОРЬ КОБЫЛИН

ГРЕШНИКИ В РАЮ, ИЛИ
НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ
КОМУНИСТИЧЕСКОГО
БЫТИЯ



системное угнетение одного класса другим, а следовательно, борьба против него – это борьба против системы в целом. Социализм же, напротив, с самого начала помещает в центр коммунистические ценности – общее благо и равный доступ к нему. И здесь Чухров делает ключевой для всей книги теоретический ход, переворачивая линейную последовательность расхожей марксистской схемы. С ее точки зрения, социализм – это не переходный этап к туманному коммунистическому будущему, а скорее та искаженная форма, которую коммунизм принимает, реализовавшись на практике быстрее, чем стадийно созреют производительные силы. Она пишет об этом так:

«Именно потому, что Октябрьская революция достигла слишком многих коммунистических целей *раньше времени*, и именно потому, что политическая и экономическая система оказалась более коммунистической, чем сама жизнь, коммунизм неизбежно проявляет себя в облике социализма» (р. 61).

В этой оптике меняется сам смысл классовой борьбы: она ведется не против системы, а за нее. Задача здесь не перманентное разрушение складывающихся по ходу дела иерархических форм социальности как не отвечающих пока грядущим коммунистическим отношениям, а защита уже достигнутого, хотя и преждевременно, коммунизма. Отсюда и позиционный консерватизм советской социально-экономической и культурной политики, где вынужденные уступки «нормальной жизни» сочетались с бдительной обороной против любых соблазнов капитала.

Слово «соблазн» употреблено здесь неспроста. Это тот случай, когда советское идеологическое клише точно попадает в самый нерв недавних теоретических штудий, посвященных либидинальному измерению капитализма. Отвечая на второй аргумент, Чухров напоминает, что, согласно Лиотару, Делёзу и Касториадису, производство прибавочной стоимости инвестировано Желанием и неотделимо от либидинально насыщенного фантазма. И, хотя номинально в СССР действительно имели место наемный труд и прибавочная стоимость, советский вариант этой последней не совпадал с буржуазным. Во-первых, она не зависела от превратностей рынка, поскольку заранее рассчитывалась в соотношении с базовым доходом (советская зарплата, пишет Чухров, это и есть по существу базовый доход). А во-вторых, советский «нетоварный» товар был лишен фантазматического измерения: он служил не поддерживающей опорой Желанию в его конститутивной ненасыщаемости, а удовлетворению основных потребностей. Отсюда и его эйдетический характер. Советский человек потреблял не материальные вещи, ранжированные по мастерству отделки, дизай-

ну, фактуре и, соответственно, рыночной цене, а полностью воплощенные платоновские Идеи: простая фабричная ложка из алюминия, колья скоро она отвечает потребности в столовом приборе, превращается в Ложку – материализованный эйдос. Мир советских товаров – это мир снятого дуализма идеального и материального. Идея – это не возвышенная модель, объект неутоляемого желания, по отношению к которой любая, даже самая прекрасная земная копия все равно будет чем-то не тем, а значит, лишь очередной либидинальной провокацией. В экономике, где вновь главенствует потребительная стоимость, Идея полностью дана в самой неказистой вещи, делая ее таким образом философской.

«Товар материален, но его материальность – это овеществленная абстракция. В нем материализуется абстракция, но потребительная стоимость объекта не приобретает универсального измерения, а значит, и не социализируется. Такие материализованные абстракции суверенны. Тогда как в объекте, основанном на потребительной стоимости, материя сходится с идеей; материя нуждается в понятии и объединяется с ним» (р. 88).

В общем, вместо закона стоимости мы сталкиваемся здесь с «этикой общих базовых потребностей».

Третий аргумент, согласно Чухров, тоже бьет мимо цели. Советское разделение труда не предполагало существенной разницы в доходах (что и вызывало возмущение у «белых воротничков» – особенно у творческой интеллигенции, сравнивавшей свои зарплаты с гонорарами западных звезд музыки, кино или телевидения). А поскольку разницы нет, то и называть такой труд «наемным» можно лишь с большой натяжкой. В Советском Союзе изменилась сама «онтология труда»: из индивидуальной деятельности, определяемой экономическим и символическим вознаграждением, он превратился в родовую деятельность (*generic activity*) по производству общего блага. Конечно, все сказанное выше никак не отменяет ни системы номенклатурных привилегий, ни «теневой» экономики – но и то и другое нужно понимать как неизбежный эффект сохраняющегося зазора между уже наступившим коммунистическим будущим и неготовой к нему обычной жизнью.

Более того, сам зазор, вызванный тем, что уровень развития производительных сил так и не смог за все время существования СССР догнать уровень развития производственных отношений, может быть переосмыслен. Это, пожалуй, наиболее интересный, провокативный и тревожащий теоретический сюжет книги. Чухров неоднократно возвращается к нему, но каждый раз скорее ставит вопрос, нежели окончательно разрешает его. В самом конце работы она вновь поднимает проблему зазора,

ИГОРЬ КОБЫЛИН

ГРЕШНИКИ В РАЮ, ИЛИ
НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО
БЫТИЯ

отталкиваясь от одного размышления Славоя Жижека. В «Хрупком абсолюте» Жижек критикует ортодоксальный марксистский тезис о том, что кризисы капитализма свидетельствуют о неминуемой гибели последнего – бесконечно возрастающей продуктивности становится тесно в рамках буржуазных отношений, и рано или поздно она их разрушит, сохранив при этом динамику собственного развития. На самом деле, пишет Жижек, присущий капитализму антагонизм, «врожденная ошибка» (симптомом которой и является кризис), – это то, что заставляет его всякий раз революционизировать собственные «материальные условия»: «безумный танец его ничем не сдерживаемой спирали производства есть, в конечном счете, не что иное, как отчаянное бегство вперед от собственных, подрывающих силы, врожденных противоречий»¹. Другими словами, то, что кажется верным признаком скорой смерти, является залогом вечной жизни, – капитализм буквально живет антагонизмом. Более того, если этот антагонизм убрать, то исчезнет и всякий стимул к развитию производительных сил:

«Если мы устраним ошибку, это врожденное противоречие капитализма, то тогда мы получим не запущенное на полную катушку влечение к производительности, наконец-то, избавившееся от своего препятствия, но как раз-таки потеряем эту производительность»².

Греза Маркса об эффективном производстве, лишенном якобы сдерживающих его динамику внутренних сбоев и конфликтов, оказывается, согласно Жижеку, капиталистической грезой. Это неосуществимая мечта капитализма о том, как сохранить продуктивность, ничем за нее не заплатив. В таком прочтении марксистская концепция перехода от капиталистического способа производства к коммунистическому становится историей об Ахиллесе и черепахе. Все более развитые производительные силы приводят только ко все более развитому капитализму, а коммунизм превращается в трансцендентную «регулятивную идею», недостижимую мечту (да еще и в мечту «формационного» противника).

Но, если производственные отношения уже коммунистические, тогда все радикально меняется. Преждевременность из недостатка превращается в условие возможности – путем последовательного развития коммунизма достичь нельзя, его нужно установить «преждевременно», вопреки логике кумулятивного прогресса. А установившись – пусть даже в несовершенной форме социализма, – он сам задним числом начинает менять производительные силы. Чухров ссылается здесь

1 Жижек С. *Хрупкий абсолюте, или Почему стоит бороться за христианское наследие*. М.: Художественный журнал, 2004. С. 43.

2 Там же.

на фрагмент из работы Ильенкова «Диалектика абстрактного и конкретного в “Капитале” Маркса» (1960), где речь идет о подобной инверсии. Ильенков пишет:

«Конкретно-исторически сложившаяся система экономики есть всегда относительно самостоятельный организм, оказывающий обратное воздействие на свою собственную основу – на совокупность производительных сил и преломляющий всякое воздействие последних через свою специфическую природу»³.

Было бы естественно подумать, что речь в данном случае идет о некоем советском акселерационизме или «догоняющем развитии» – коммунистическая основа вроде бы должна подтягивать до собственного уровня отстающие элементы жизни. Но если экономика уже больше не инвестируется Желанием, если потребительная стоимость уже доминирует над меновой, если труд уже стал родовой деятельностью на общее благо, то о каком развитии вообще тут можно говорить? Скорее обратное воздействие системы (где больше нет частной собственности и порождаемого ею отчуждения) на свою основу заключается в изменении *критериев* экономической и технологической эффективности. Пресловутые производительные силы – в соответствии с логикой, описанной Жижек-ом, – просто перестают занимать «царское место» в общественной жизни. Они как бы освобождаются от необходимости участвовать в конкурентной гонке, диктуемой либидинальной экономией капитала. Несмотря на все идеологические мантры о повышении производительности труда, главной стратегией тут является не акселерационизм, а наоборот – некоторое замедление: куда важнее погасить вспышки влечения протокапиталистической либидинальности, чем гнаться за каким-нибудь очередным декларативным ускорением.

Смена критериев неотделима от изменения сознания – своего рода коммунистической метанойи, позволяющей увидеть богатство и полноту жизни там, где взгляд капиталистического субъекта видит бедность, убожество и скуку. Чухров демонстрирует эту метанойю на примере советского кино – в диапазоне от «Ты и я» (1971) Ларисы Шепитько до «Влюблен по собственному желанию» (1982) Сергея Микаэляна. «Перемена ума» – переориентация внимания советского субъекта с индивидуального интереса на общее благо – дает возможность заметить то, что Чухров вслед за Агамбен-ом называет «ореолом» или «нимбом». В «Грядущем сообществе» (1990) Агамбен, комментируя пересказ Вальтером Бен-ьямином хасидской мессианической истории о будущем мире, где «все будет,

ИГОРЬ КОБЫЛИН

ГРЕШНИКИ В РАЮ, ИЛИ
НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО
БЫТИЯ

3 Ильенков Э. *Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса*. М.: Издательство Академии наук СССР, 1960. С 97.

как сейчас, но чуть-чуть иначе», пишет, что это неуловимое «иначе» нелегко понять. В качестве примера, который мог бы его немного пояснить, Агамбен приводит размышление Фомы Аквинского о нимбе как о некоей добавке к совершенству и блаженству избранных, как о «трепете совершенства». Агамбен так развивает мысль Фомы:

«Нимб предстает как место, где возможность и реальность, потенциальное и актуальное становятся неразличимы. Бытие, приблизившееся к своему завершению, исчерпавшее все свои возможности, получает в дар некую дополнительную возможность. [...] Неуловимый трепет заверщенного, конечного бытия, размывающий его границы и делающий индивидуальное неразличимым, любимым, – это и есть то едва уловимое смещение, которому подвергается всякая вещь в царстве Мессии. Блаженство в нем – это та возможность, что открывается лишь после акта и осуществления: блаженство материи, более не связанной формой, вокруг которой теперь сияет ее нимб»⁴.

Нечто похожее происходит и в советском кино 1960–1980-х. Герои смотрят на социалистический жизненный мир преобразенным метанойей взглядом. Это ни в коем случае не «лакировка действительности», характерная для сталинского кинематографа, с его колхозной бутафорской роскошью. Аскетизм советского быта почти не приукрашивается. Но вся эта бедная материальность начинает светиться, будучи окутана неким ореолом/нимбом достигнутого совершенства. Важно, что такое свечение доступно только специфическому – коллективному, общественному – зрению, пропущенному через «призму общего дела» (р. 109). Собственно метанойю и можно рассмотреть как в буквальном смысле свободное *при-общение* к социальному целому. Субъект при этом становится философом: преодоление частного открывает перед ним коммунистическое – и платоновское – царство Идеи.

Трагедия советского социализма, согласно Чухров, и заключается в том, что такая метанойя в реальности оказалось большинству не под силу. Либидинальную машину не удалось отключить полностью – тем более, что ее работу постоянно подпитывал соблазняющий капиталистический Запад. Отношение позднесоветских людей (и сегодняшних критических левых) к реальному социализму Чухров сравнивает с отношением к раю неожиданно попавшего туда грешника. Действительно, для нераскаившегося, по-прежнему движимого греховными помыслами и желаниями человека рай, где все эти желания осуществить невозможно, покажется невыносимым адом.

4 АГАМБЕН Дж. *Грядущее сообщество*. М.: Три квадрата, 2008. С. 55.

«Что-то похожее происходит и с уже существующим социализмом или коммунизмом. Представьте, что некто вынужден реально жить безупречной коммунистической жизнью [...]. Для него это будет невыносимо именно потому, что его желания (на воображаемом и фантазматическом уровнях) все еще остаются с капитализмом, с “грехом”. [...] Страдание не может быть облегчено просто критикой индивидуального греха – необходимо либо в корне избавиться от желания определенных вещей и действий, либо бежать из рая. Наконец, рай можно уничтожить. Грешник может воплотить свои желания и фантазии в новой «не-коммунистической» (не-райской) реальности» (р. 298–299).

ИГОРЬ КОБЫЛИН
ГРЕШНИКИ В РАЮ, ИЛИ
НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО
БЫТИЯ

Однако западная послевоенная *левая* мысль (левая – в очень широком понимании) тоже все время говорит о Желании, наделяя его при этом подрывной, революционной силой. Значит ли это, что существует реальная альтернатива и непосильной коммунистической метанойе, и «греховным» желаниям капиталистического либидо? Чухров однозначно отвечает, что эта альтернатива является ложной. Постструктуралистская критика капитализма, делающая ставку на пульсацию «желающего производства», становится заложницей собственной либидинальности, по кругу отсылающей к либидинальной экономике капитала. Чухров подробно анализирует «странную аберрацию», характерную для текстов Фуко, Лиотара, Делёза и других постструктуралистских авторов, – аберрацию, заключающуюся в несомненной завороченности тем, что критикуется в качестве капиталистического отчуждения. Это последнее и отвергают, и желают одновременно. Отчуждение онтологизируется и превращается в необходимое условие для радикальной трансгрессии, которая приобретает автономное значение. Действительно, раз отчуждение не может быть снято в социальной практике, то все, что остается, – это самодостаточный жест бесконечного ускользания от навязываемых отчуждающих «территориализаций». Власть, закон, мораль, социальность, язык – все это рассматривается как репрессивные (и при этом необходимые) формы отчуждения, а значит, подлинное сопротивление им должно быть анархическим, преступным, порочным, асоциальным и асигнификативным. Бесчеловечности капитализма противопоставляется еще бóльшая бесчеловечность – причем в буквальном смысле:

«Стремление к нечеловеческому [*inhuman*], к машинным или животным мутациям, которое наблюдается последние пятьдесят лет в постструктурализме, акторно-сетевой теории, акселерационизме, объектно-ориентированном материализме и постгуманистических исследованиях можно рассматривать как влечение к усилению уже существующих способов отчуждения» (р. 30).



Очевидно, что такое сопротивление идеально вписывается в логику капиталистического самоподрыва, перманентной капиталистической *ре*-волюции, сочетающей невротическую фиксацию на новизне с вечным возвращением к одному и тому же. Чухров настаивает, что исторически проигравший советский социализм, со всеми его «провалами и недостатками», оказывается намного прогрессивнее тех освободительных проектов, которые предлагает современный западный дискурс. Определив ключевые политэкономические характеристики социализма, она сталкивает его культурные и теоретические практики в СССР с антикапиталистической Теорией (и инспирированной ею политикой), разрабатываемой в «мире капитала». Речь преимущественно идет о французском постструктурализме.

Это столкновение разворачивается в трех основных – помимо политэкономии – сферах: сексуальности, искусства и философии. Если кратко резюмировать выводы Чухров, то складывается следующая картина. Сексуальность, о необходимости радикального освобождения которой так много говорилось в 1960–1970-е на Западе, должна пониматься на самом деле как один из базовых элементов потребительской культуры современного капитализма. Выше мы уже убедились, что капитал «сексуален», но верно и обратное – сексуальность «капиталистична»:

«Сексуальность не может возникнуть вне рамок капиталистического производства и экономики прибавочной стоимости: сама сексуальность есть не что иное, как следствие либидинальности желания и его слияния с фантазмами воображения. Сексуальность и желание должны поддерживаться конкретной материально воплощенной фантазматической программой» (р. 167).

Советская экономика с ее высоким утилитаризмом, напроочь лишенная фантазматического измерения, не могла служить опорой диспозитиву сексуальности. Перефразируя скандально знаменитое высказывание, что «в СССР секса нет», можно было бы сказать, что секс в СССР был, а вот сексуальности действительно не было – ну, или во всяком случае не должно было бы быть⁵. Нелибидинальная экономика освобождает не сексуальность, а *от* сексуальности.

Не менее острый антагонизм между советским и нес советским послевоенными левыми проектами наблюдается в сфере искусства и эстетической мысли. Разоблачая реализм в качест-

5 Интересно, что фраза об отсутствии в СССР секса, сказанная советской участницей телемоста между Ленинградом и Бостоном «Женщины говорят с женщинами» (1986), была ответом на вопрос американки о том, есть ли в Советском Союзе такая же, как в Америке, телевизионная *реклама*, где «все крутится вокруг секса». Ответ дословно звучал так: «Секса у нас нет, и мы категорически против этого» (www.youtube.com/watch?v=y0FTbeKGPjM). Согласно воспоминаниям и самой участницы – Людмилы Ивановой, – и режиссера программы, смех в студии заглушил вторую часть фразы: «У нас есть любовь».

ве фальшивого идеологического иллюзионизма, современное искусство (в смысле *contemporary art*) – наследник авангарда (в том числе и раннесоветского) и модернизма – противопоставляет этому реализму рефлексивное обнажение собственного приема. Вроде бы все ясно: с одной стороны, унылый мимесис «типического», с другой, – яркий автономный эстетический жест, обладающий собственной весомостью и реальностью. Однако диалектика тут такова, что «кенотический» реализм, всякий раз умаляющий собственную эстетическую претензию в пользу миметической верности реальности, оказывается в итоге более художественно значимым, нежели суверенные практики радикального искусства. Конечно, Чухров опирается здесь не на официальных теоретиков социалистического реализма, а на философски фундированные концепции Георга Лукача и Михаила Лифшица. Так, согласно Лифшицу, подлинный доступ к реальности возможен только через художественное обобщение, предполагающее дистанцию по отношению к этой реальности. Настоящий художник-«классик» должен одновременно и чувствовать смирение перед превосходящим его объективным миром, и постараться не превратить это смирение в пассивное растворение в эмпирических подробностях. Современное же искусство, настаивая на собственной автономии, просто превращается в еще одну «вещь» мира наряду с другими вещами. Отсутствие дистанции, магическое неразличение репрезентируемого и репрезентирующего делает современного художника колдуном, чье шаманское воздействие на мир не порождает ничего, кроме аффекта⁶.

Наконец, полем, на котором разыгрывается последнее, завершающее книгу виртуальное сражение между советским социализмом и западной (анти)капиталистической Теорией, является философия. Здесь главным героем становится Эвальд Ильенков с его концепцией труда, которая позволяет наполнить новым концептуальным содержанием такие, казалось бы, полностью дискредитированные радикальной модернистской и постмодернистской мыслью понятия, как культура, гуманизм и идеальное.

Действительно, и для модернизма, и особенно для обеих волн авангарда культура представляла собой едва ли не прямую противоположность искусства. И здесь, подчеркивает Чух-

ИГОРЬ КОБЫЛИН

ГРЕШНИКИ В РАЮ, ИЛИ
НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО
БЫТИЯ

6 Было бы интересно сравнить эти размышления Чухров с той концепцией модернизма, которую предложил Михаил Ямпольский в недавно вышедшей книге «Ловушка для льва». Он тоже пишет, что искусство сегодня делает ставку на «прямое аффективное воздействие шока». Однако противопоставляет этому воздействию не реализм (видящий в реальности только «типы», платоновские эйдосы), а как раз модернистскую форму – как способ мыслить, не прибегая к понятиям. См.: Ямпольский М. *Ловушка для льва. Модернистская форма как способ мышления без понятий и «больших идей»*. СПб.: Сеанс, 2020. Для Чухров же настоящий диалектический материализм невозможен без универсалий и эйдосов – а модернистская форма и есть самый короткий путь к пассивной аффектации.

ров, особенно заметен контрпросвещенческий пафос модерна. Культура – это бремя, фетишизированное инертное «наследие» с установившимися иерархиями и табелями о рангах, это то, что следует преодолеть в акте радикального, по-настоящему творческого высказывания. Совершенно иначе культура понимается в том направлении советской философии, которое получило название «деятельностного подхода» (Выготский, Леонтьев, Давыдов, Ильенков). «Деятельностники» также ставят под вопрос просвещенческое, слишком узкое, толкование культуры, согласно которому культура – это продукт образования (*Bildung*). На самом деле в основе культуры лежит труд как человеческая родовая деятельность, как способность производить общее благо, то есть делать что-то не только для себя, но и для других. Никто не существует автономно, без бытия-с-другим и для-другого. Здесь уже речь идет не только о снятии конфликта между культурой и искусством. Эта принципиальная не-автономность становится и ключом к пониманию идеального в целом. Ильенков поясняет это на примере гончара, делающего кувшин: форму кувшина нельзя найти ни в глине, ни в физическом теле гончара. Эта форма – плод общественного труда многих поколений людей, работающих друг для друга. Кувшин есть и он сам (как единичный материальный предмет), и одновременно в нем присутствует труд конкретного ремесленника, навыки гончарного искусства вообще, средства производства, задействованные в его производстве, и потребности людей, которые будут его использовать, и так далее. Комментируя этот пример Ильенкова, Чухров пишет:

«Таким образом, труд рассматривается не только экономически и социологически. Это также бытийный и культурный феномен, то есть феномен, взятый во всех его синхронических и диахронических аспектах. [...] Как напоминает нам Ильенков, глаз не видит сам себя – он видит другое, внешнее. И даже если он захочет на себя посмотреть, ему потребуется “зеркало” – другой объект. Культура – это как раз и есть та область, где раскрывается способность мира существовать в режиме нуждающейся в других не-самости. И этот режим определяет условия человеческого существования» (р. 237).

Высшим актом этой жертвенной не-самости станет, по Ильенкову, самоуничтожение будущего коммунистического человечества ради обновления и омоложения мира. Поскольку, согласно его гипотезе, мышление – это *атрибут* материи, погибшее человечество возродится вновь, если сумеет спасти Вселенную от тепловой смерти, сгорев в вызванном им самим (неизвестным нам пока способом) «огненно-раскаленном урагане»:

«Когда-то, во времена своей молодости, природа породила мыслящий дух. Теперь, наоборот, мыслящий дух ценой своего собственного существования возвращает матери-природе, умирающей тепловой смертью, новую огненную юность – состояние, в котором она способна снова начать грандиозные циклы своего развития, которые когда-то вновь, в другой точке времени и пространства, приведут снова к рождению из ее остывающих недр нового мыслящего мозга, нового мыслящего духа»⁷.

Эта цитата из раннего апокалиптического эссе Ильенкова наглядно демонстрирует, что линейная история человечества, в конечном счете, оказывается эпизодом (но по-настоящему необходимым) глобального космического цикла. Правда, «огненно-раскаленный ураган» ждет нас (вернее, уже не нас) не скоро – через миллионы лет. У истории еще вроде бы есть шансы. Однако, если внимательно прислушаться к остроумной философской аргументации Кети Чухров, окажется, что шансов нет уже сегодня и мы присутствуем при настоящем мета-конце истории, расположившись между двумя ее «формационными» концами. С одной стороны, это капиталистический конец истории, о котором немало написано. Капитализм как бы капсулирует историю, превращая ее из внешнего закона, отмеряющего всякому феномену свой срок, в собственную внутреннюю динамику. Каждый из нас находится в ситуации радикальной неопределенности, но эта неопределенность и производится капитализмом. Сам же он, став космическим, онтологическим режимом, не подвержен уже никаким изменениям и неопределенностям. Но до тех пор, пока советский псевдосоциализм рассматривался как локальная неудача, была робкая надежда, что у капитализма есть альтернатива в будущем. Теперь же – после прочтения работы Чухров – становится понятно, что наше альтернативное будущее уже в прошлом, причем само это будущее собственного будущего принципиально лишено. Действительно, если коммунистический идеал практически достигнут, то никакого внутреннего импульса к дальнейшему историческому развитию больше нет:

«Когда прибавочная стоимость и стимулирующие ее производство либидинальные потоки устраняются, прогрессивные и освободительные движения больше ничем не мотивируются – даже желанием лучшего будущего или утопического общества. Освободительный энтузиазм в большей степени связан теперь с добровольным самоограничением и самоотречением в пользу уже достигнутого и материально функционирующего общественного идеала» (р. 309).

7 Ильенков Э. *Космология духа* // Он же. *Абстрактное и конкретное: собрание сочинений*. М.: Канон+; Реабилитация, 2019. Т. 1. С. 443.

ИГОРЬ КОБЫЛИН

ГРЕШНИКИ В РАЮ, ИЛИ
НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО
БЫТИЯ

ИГОРЬ КОБЫЛИН

ГРЕШНИКИ В РАЮ, ИЛИ
НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО
БЫТИЯ

Коммунизм означает конец не *предыстории* человечества, как думал Маркс, а именно истории; единственно возможное тут изменение – это возвращение из невыносимого рая обратно в либидинальный капиталистический ад. Таким образом, за-долго до прогнозируемой Ильенковым космической катастрофы, мы оказываемся втянуты в маятниковое движение между адом и раем, не насыщаемым никаким изобилием, желанием и скудной плеромой, галопирующей не-историей капитализма и застывшей не-историей коммунизма. И это движение – последнее, что хоть как-то питает наше чувство исторического. Но, возможно, само желание продолжения истории за пределами капитализма и «реального социализма» проникнуто капиталистической либидинальностью, «тимотическим» избытком, и это подозрительное влечение стоит пересмотреть. В любом случае замечательная книга Кети Чухров вызывает желание подумать – а уж это желание точно не самое плохое.

***Всесоюзная здравница: история туризма
и курортного дела Крыма в 1920–1980-е годы***

Алексей Попов

Симферополь: Антиква, 2019. – 272 с.

Один из моих старших соучеников по историческому факультету Симферопольского государственного университета (1972–1977), вузовский комсорг, а потом и парторг, начал было работать над кандидатской диссертацией о советском курортном строительстве – и сразу же уткнулся в неразрешимую в тех идеологических условиях проблему неравенства в сфере отдыха уже на самых ранних этапах советской истории. В итоге так и ушел из жизни *неостепененным*... Помнится, другой активист, помоложе, с презрением использовал в речах слово «уравниловка», работать пошел в структуры, стоящие на страже реально сложившегося социального устройства, а на заслуженный отдых ушел с должности начальника охраны первого лица Крыма.

Но вот «Перекоп» идеологических барьеров пал, и крымский историк Алексей Попов впервые разворачивает всеобъемлющую и объективную картину строительства «всесоюзной здравницы». В основе его исследования – многолетняя работа с архивными источниками указанной поры и малодоступной литературой.

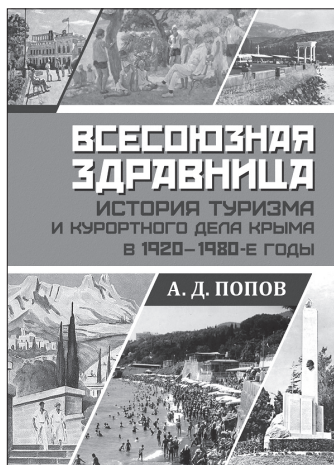
Крымское курортоведение в каком-то смысле вышло из «шинели» генерал-губернатора Новороссии, герцога Ришелье, оценившего Южный берег Крыма при единственном посещении так: «краше французской Ривьеры»¹. Крымский историк, директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин в книге «Русская Ривьера» дополнил эту метафору, назвав Крым «первым курортным романом России»². Среди предшественников Попова – так же географ, один из разработчиков Крымской объединенной рекреационной системы Игорь Русанов, так что не случайно общий контекст исследования создается и обращением к деятельности созданного в 1890 году Крымского горного клуба, который многие исследователи называют первой жизнеспособной отечественной туристской организацией.



Александр Павлович Люсий (р. 1953) – профессор Института кино и телевидения, специалист по локальным текстам культуры.

¹ Люсий А.П. *Пушкин. Таврида. Киммерия*. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 57.

² Мальгин А.В. *Русская Ривьера: курорты, туризм и отдых в Крыму в эпоху Империи. Конец XVIII – начало XX в.* Симферополь: СОНАТ, 2016. С. 333–335.



В книге три раздела: «Метаморфозы крымского туризма и курортного дела в советский период», «Горячие будни всесоюзной здравницы», «Размышления над курортной картой». Первый, наиболее интересный, раздел, структурированный по хронологическому и тематическому принципам, начинается с «мифа основания» – базового элемента любого мифотворчества, в том числе и мифа советского курортного строительства.

В основе такого мифа здесь – ленинский декрет «Об использовании Крыма для лечения трудящихся» от 21 декабря 1920 года, принятый вскорости после установления на полуострове советской власти. Впрочем, как уточняет Попов, отправной точкой советизации курортов Крыма вполне можно считать более ранние документы: уже в день окончательного занятия Крыма Красной армией 16 ноября 1920 года только что созданный Военно-революционный комитет издал приказ № 2 за подписью председателя ревкома Бела Куна, во втором пункте которого значилось:

«Выселить из всех vill и дач, имений буржуазии и устроить дома отдыха для Освободителей Крымских Трудящихся масс – больных и раненых Красноармейцев и Петроградского и Московского пролетариата поднявшего первое знамя возмущения против помещиков и капиталистов» (орфография оригинала. – А.Л.).

А 14 декабря появился приказ № 106 Крымского революционного комитета «О мерах по превращению Крыма во Всесоюзную здравницу», который подписал не только упомянутый Бела Кун, но и представитель центральной власти – народный комиссар здравоохранения РСФСР Николай Семашко; в нем подчеркивалась необходимость исключительно целевого использования санаторно-курортного фонда.

В 1921 году на волне революционных мер сама Ялта, до 1917-го фактически являвшаяся летней курортной столицей империи, на несколько месяцев получила новое имя – Красноармейск. Радикальная часть депутатов горсовета Ялты заявила, что прежнее название города совершенно дискредитировано в сознании трудящихся масс, поскольку связано с тем негативным периодом, когда город-курорт являлся «центром разврата и разгула кутящей буржуазии». Но через несколько месяцев здравый смысл все же взял верх над революционной риторикой, и в августе 1921-го название «Ялта» вернулось. Не то с конкретными здравницами. «Ай-Тодор» превратился в санаторий имени Розы Люксембург, «Дюльбер» – в дом отдыха «Красное знамя», ялтинская благотворительная санатория памяти императора Александра III – в санаторий имени III Интернационала.

Роль первого менеджера курортного дела в Советском Крыму, посланного для реализации ленинского декрета, была от-

ведена младшему брату вождя Дмитрию Ульянову, назначенному сразу на две ответственные должности – уполномоченного Народного комиссариата здравоохранения РСФСР и главы Центрального управления курортами Крыма (ЦУКК). Впрочем, имеющиеся данные позволяют автору рецензируемого издания сделать предположение, что антикризисного менеджера из Ульянова-младшего не получилось и уже в конце 1921 года он предпочел «дезертировать» с курортного фронта. Добровольную отставку со всех занимаемых должностей и отъезд в Москву он объяснил в письме к Семашко желанием «быть рядом с братом», здоровье которого на тот момент действительно стремительно ухудшалось.

За первый советский сезон крымские курорты приняли около 17 тысяч человек, что было значительно меньше запланированного Центральным управлением курортами Крыма. Учреждению катастрофически не хватало ни специалистов в области сельского хозяйства, ни живых денег. Значительная часть переданного национализированного имущества вследствие этого фактически не использовалась в ситуации колоссальных проблем с продовольствием и надвигающегося на полуостров голода 1921–1922 годов.

С 1924 года восстановление старых и строительство новых курортных объектов стало финансировать Центральное управление социального страхования при Наркомате труда СССР (Цусстрах). Переоборудование дореволюционных зданий под санатории и дома отдыха было нацелено прежде всего на многократное увеличение их вместимости. Дворцы, виллы и дачи, изначально предназначенные для кратковременного сезонного отдыха одной семьи с прислугой, теперь использовались для круглогодичного одновременного размещения сотен больных. При таком подходе нормальной практикой было размещение в одной палате нескольких десятков человек.

Но вступил в силу другой политический курс – НЭП, был востребован комфорт, и пестрая теснота переместилась на улицу. Тут не обойтись без Михаила Булгакова, который летом 1925 года в путевых очерках «Выбор курорта», передал колорит наступившей нэпманской эпохи в курортном Крыму:

«На набережной суeta больше, чем на Тверской: магазинчики на-леплены один рядом с другим, все это настезь, все громоздится и кричит, завалено татарскими тюбетейками, персиками и черешнями, мундштуками и сетчатым бельем, футбольными мячами и винными бутылками, духами и подтяжками, пирожными. Торгуют греки, татары, русские, евреи. Все втридорога, все “по-курортному”, и на все спрос. Мимо блещущих витрин непрерывным потоком белые брюки, белые юбки, желтые башмаки, ноги в чулках и без чулок, в белых туфельках» (с. 23).



Далее разворачивается поистине панорама курортного «искушения нэпом»:

«Вся Ялта сверху до подножия гор залита огнями, и все эти огни дрожат. На набережной сияние. Сплошной поток, отдыхающий, курортный. В ресторанчике-поплавке скрипки играют вальс из “Фауста”. Скрипкам аккомпанирует море, набегая на сваи поплавка, и от этого вальс звучит особенно радостно. Во всех кондитерских, во всех стеклянно-прозрачных лавчонках жадно пьют холодные ледяные напитки и горячий чай» (с. 24).

Идеологические сражения в курортном преломлении обернулись тут борьбой за повышение качества экскурсий, что подтверждается в книге ссылкой на газету «Красный Крым», озабоченную положением экскурсионного дела в Севастополе в середине 1920-х:

«В прошлые годы [...] процветала бешеная халтура, экскурсионное дело попало в руки всяких проходимцев. Они открыли десятки контор, всячески эксплуатировали доверчивых экскурсантов. Возили их показывать “гнездо горного духа”, “купель св. князя Владимира”, “темницу св. Климента” и всей этой ерундой забивали голову экскурсанту, впервые попавшему в Крым. Гораздо важнее для автора заметки было бы экскурсоводческое внимание к тому, как жилось пролетариату в античном Херсонесе» (с. 30).

Сомнительную славу компилятивной работы сразу же после своего издания приобрел и первый советский «Путеводитель по Крыму» В.К. Шнеура, грешивший откровенной тенденциозностью при обилии недостоверной информации об имеющей на полуострове туристско-экскурсионной инфраструктуре.

Организационные и идеологические перетряски часто происходят на фоне перетрясок природных – отсюда страницы книги Попова, посвященные разрушительному крымскому землетрясению 1927 года. «Крымский текст» включает в себя и «текст крымского землетрясения», о чем свидетельствуют Илья Ильф и Евгений Петров, а также Михаил Зощенко, описывавшие природное бедствие с изрядной долей комизма.

И это при том, что крымское землетрясение – а точнее целая серия землетрясений, длившаяся несколько месяцев, как уточняет Попов, – оказалось одной из наиболее драматичных страниц истории курортов Крыма в XX веке.

«Землетрясение 1927 г. называют самым мощным и разрушительным из тех, которые были документально подтверждены для территории Крымского полуострова за всю историю наблюдений. Естественный фон катастрофы стал серьезным испытанием для психики очевидцев. Самые сильные и разрушительные подземные толчки (более 8 баллов) наблюдались в ночь с 11 на 12 сентября.

Один из очевидцев тому, писатель Константин Федин, отнюдь не ерничал, так описывая события ночи 11-12 сентября 1927 г. в Ялте:

“Стояла душная южная ночь. Вдруг внезапный удар сбил меня с ног. Подземный гул, грохот камней, звон бьющегося стекла, вой собак – все слилось в единый шум. Он постепенно нарастал, заглушая вопли о помощи, крики безумия, стоны раненых. И все это потонуло в густой, едкой пыли – она не позволяла дышать, и сквозь эту завесу не было видно, где меньше опасность, куда нужно бежать. Из подъездов домов выскакивали люди. По улице, заваленной обломками камней, обезумевшая толпа с ужасным криком ринулась вниз, к морю”» (с. 36).

Автору удалось привлечь к исследованию и другой род «классики» – тексты оперативных сводок местных органов власти. Из них следует, что слухи вокруг землетрясения стали приобретать политический оттенок. Их авторство приписывалось не просто несознательным гражданам, а неким «антисоветским и контрреволюционным группам». К примеру, опсение вызывало поведение южнобережных крестьян:

«Крестьяне слишком требовательны к советскому правительству. Ставят вопрос так: “Правительство должно обеспечить нас жилищем”. “Выдайте нам сейчас брезент для палаток – может пойти дождь и замочить”» (с. 41).

Единственной формой протеста местного населения, по всей видимости, стал рост религиозных настроений, наблюдавшийся и среди православных, и среди мусульман. В ряде населенных пунктов Южнобережья было зафиксировано проведение крестных ходов, а также случаи «чтения женщинами Корана» (с. 41). Такой всплеск религиозности вызвал большую озабоченность советских властей, которые на тот момент уже более пяти лет проводили последовательную политику антирелигиозной пропаганды.

Крестьянство очень резко выражает недовольство местными органами, которые «не хотят вырвать его из барачных могил, когда кругом пустуют дворцы». Но все переговоры с курортными учреждениями о предоставлении до весны части пустующих зданий крестьянству разбиваются об узковедомственную, учрежденческую, колокольную точку зрения, согласно которой крестьяне «загадят» санатории и дома отдыха так, что на приведение после них в порядок здравниц потребуются колоссальные средства и очередной курортный сезон из-за этого будет сорван.

«Курорты важны для оздоровления пролетариата. Но делать из курортов фетиш, икону, какую-то самоцель, ради которой можно пожертвовать в глазах крестьянства авторитетом советской власти, – такая политика вредна, близорука и преступ-

на», – так, оказывается, осмелился выразить тогдашние общекрымские настроения председатель ЦИК Крымской АССР Вели Ибраимов (с. 43). Из изложения Попова следует, что отчасти из-за своих антикурортных выступлений Ибраимов уже в январе 1928 года был исключен из партии, в феврале – арестован, в апреле осужден по обвинению в терроризме, бандитизме и растрате государственных средств, а в мае того же года – расстрелян (позже к этим обвинениям был присовокуплен и национализм).

Благодаря дотациям центральных и крымских властей, а также владевших здравницами ведомств к лету 1928 года большинство курортных учреждений и турбаз Южного бережья все же были восстановлены и могли принять даже большее количество отдыхающих, нежели в предыдущем сезоне, хотя многие советские граждане не спешили ехать на юг, опасаясь новых проявлений стихии.

С 1928 года на фоне свертывания НЭПа усиливается централизация и идеологизация туризма и экскурсионного дела. Этот курс был подкреплен постановлением ЦИК и СНК Крымской АССР «О сосредоточении всего экскурсионного дела в Крыму в органах Наркомпроса и культурно-просветительских учреждениях» (от 29 февраля 1928 года). Согласно документу, экскурсионную работу могли проводить органы народного просвещения, культурно-просветительские учреждения (например музеи) и профсоюзы. Всем остальным государственным, общественным и кооперативным организациям, а также частным лицам запрещалась любая самостоятельная экскурсионная практика. Пресечением нелегальных экскурсий стала заниматься прокуратура.

Впрочем, без конкуренции все же не обошлось. Вскоре у отходящего к сфере Наркомпроса «Совтура» появился более весомый соперник в лице Общества пролетарского туризма РСФСР (ОПТ) – общественной организации, объединявшей главным образом молодежь с опорой на высшие партийные и комсомольские органы. ОПТ пропагандировало распространение пролетарского туризма как особой формы культурной революции и социалистического строительства. В туристско-экскурсионной практике ОПТ общественно-политическое содержание доминировало над хозяйственными вопросами, что подавалось как его принципиальное отличие от «Совтура». Пролетарские туристы начали борьбу с аполитичной «совтуровщиной», а вскорости опознали и другое «извращение» – бродяжничество. Некоторые предприимчивые авантюристы на волне призывов к активному туризму стали пешком перемещаться по стране, презентуя себя в качестве «путешественников-рекордсменов» и обращаясь за материальной помощью в различные советские учреждения.

В качестве примера в книге рассказывается о некоем человеке, которого звали Антон Земля: он даже отпечатал типографским способом визитки с надписью «19 570 километров пешком с целью изучения нравов, быта и экономики федераций СССР» (с. 49). Столь специфический феномен бродяжничества не прошел мимо внимания Ильфа и Петрова, посвятивших ему свои рассказы «Турист-единоличник» и «Пешеход»:

АЛЕКСАНДР ЛЮСЫЙ

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

«Опытный пешеход чужд [...] детским забавам. У него нет дорожного мешка, и он вовсе не считает лето лучшим сезоном для туризма. Двухнедельный или месячный срок для пешеходной прогулки он считает мизерным и не стоящим внимания. Он разом опрокидывает все мешанские представления о путешествии с целью самообразования.

Пешком он ходит только в подготовительном периоде, пока не получает мандата от какого-нибудь совета физкультуры. Обычно мандат напечатан на пишущей машинке с давно выбывшей из строя буквой «е», но это единственный изъян, во всем остальном мандат великолепен и читается так:

“Удостоверэниэ

Дано сиз в том, что т. Василий Плотский вышэл в сэмилэтнээ путэштэвиэ по СССР с цэлью изучэния быта народностэй. Тов. Плотский пройдэт пэшком сорок двэ тысячи киломэтров со знамэнэм N-го Совэта физкультуры в правой рукэ.

Просьба ко всэм учрэждэниям и организациям оказывать тов.Плотскому всячэскоэ содэйствиэ.

Прэдсэдатель Совэта В. Богорэз

Сэкрэтарь А. Пузыня”»

(с. 49).

Как тут не вспомнить пишущую машинку «с турецким акцентом», на которую сетовал Остап Бендер.

«Алкоголь и туризм несовместимы!» – так звучал еще один лозунг тех лет (с. 50). Немногие знают, что во второй половине 1920-х в СССР проводилась первая советская антиалкогольная кампания, которая гораздо менее известна, чем аналогичные события периода перестройки. Так что на курортное строительство наложилась всесоюзная кампания борьбы с пьянством, объявленная на учредительном собрании Общества по борьбе с алкоголизмом 16 февраля 1928 года в Колонном зале московского Дома Союзов. Интересно, что эту организацию возглавил уроженец Симферополя, видный советский экономист Юрий Ларин (Лурье). Бой пьянству давался, но, конечно, с идеологической подоплекой, о чем свидетельствует выдержка из газетной статьи «Вражеские дела в Алуштинском экскурсбюро» (1937):

«Приглашенный заведующим [Алуштинской] экскурсионной базой лектор открыто ведет свою вражескую работу. Его лекция о советском парашютизме носила явно контрреволюционный характер. Пьянки во время экскурсий – частое явление. В них принимают участие экскурсоводы, шофера, команды моторных яликов. 17 августа пьяная команда чуть не потопила моторный ялик “Челюскин” с 28 экскурсантами из санатория “Коммунист”. Это дело вел бывший прокурор Алуштинского района, ныне разоблаченный враг народа К. Он замял его. Вражеское гнездо должно быть разрушено» (с. 61).

В 1930-е дошла очередь и до поощрения зимних видов отдыха. Большие средства были выделены на оборудование первой в Крыму лыжной станции и на закупку лыж, горнолыжных ботинок и тому подобного; все это предполагалось сдавать напрокат. Однако идея не прижилась – крымчане «доросли» до лыжного туризма только в 1970-е, – а провал начинания, как это часто случалось в то время, списали на «врагов народа». В 1936 году начальник крымских туристских маршрутов Общества пролетарского туризма и экскурсий Михаил Гершуни был обвинен во вредительстве и умышленном саботаже развития лыжного туризма в горном Крыму и репрессирован (с. 99).

Конец 1940-х – начало 1950-х характерны тем, что на крымских курортах – так же, как и в целом по стране, – большое внимание уделялось так называемому сталинскому плану преобразования природы. Для степного Крыма гидромелиорация имела скорее позитивные последствия, но на Южном берегу Крыма это вылилось в неудачные попытки выращивания в открытом грунте цитрусовых растений, создания чайных плантаций и высадки целых рощ эвкалиптовых деревьев, большинство из которых не прижились в крымских условиях (в отличие от закавказской хурмы). Кампания проводилась явно волюнтаристскими методами, без учета специфики крымского климата.

Началось и курортно-оздоровительное зонирование:

«Евпатория предназначалась для общетерапевтических и костно-туберкулезных санаториев, преимущественно детских, Алуштинский и Судакский районы – для общетерапевтических санаториев, домов отдыха и туристских учреждений. Наиболее неоднозначным в этом документе было положение о том, что чрезвычайно ценные в рекреационном отношении Алушкинская, Симеизская, Кастропольская и Ласпинская зоны должны предназначаться исключительно для туберкулезных санаториев. В результате было фактически заморожено развитие общекурортной инфраструктуры» (с. 68).

Во втором разделе книги «Горячие будни всесоюзной здравницы» автор, стараясь избежать повторов, составляет условный рейтинг популярности городов-курортов Крыма, постоянный на протяжении всего советского периода. Ялте достается «золото» лидера, Евпатории – «серебро», Алуште – «бронза». Саки замыкали список крупных крымских городов-курортов по количеству посещений. Однако тут в крымскую систему курортных координат включается качественная составляющая: сюда приезжали на лечение люди с серьезными заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

В период «развитого социализма» начались масштабные сезонные нашествия на Крым «диких», неорганизованных отдыхающих (от 5 до 8,3 миллиона человек), с которыми не могла справиться имеющаяся на полуострове курортная инфраструктура. «Беспутевочникам» приходилось обращаться в квартирное бюро, к частникам, или разбивать палатки. Так возникло особое племя «дикарей», для которых палаточный отдых стал жизненным принципом, разновидностью эскапизма. В основном это были представители научно-технической интеллигенции, у которых, в отличие от интеллигенции творческой, не было своих специализированных домов творчества. Это стало особым явлением культуры или даже субкультурой. С одной стороны, ходили слухи о перекрытии Крыма для неорганизованных отдыхающих, с другой, – проекты дальнейшего курортного развития предполагали расширить крымские летние возможности до 20 миллионов человек.

Если в первых двух разделах книги охарактеризован массовый стандарт обслуживания курортников, отдыхающих и туристов в Крыму, который с определенными оговорками можно назвать доступным самым широким слоям граждан СССР, то в третьем, обращенном и в наше время, разделе, автор затрагивает иные, более элитные, стандарты обслуживания, в соответствии с которыми была организована рекреация отдельных лиц и социальных групп, занимавших привилегированное положение в советском обществе. Уже во время перестройки возникла «социалистическая предприимчивость» – любой желающий, с соответствующим достатком, мог теперь попасть даже в гостиницу «Интурист» (с. 170).

Сегодня варианты отдыха в Крыму в целом вполне соответствуют социальной структуре общества, как и раньше, – только, конечно, общество уже другое. В Приморском парке Ялты по-прежнему возвышается обелиск в честь декрета Ленина «Об использовании Крыма для лечения трудящихся» (1950). И это при том, что сам парк под напором санкционированного городскими властями курортного самостроя фактически прекратил свое существование. Таких примеров



множество, но подобных проблем, к сожалению, автор не касается.

Книга Алексея Попова не только увлекательна – она полезна в процессе распознавания возможного влияния советского проекта «всесоюзная здравница» на современные процессы в туристско-рекреационной и социокультурной сферах. Тот «ностальгический капитал», который успел сформироваться у нескольких советских поколений, будучи уже несколько раз актуализированным, и сегодня не растрочен до конца.

Рецензии

Схватка за Ближний Восток. Региональные акторы в условиях реконфигурации ближневосточного конфликта

Под ред. АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВА, АНДРЕЯ

КОРОТАЕВА, ЛЕОНИДА ИСАЕВА

М.: ЛЕЛАНД, 2019. – 256 с.



Исторические события «арабской весны» десятилетней давности до сих пор в значительной мере определяют течение ближневосточной жизни. Потрясения той поры затронули буквально все сферы: внутреннюю и внешнюю политику, экономику, культуру, религию. Осмысление этих процессов интенсивно продолжается и сегодня, а недавняя круглая годовщина послужила поводом для публикации как научных статей, так и целых книг, подводящих промежуточные итоги прокатившихся по Ближнему Востоку и Северной Африке преобразований. Рецензируемая публикация как раз из этого ряда: в сборнике из семи статей представлены – причем в логической связи между собой – важнейшие акторы, осваивающие

местное политико-экономическое и культурно-религиозное пространство. Каждый раздел посвящен конкретному региональному игроку, причем в этой роли фигурируют как отдельные страны, так и межгосударственные альянсы. Все авторы сборника имеют солидный академический бэкграунд, давно и активно публикуя страноведческие и регионоведческие труды.

В коллективном труде отразились как новаторские, так традиционалистские подходы к политической динамике рассматриваемого региона. Своеобразной данью советскому политическому востоковедению стало, например, название книги: остановившись на нем, авторы, по сути, утверждают, что за Ближний Восток неустанно ведется горячая битва, участники которой всегда вынуждены выбирать, в каком они лагере. (Кстати, это утверждение выглядит сомнительным лишь до тех пор, пока мы по-манихейски считаем, что таких лагерей всего два.) Сказанное, впрочем, не означает, будто авторский коллектив в полном своем составе убежден, что арабские нации, как и несколько десятилетий назад, почти лишены политической субъектности, а их судьбы до сих пор решаются в Белом доме или Кремле или что Российская Федерация остается таким же мощным игроком на ближневосточном поле, как Советский Союз полвека назад. Ни то ни другое, как известно, уже не верно – и в своих текстах специалисты соглашаются с этим. В конечном счете, из представленной ими мозаичной картины видно, что за ближневосточным политическим кипением стоит не внешняя интрига, а запущенные местные явления: коррупция, избыточная рождаемость, репрессивность авторитарных режимов, социально-экономическое расслоение.

В первой главе («Схватка за Египет») Андрей Коротаев и Леонид Исаев (оба – ВШЭ) анализируют политическую эволюцию после свержения Хосни Мубарака, используя в качестве предикторов происходившие в ней экономические процессы. Из представленной ими картины следует, что государства, исторически поддерживавшие движение «Братья-мусульмане», в 2012 году не ограничились лишь подтверждением политической легитимности режима Мухаммеда Мурси, победившего тогда на президентских выборах. Приводимые в главе цифры красноречиво говорят о том, что Катар и Турция вложили немало средств, стараясь экономически стабилизировать послереволюционный Египет и тем самым упрочить исламистский режим. Их влияние, однако, удалось пересилить Саудовской Аравии, опасавшейся дальнейшего укрепления позиций «Братьев-мусульман». Пообещав египетским военным, планировавшим переворот, крупный государственный заем, аравийская монархия простимулировала в 2014 году новую смену власти. Кстати, бурный рост египетских биржевых индексов накануне вступления армии на политическую арену говорит о том, что о грядущем свержении Мурси заинтересованным структурами было известно заранее – оно довольно долго готовилось. Интересно, что вооруженные силы, сначала молчаливо позволившие свергнуть Мубарака, а потом своими руками отстранившие Мурси и частично реставрировавшие ранее потопленный ими самими «старый режим», следовали единственному принципу: им нужно было безальтернативно удерживать контроль над изрядной долей египетской экономики, традиционно «закрепленной» за людьми в погонах.

Во второй главе («Воинствующая Аравия») исследовательский фокус перемещается на Аравийский полуостров, где ваххабитская монархия весьма жестко отстаивает собственное право на региональ-

ное лидерство. Как отмечает автор главы Леонид Исаев, радикализм и амбициозность обновляющейся саудовской элиты в последнее время ухудшили отношения страны со многими соседями. Помимо ставшего уже системным противостояния с шиитским Ираном, Эр-Рияд в 2010-е столкнулся с целым рядом новых проблем, от решения которых зависит само будущее саудовского государства. Среди прочего, как указывает автор, аравийскому королевству необходимо: а) сохранить у власти сирийского президента Башара аль-Асада; б) благоприятно для себя завершить затяжную йеменскую интервенцию; в) с «сохранением лица» выйти из катарского кризиса; г) гарантировать спокойствие в своих восточных провинциях, населенных шиитами. К моменту подготовки этой рецензии некоторые из упомянутых проблем уже были решены, но другие еще ждут своего часа, и эксперт подробно объясняет, почему важна каждая из них. В главе затрагиваются и экономические вызовы, нервирующие государство-рантье: решительный отказ от нефтяной зависимости, о котором часто рассуждают нынешние власти, рискует сломать привычный уклад жизни – а это в свою очередь может обернуться непредсказуемыми последствиями для всей политической системы. Тем не менее саудовские элиты понимают, что реформирование страны превратилось в жизненно важную и потому неизбежную задачу.

Третья глава («Турецко-катарско-“ихванский” альянс») имеет дело с главным соперником Саудовской Аравии: противостоящим ей союзом Катара, Турции и «Братьев-мусульман». Как отмечают Андрей Коротаев и Тимур Хайруллин (Институт Африки РАН), монархический Катар и республиканская Турция сблизилась на основе общей приверженности умеренному исламу, вдохновляющему также и «Братьев-мусульман». Одной из площадок, где исламизм «умеренный» столкнулся

с исламом «неумеренным», в последние годы стал Египет: свержение президента Мурси, о котором говорилось в первой главе книги, засвидетельствовало поражение альянса Анкары и Дохи от Эр-Рияда и его союзников. На основании богатой фактуры, представленной в главе, авторы раскрывают причины и следствия «катарского кризиса» 2017 года. По их мнению, своеобразным детонатором, спровоцировавшим предельное обострение отношений, стал катарский телеканал «Аль-Джазира», в деятельности которого Саудовская Аравия и равняющиеся на нее силы еще с дней «арабской весны» видели инструмент подрыва собственного политического благополучия. Стойкое предчувствие нового раунда политической нестабильности в исламском мире, разделяемое как политиками, так и экспертами, подтолкнуло тактическую коалицию, возглавляемую саудитами, к попытке изолировать Катар, который среди прочего был обвинен в поддержке терроризма. Но, как показали дальнейшие события, блокада Дохи не смогла разрушить альянс катарцев с турками, который и сегодня остается активным участником конфликтов в нескольких точках Ближнего Востока и Северной Африки.

Глава четвертая («Сирийский кризис») посвящена самому горячему конфликту, тлеющему в регионе уже десять лет, – гражданской войне в Сирии. Написавшие ее Кирилл Семенов (Институт инновационного развития) и Андрей Коротаев анализируют сирийское противостояние сквозь призму описанной в предыдущей главе конкуренции двух лагерей: Саудовской Аравии в альянсе с Объединенными Арабскими Эмиратами и Турцией в союзе с Катаром. Противостояние этих блоков не позволяет сирийской оппозиции, теоретически довольно мощной, консолидироваться, а это снижает ее шансы в борьбе с режимом аль-Асада. Затяжной характер сирийской войны в тексте объясняется именно тем,

что в нее с самого начала вмешиваются сторонние силы. Авторский вывод неутешителен: после многих лет боев позиции вовлеченных в борьбу сторон стали еще более полярными, а «схватка за Сирию еще, похоже, не закончилась» (с. 155).

Йеменский конфликт, которому посвящена пятая глава («Йемен: бесконечная война»), не удостаивается, как правило, столь обширного внимания международных комментаторов и исследователей, как сирийская драма. Подготовившие этот раздел Леонид Исаев и Кирилл Семенов полагают, что мизерная вовлеченность международного сообщества в противостояние в Йемене вредит успокоению этой страны в той же мере, в какой избыточное вовлечение внешних сил в сирийский конфликт тормозит его прекращение. Между тем «маленькая победоносная война» Эр-Рияда с северным соседом обернулась «крупнейшей гуманитарной катастрофой XXI века» (с. 161). Разумеется, ответственность за это лежит не только на Саудовской Аравии, поскольку в йеменской интервенции участвуют и другие страны, например, Объединенные Арабские Эмираты, причем их линия далеко не во всем совпадает с линией союзников-саудитов. Тем не менее наибольшую ответственность за происходящее несет все же Саудовская Аравия, так как именно она, желая стать главным транзитным узлом региона, решила сосредоточиться на безопасности в акватории и на побережье Красного моря. Для этого Эр-Рияду нужно было подчинить Йемен себе; однако захват власти в Сане повстанческим движением хуситов разрушил этот план. На сегодняшний момент итог конфликта не предопределен; однако очевидно, что доминирование в Йемене обходится саудовской династии гораздо дороже, чем она рассчитывала.

В шестой главе («Игра в независимость») Леонид Исаев и Андрей Захаров (РГГУ) поднимают проблему курдов. Этот разделенный народ, рассеянный по нескольким

ближневосточным странам, пока смог добиться политического самоопределения лишь на территории Ирака. Свою автономию Южный Курдистан получил в ходе федерализации этой страны после краха режима Саддама Хусейна в 2003 году. Несмотря на все недостатки нового уклада, он, по мнению авторов, обеспечил главное: сохранил искусственное образование под названием Ирак в нынешних границах. Референдум об отделении Иракского Курдистана от Ирака, который прошел в 2017 году, вызываясь ставил под вопрос успех федеральной модели, но нелепость этой инициативы была только кажущейся. На самом деле голосование в Курдистане было задумано его инициаторами как элемент федеративного торга – иначе говоря, как попытка изменить финансовые и политические правила федерации в пользу автономии. Результат, впрочем, получился обратным ожидаемому: вместо предвкушаемых выгод, курды столкнулись с сокращением федерального финансирования и утратой контроля над спорными нефтеносными территориями, что, несомненно, ослабило их политическую субъектность.

Наконец, заметным игроком на ближневосточном политическом поле выступает Исламская Республика Иран, которой посвящена завершающая глава («Иран и Ближний Восток после “арабской весны”»). Написавшие ее Николай Кожанов (ИМЭМО) и Антон Мардасов (Российский совет по международным делам) отмечают, что к настоящему моменту Иран перенастроил механизмы своей внешней политики: прямое военное вмешательство в дела соседних стран, продолжавшее дело шиитской революции 1979 года, сменилось более широким использованием «мягкой силы». Сегодня иранские власти заинтересованы не в экспорте революционных идеалов, а в формировании действенной оборонительной стратегии, которую можно было бы противопоставить политике США

в регионе. Исключением из этого правила выступает только «шиитский полумесяц», состоящий из граничащих с Ираном территорий: там Тегеран по-прежнему продолжает экспансионистский курс. «Арабская весна» принесла иранским элитам надежду на уход враждебных режимов, однако оптимизм довольно быстро выветрился – в новых декорациях позиции страны оказались слабее прежних. Тем не менее внутренний запас прочности, накопленный теократической системой, далеко не исчерпан: Иран сохраняет значительный вес, и даже внешняя изоляция не слишком сказывается на нем. В условиях санкций выросли уже два поколения иранцев; оценивая перспективы иранского режима, об этом факте стоит помнить.

Правило «черного лебедя», которое в свое время сформулировал Нассим Талеб – в любой момент может произойти все что угодно, – в полном объеме применимо к ближневосточной политике. Но тот факт, что научное предвидение в отношении региона крайне проблематично, вовсе не отменяет попыток познать его. Истина во всей полноте едва ли достижима, но зато приближаться к ней вполне можно. Рассмотренная публикация может оказаться неплохим подспорьем в этом деле.

МАРГАРИТА МЕДВЕДЕВА

Libya's Fragmentation: Structure and Process in Violent Conflict

WOLFRAM LACHER

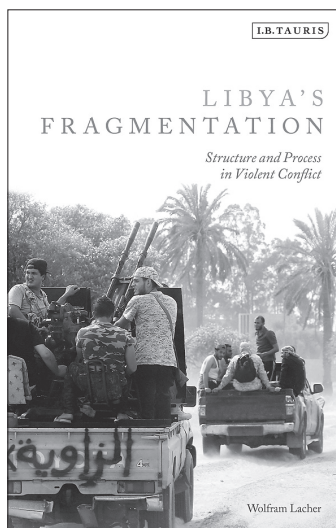
London: I.B. Tauris, 2020. – xii, 304 p.

В отличие от многих других специалистов по Ливии, комплектующих собственное представление об этой стране из новостных сводок, статей и книг, немецкий политолог Вольфрам Лашер изучает ливийский конфликт практически, обобщая и

систематизируя материалы собственных полевых исследований. Как ни удивительно, еще остались африканисты и востоковеды, готовые приезжать в эту несчастную страну; именно на собираемых ими данных, подкрепляемых и дополняемых свидетельствами столь же редких журналистов, по-прежнему рискующих работать в Ливии¹, базируется сегодня вся кабинетная аналитика. После краха Джамахирии Лашер посещал разоренное североафриканское государство не менее десятка раз, организовав более трехсот интервью с участниками ливийского конфликта – более уместно, впрочем, говорить не об одном конфликте, а о целом множестве – в самых разных географических локациях. Собранная им богатейшая фактура, обрамленная к тому же в затейливую теоретическую рамку, делает его книгу бесценной для любого, кто занимается изучением «арабской весны» и ее наследия.

Уже на первых страницах этой работы автор дает Ливии характеристику, послужившую основой для всего последующего повествования: он называет предмет своего исследования «крайним случаем политической, военной, территориальной фрагментации» в современном мире (р. 1–2). Подобная дескрипция естественным образом влечет за собой и череду исследовательских вопросов. Что же, собственно, с Ливией не так? Почему разорвавшие ее на части большие и малые вооруженные группировки столь неукротимы? В чем причины фундаментального истончения социальной ткани, не позволяющего ливийцам находить общий язык друг с другом? Отчего механизмы общественной сплоченности работают только на уровне самых простых и низовых общин, отторгая общегосударственные ее формы? Не разобравшись во всем этом,

невозможно понять, когда же прекратится бесконечная «война всех против всех», с головой накрывшая Ливию после крушения диктатуры Муамара Каддафи. Люди, которые не доверяют друг другу, не могут жить вместе – эта истина банальна в свете как межличностной, так и коллективной психологии. Гораздо менее ясными представляются перспективы «ремонта» социально-политической системы, вдруг прекратившей генерировать социальный капитал.



По мнению автора, атомизация ливийского общества оказалась прямым следствием нескольких десятилетий авторитарного правления, целенаправленно и намеренно разрушавшего связи социальной солидарности, взаимопомощи, ответственности. Кстати, в контексте арабского мира Ливия предстает довольно необычным кейсом, поскольку в ней, на удивление многим неосведомленным наблюдателям, «отец нации» смог разрушить не только тот пласт общественных взаимодействий, на котором базируется гражданское общество, но даже и традиционалистские клановые

1 Великолепным – и столь же редким – примером такой работы стала недавняя книга еще одного немца, корреспондента агентства «Reuters» в Северной Африке Ульфа Лессинга: LAESSING U. *Understanding Libya since Gaddafi*. London: Hurst & Company, 2020. Эта публикация будет действительно интересной и полезной для любого читателя, интересующегося ливийскими реалиями.

структуры. Это весьма интересный пункт, в котором Лашер расходится с большинством специалистов, изучающих Ливию. Многие из них до сих пор именуют эту страну племенным обществом: согласно разделяемой ими интерпретации, трайбализм по-прежнему остается живой реальностью ливийского социума, предопределяя многие его внутренние разломы. С привлечением племенного противостояния предлагается, в частности, анализировать и перипетии нынешней гражданской войны. Согласно этой логике, в эпоху Джамахирии одни племена выступали твердыми «лоялистами», а другие оставались столь же последовательными «диссидентами» – власти же, соответственно, ласкали одних и притесняли других, и поэтому после краха прежней системы племенные группы, по-разному относившиеся к Каддафи, начали неутоlimо сводить счеты друг с другом. Немецкий исследователь отвергает этот подход, считая его примитивным, надуманным и безосновательным. В рецензируемой книге доказывается, что племенной тип лояльности из Ливии давно выветрился: в отличие от кланово-племенных структур, например, Йемена или Сомали, до сих пор не растерявших свою жизненную силу, даже самые заметные и авторитетные ливийские племена предстают скорее бессильными реликтами прошлого, а их шейхи оказываются фигурами политически декоративными и социально бессильными.

Естественно, так было не всегда. В стародавние времена, при Османах, ливийские племена держали под контролем обширные сегменты территории страны, используя их для своей экономической деятельности, что позволяло итальянским захватчикам в 1930-е и сменившей их монархии в 1950–1960-е опираться на племенную верхушку, искусственно раздувая ее значимость и провоцируя среди нотаблей соперничество за доступ к государственным ресурсам и должностям. Тем не менее с середины

XX столетия коллективная собственность племен естественным образом все заметнее вытеснялась частной собственностью отдельных лиц – сначала при монархии, а потом и при республике. К концу 1970-х, когда революционный режим Джамахирии объявил о национализации большей части племенных владений, ливийские племена уже и без того успели лишиться своего экономического фундамента. Согласно немецкому исследователю, они превратились в своеобразные социальные сети, опирающиеся на родственно-соседские узы и пытающиеся приобщиться к распределению бюджетных средств и рабочих мест в государственном секторе, не помышляя о чем-то большем (р. 67–73). Именно в этом, лишенном политического содержания, качестве, их в собственных церемониально-манипулятивных целях время от времени мобилизовал Каддафи; таковыми же по большей части они остаются и сегодня, утратив прежнюю ауру.

«Согласно историческим свидетельствам, даже в прошлые эпохи ливийские племена отнюдь не были монолитными коллективными акторами. А после нескольких десятилетий политики “разделяй и властвуй”, которую проводило революционное ливийское руководство, они еще менее соответствуют этому образу» (р. 73).

Но, если племен больше нет, а государство разрушено, что же тогда? На каком клее держатся в Ливии хотя бы самые рудиментарные формы социального взаимодействия и как реализуются функции общественного контроля? В силу организационных особенностей ислама, не знающего церковной иерархии европейского типа, мусульманская религия способна выполнять такую роль лишь отчасти и условно. В итоге тем стержнем, на который нанизываются все нити конкретных людских жизней, и тем средоточием, где непосредственно реализуются экзистен-

циальные чаяния, оказывается место проживания – соседская община, будь она городская или сельская. Паралич или немота прочих социальных скреп гипертрофировали роль таких общин, одновременно усугубив их обособленность друг от друга. Эта разобщенность поддерживалась и стратегическими условиями гражданской войны, которые задавали каждому местному сообществу собственную конфигурацию угроз, возможностей и неопределенностей, заставлявшую либо отгораживаться от иных игроков, либо, напротив, блокироваться с ними (р. 148). Соответственно, желая гарантировать свое право отделиться или объединиться, общины, причем даже самые мелкие, обзаводились вооруженными ополчениями – нерегулярными маленькими армиями, финансируемыми и руководимыми местными авторитетами. Именно эти локальные милиции и стали главными героями гражданской войны – совокупным генератором того хаоса, из которого Ливия никак не может выйти.

Во время восстания против Каддафи и сразу после него, в 2011–2012 годах, на ливийской территории вызрели сразу несколько центров военно-политического влияния, каждый из которых втягивался в протестное движение по-своему, формировал выраженный социальный, экономический, культурный профиль и был готов к жестокой борьбе за материальное наследство распавшейся Джамахирии. Местные городские сообщества не были похожи друг на друга, а их новая идентичность складывалась ситуационно, подчиняясь перипетиям гражданского противостояния. С начальных стадий социального хаоса локальным мирам ливийских городов приходилось вновь и вновь пересматривать фундаментальные основы своего существования; как пишет Лашер, «в группах, где внутренние и внешние границы перекраиваются посредством насилия, само участие в коллективной борьбе создает новые и

устойчивые сети лояльности, которые связывают индивидов, зависящих друг от друга в обеспечении собственного выживания» (р. 64). Каждое подобное сообщество представляло обособленный нуклеус: между собой их почти ничего не спланивало, они враждовали, мирились и снова враждовали, а главной чертой их сходства оставалось желание защитить свою автономию от посягательств любой центральной власти. Разумеется, такая диспозиция не оставляла так называемому «центральному» правительству в Триполи никаких шансов выступить в роли консолидирующего начала – кто бы его ни утверждал.

Что же все вышесказанное означает для ливийского будущего? По-видимому, ничего хорошего. Гражданские войны, подобные российской или испанской, где на кону оказываются высокие идеалы и великие истины, несмотря на все их ожесточение, заканчиваются, как правило, в какие-то умопостигаемые сроки. В отличие от них, общенациональные конфликты, участники которых борются сугубо за свое местечковое выживание и обеспечение собственной локальной безопасности – как, скажем, было в Колумбии или Гватемале, – длятся десятилетиями. Именно к этой второй категории принадлежит и ливийская война, которая теоретически может продолжаться вечно, насаждая в североафриканской стране что-то вроде нового феодализма. Есть, правда, поправочный фактор, который обязательно нужно учитывать при анализе и прогнозировании: это ливийская нефть. По своему углеводородному потенциалу Ливия относится к богатейшим странам мира, но в настоящее время его использование ограничено условиями гражданской войны. И это весьма нервирует внешние силы, потребляющие нефть и газ Ливии.

В свою очередь их заинтересованность в порядке выливается в активный поиск в рядах ливийских военно-политических игроков того, кто способен прекратить



войну всех против всех и установить в Ливии более или менее консолидированный режим. Именно этот процесс вознес Хаффу Хафтара – полевого командира, сначала обосновавшегося на востоке Ливии, в Тобруке и затем Бенгази, а теперь стремящегося овладеть столицей и, следовательно, всей страной. По мнению Лашера, в отличие от прочих участников «ливийской партии», Хафтар – довольно уникальный игрок. За относительно короткий период с середины 2014-го до конца 2016-го ему удалось стать практически неоспоримым хозяином восточной части Ливии. Его возвышению, как подчеркивает автор, способствовали особенности социально-политического ландшафта того региона, где он набирал силу (р. 179–190). Поскольку та часть ливийской периферии, где находится Тобрук, почти не была затронута противостоянием революционеров войскам Джамахирии, здесь отсутствовала та внутриобщинная сплоченность перед лицом общего врага, которая отличала сообщества остальной Ливии (и о которой говорилось выше), а структуры местного руководства и низовой солидарности были относительно слабыми. Хафтар же с самого начала опирался на мощную внешнюю поддержку – прежде всего со стороны Египта и Объединенных Арабских Эмиратов, – недоступную для прочих групп и группировок, вовлеченных в ливийский конфликт.

Кроме того, незначительное расстояние между Тобруком, где первоначально находился его штаб, и Бенгази – с началом революции этот город стал одним из основных оплотов исламистов – предоставляло ему огромное стратегическое преимущество: с подконтрольной Ливийской национальной армии территории можно было осуществлять бомбардировки позиций ее исламистских противников, а наличие у него самолетов советского производства делало это обстоятельство принципиально важным. Помимо бывших военнослужащих армии

Каддафи, подвергшихся после революции репрессиям джихадистов (например, на улицах Бенгази в 2013–2014 годах бывших офицеров убивали чуть ли не ежедневно) и переживших социальную маргинализацию, его социальную базу составили и сторонники региональной автономии для восточной Ливии, увидевшие в инициативах Хафтара «возможность еще более ослабить центральное правительство и воплотить в жизнь требования собственной повестки», а в нем самом – лишь «временного союзника, которого можно использовать для достижения своих целей» (р. 182).

Обзаведение собственной социальной базой, несомненно, позволило Хафтару консолидировать власть на подконтрольных ему территориях. Во второй половине 2016 года он распустил местные советы в восьми муниципалитетах, включая завоеванный им к этому времени Бенгази, назначив вместо них военных губернаторов. Кроме того, мобилизовав бывших лоялистов Каддафи, он сформировал боеспособные воинские формирования, уровень подготовки и оснащенности которых выше, чем у подразделений его противников. Тем не менее сказанное не означает, что в перспективе Хафтару не придется договариваться с конкурентами. Более того, несмотря на то, что фельдмаршал возвышается над своими соперниками, подобно колоссу, успех его дела никак нельзя считать предрешенным: Ливийской национальной армии по-прежнему эффективно противостоят тысячи и тысячи локальных миров, которые не собираются возвращаться под ярмо новой диктатуры, что подтвердил провал наступления Хафтара на Триполи в 2020 году. Завершая свою книгу, Вольфрам Лашер не дает прогнозов, понимая всю тщету подобного занятия, когда речь заходит о Ливии. Но это ничуть не обесценивает его труда – скорее, наоборот.

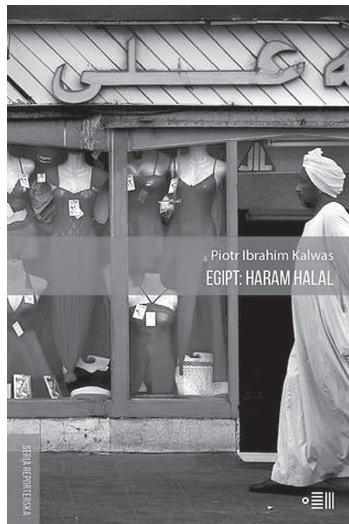
АНДРЕЙ ЗАХАРОВ, доцент факультета истории, политологии и права РГГУ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ЕГИПЕТ

Egipt: Haram Halal

PIOTR IBRAHIM KALWAS

Warszawa: Fundacja Instytutu Reportażu,
2020. – 224 p.



Книга, впечатлениями от которой я намереваюсь поделиться, попала ко мне почти случайно. Между тем эта работа в своей стране уже несколько раз переиздавалась, став признанным бестселлером. Российский же читатель, который нередко любит отдыхать в Египте, ни об авторе, ни о книге ничего – или почти ничего – не слышал. Мне, как человеку, знающему арабский и не только посещавшему Египет многократно, но и задерживавшемуся в нем на месяцы, хорошо известно, что большинство туристов имеют крайне превратное представление об этой стране. Ведь курортный Египет с его профессиональными гидами и вооруженными охранниками очень отличается от Египта настоящего, лежащего за стенами гостеприимных отелей. Он не просто иной – он еще и весьма опасный. При Хосни Мубараке зарубежный гость, ограничивающий свой досуг гостиничными и пляжными развлечениями вкупе с редкими

экскурсиями, мог, в принципе, чувствовать себя беззаботно. «Туристы – наше золото», – любили повторять бывшие правители. Но после потрясений 2011 года ситуация изменилась к худшему. За десятилетие, прошедшее после революции, население Египта увеличилось на двадцать миллионов человек, причем благосостояние граждан никак не успевало за подобными темпами роста. Сегодня очевидно, что «арабская весна» не смогла решить социально-экономические проблемы, десять лет назад вызвавшие социальный взрыв. А это означает, что уязвленный мир множющейся нищеты и неискоренимой безграмотности неизбежно столкнется с миром алкогольной радости, дорогих смартфонов и полуголых женщин.

Петр Кальвас, написавший эту книгу, родился в 1963 году в Варшаве, в католической семье польского адвоката, а потом и политика: его отец в 2004–2005 годах был министром юстиции в правительстве президента Александра Квасьневского. Тем не менее жизнь самого молодого человека складывалась непросто: он бросил университет, жил на случайные заработки, на протяжении трех лет был маляром-нелегалом в Норвегии. Вернувшись в Польшу, Кальвас попробовал себя в телевизионном бизнесе, выступив одним из сценаристов очень популярного в конце 1990-х телевизионного сериала «Семья Кепских». После того, как его перо получило признание, он начал активно путешествовать, печатая свои репортажи в польских СМИ и публикуя книги. В 2000 году, пережив духовный переворот, Кальвас принял ислам, сменив имя Петр на Ибрагим, а в 2008-м вместе с семьей переехал в египетскую Александрию. После публикации в 2015-м книги «Харам халяль», немедленно вызвавшей скандал, он был вынужден покинуть Египет и обосноваться на Мальте.

Книга состоит из 22 репортажей, посвященных конкретным проблемам, с которыми автор сталкивался во время своего про-

живания в Александрии. Безусловно, не все разделы книги интересны и остры в равной мере, но некоторые из них буквально потрясают. В качестве эпиграфа используются слова лауреата Нобелевской премии по литературе, египетского писателя Наджиба Махфуза:

«В Египте большинство людей думают лишь о том, как добыть кусок хлеба; только горстка образованных знает, что такое демократия. Нам нужно перестроить всю социальную структуру Египта и переосмыслить всю нашу историю» (р. 3).

Но возможны ли такое переустройство и такой пересмотр? Многочисленные запреты, ограничения, табу, каждодневно сопровождающие жизнь египтянина, заставляют усомниться в этом. Именно эта теневая сторона египетской жизни, о которой не принято ни писать, ни говорить, оказывается в центре повествования.

Вводя читателя в контекст своих размышлений, Кальвас начинает с описания места своего проживания – александрийского района Рушди, расположенного на берегу моря и населенного в основном семьями среднего класса. Из окна квартиры на одиннадцатом этаже автор наблюдает не только за плещущимися в море дельфинами и странным, «похожим на Хемингуэя» соседом, который «каждый день, словно забывшись, выходит голым на балкон», но и за ежедневными авариями на набережной Эль-Корнеш – главной транспортной артерии города. Как правило, египтяне не пользуются подземными переходами, а просто перебегают дорогу перед мчащимися машинами: «Если будет на то воля Аллаха, то не сойдут». Водят автомобили по тому же принципу:

«Несутся по разбитой улице с неимоверной скоростью, без ремней безопасности и целыми семьями погибают от столкновения с фонарным столбом. Но это, собственно, не считается аварией – таков мактуб» (р. 36).

Понятию «мактуб», которым обозначается безоглядное препоручение собственной жизни Аллаху, в книге отводится отдельная глава. Запредельный фатализм, играющий колоссальную роль в мирозерцании египтян, представляет собой удобный способ избавиться от ответственности как за себя, так и за других. Все дурное, неприятное, нежеланное, происходящее в жизни египтян, заносится в этот разряд: *мактуб*, так было решено Аллахом в миг человеческого рождения.

То же самое магическое слово произносят и в тех случаях, когда египетская девочка умирает от заражения крови после обрезания, произведенного грязными инструментами. *Хитан*, или женское обрезание, – практика, на удивление широко распространенная в современном Египте. За ней в свою очередь стоит дискриминация женщин по гендерным признакам, а также откровенное превращение их в объекты унижения или насилия. В процессе воспитания египетским юношам внушают, что они гораздо выше девушек, у которых в свою очередь будет единственное предназначение – улаживать мужчину. Кальвас цитирует известного египетского проповедника:

«Ислам запрещает мужчинам интересоваться женщинами вне брака, ведь женщины влекут на пути зла. Поэтому большинство из них в аду. Когда женщина одна выходит из дома, то ее неизменно сопровождает сатана» (р. 101).

Из подобных установок и родился варварский обычай, имеющий целью лишить женщину возможности наслаждаться сексуальным актом. Ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, Кальвас сообщает, что в нынешнем мире около 130 миллионов женщин подверглись той или иной разновидности женского обрезания. Наибольшую часть жертв этого обряда составляют африканки, причем каждая пятая из них египтянка. Хотя в декабре

2012 года Генеральная Ассамблея ООН признала женское обрезание нарушением прав человека, а официально его запретили практически повсюду, включая и Египет, – «никого это не волнует» (р. 103).

Сами египтянки не слишком готовы обсуждать эту тему: Кальвас с трудом находил собеседниц, которые соглашались ему помочь, – контакты с ними оставались в глубокой тайне. Его, однако, поддерживали активистки египетских либеральных и феминистских движений. В книге представлены несколько душераздирающих историй тех женщин, которые прошли через *хитан*. Одной из героинь, которой сейчас семьдесят лет, операцию сделали дважды: мол, с первого раза удалили «мало». По ее рассказам, такое бывает часто. Несмотря на пережитые мучения, своих дочь и внучку эта женщина тоже велела обрезать (р. 107). Подробное повествование другой собеседницы Кальваса просто нельзя читать спокойно:

«Я хорошо все помню. Я играла с куклой, которую мне подарили на день рождения. Дома было много теток, бабушек, двоюродных сестер. Они смотрели на меня, гладили по голове, шептались между собой. И вдруг все эти женщины ворвались в мою комнату, схватили меня за ноги и руки. Не понимая, что происходит, я кричала, кусалась и вырывалась. Помню, что отец и братья отвернулись лицом к стене, когда меня выносили. [...] Женщины приволокли меня в другое помещение, где уже ждала знахарка в никабе, с ножом в руке. [...] И она, и остальные женщины шептала суры из Корана. Меня бросили на кровать, крепко удерживая, а мама засунула мне между зубов деревяшку. Потом я почувствовала невероятную, непередаваемую боль, [...] и потеряла сознание. Когда пришла в себя, мама сидела возле кровати и гладила меня по голове. Я крепко держала подаренную куклу, которая была в крови. Мне тогда было восемь лет» (р. 112).

Автор, потрясенный обычаем, о котором до поездки в Египет мало что знал, не ме-

нее поражен странным противоречием: более 70% египтянок в ходе социологических опросов высказываются против истязания девочек, но при этом около 90% из них, будучи «обрезанными», продолжают следовать страшной традиции в собственных жизненных практиках. Зачастую операция проводится по инициативе матерей или бабушек – и без ведома отца или деда, если речь идет о египетской семье прогрессивных взглядов.

«Необрезанную девушку никто не возьмет замуж, и этот факт делает обрезание неизбежным. Жестокая материнская месть за себя, искалеченную, маскируется благородным намерением уберечь дочь от безбрачия и бесчестия. О хитане в Египте не принято говорить и в нем стыдно признаваться. Но при этом через него прошла едва ли не каждая девушка, а после “арабской весны” операцию стали проводить даже чаще, чем раньше» (р. 118).

Проблема женского обрезания затрагивает и европейские страны. В Европейском союзе, имеющем крупные сообщества выходцев из мусульманских стран, «летучие» бригады арабских «врачей» или просто знахарей проводят операции на дому. Законодательное запрещение подобной практики на территории ЕС пока не дает должного эффекта.

Прочитав главу «Женский ад», которая стала в книге одной из центральных, начинаешь лучше понимать египетскую метаморфозу, произошедшую с самим Кальвасом. Если в первые годы пребывания в Александрии он обожал Египет, то позже глубоко возненавидел эту страну:

«Сначала была любовь, за которой пришла ненависть. То же самое случилось у меня и с мусульманством. Я прошел путь от восторга через головокружение до пробуждения, пока не обрел собственную духовность, которую я называю “исламом”, но которую многие не считают таковым» (р. 36).

Поясняя свою мысль, автор говорит, что тот ислам, который он встретил в Египте, оказался фундаменталистским и традиционалистским, абсолютно не приспособленным к современности. В древности не раз бывало так, рассуждает Кальвас, что одна цивилизация мучила другие. Сейчас эту роль принял на себя мусульманский мир, опирающийся на то, что каждый четвертый житель планеты является мусульманином. К счастью, по словам автора, исламу не позволят одолеть ни христианскую, ни конфуцианскую культуры. Кроме того, его ни в коем случае нельзя ассоциировать только с беженцами или радикалами: в исламе есть совсем иная традиция, связанная с суфизмом, и именно на ней Кальвас основывает свои надежды на мусульманство будущего – мирный ислам, которого сейчас слишком мало.

Пока же в паспортах граждан Египта есть графа «религия», а за атеизм в этой стране можно быть приговоренным к смертной казни. Особенно строго общество относится к мусульманам, решившим сменить религиозную принадлежность. Автор с негодованием пишет о двойных стандартах, бытующих в этой сфере:

«Коптам, которые переходят в ислам, государство предоставляет охрану, зато для мусульман, которые примут христианство, египетское законодательство предусматривает несколько лет тюрьмы. И если их не убьют сокамерники, то это сделает семья, когда вероотступник выйдет на свободу» (р. 174).

Безусловной монополии религиозного мировоззрения не мешает даже распространение образования. Автор с иронией рассказывает о враче-салафите, который, обучившись на Западе, осматривает пациентов только через одежду и при обязательном присутствии их родственников – не забывая читать свежую медицинскую периодику и поддерживать контакты с кол-

легами из США. Рука об руку с подобными медиками работает другая ветвь «исламской медицины»: шейхи и муфтии, разъясняющие, «какие стихи Корана помогают от диареи, а какие – от запора» (р. 178).

Подводя читателя к теме греховного и праведного, важнейшей для повествования, автор рассказывает следующую историю. Во время поездки с проводником-египтянином Петр-Ибрагим, случайно перепутав, выпил воду из чужого стаканчика. Реакция оказалась незамедлительной:

«Ахмет заметно сник. Он тайком вылил оставшуюся на дне жидкость и больше не пил, потому что чистые стаканчики кончились; бутылка же ему не годилась, так как мусульмане не пьют из сосудов с длинным горлышком. Налить в использованный стаканчик он тоже не мог, потому что не был уверен, что тот после меня не стал нечистым. Конечно, парень мог ополоснуть стаканчик, чтобы смыть мою нечистоту, но, видимо, боялся меня обидеть. Вот так я невольно обрек правоверного на жажду в жару» (р. 187).

Именно такие парадоксы и вобрало в себя название книги: «Египет: харам халяль».

Харам – греховное и потому запрещенное, *халяль* – благое и потому разрешенное. Примечательно, что на обложке между этими словами нет знаков пунктуации. Автор тем самым заранее уведомляет читателя, что граница между ними очень размыта. Например, молодая жительница Александрии, которая выходит на улицу с покрытой головой, а также в джинсах и водолазке, откровенно подчеркивающих достоинства ее фигуры, но благочестиво закрывающих при этом все тело, вполне впишется в категорию «халяль». Однако ее соседка, надевшая закрытое и просторное платье, но зато забывшая покрыть голову, немедленно получит ярлык «харам». Салафит, владеющий парфюмерной лавкой, никогда не продаст женщине флакончик духов, поскольку традиция

предписывает ей «пахнуть только собой», чтобы не соблазнять мужчин. Вместе с тем если от нее пахнет не слишком приятно, то это, безусловно, *харам*. Необходимость учитывать все эти тонкости делает жизнь египтян и египтянок весьма непростой.

Парадоксальные запреты и предписания, диктуемые религией, проявляют себя повсеместно. Скажем, ислам предписывает заботиться обо всех животных. Но при этом делается исключение для собак черной масти, которые считаются порождением дьявола: «Их следует убивать, не прикасаясь, лучше всего камнем». У подобного пса, впрочем, остается какой-то шанс, поскольку, если он требуется вам для охраны стада, то его «можно покрасить, чтобы не был черным» (р. 12, 14). Но вот у животных, отобранных для участия в египетской версии праздника жертвоприношения Ид аль-Адха, такого шанса нет. Тем дням, когда вопли забиваемых животных терзают слух, а кровь течет по городским улицам, как вода, автор посвящает отдельную главу. Жестокость местных праздничных обыкновений угнетает Кальваса: по его мнению, она высвобождает в египтянах самое дурное, что есть в человеке. Автор также подчеркивает, что в разных мусульманских странах этой традиции следуют по-разному – и Египет в плане обращения с жертвенными животными отличается от других не в лучшую сторону. Кроме того, ему кажется, что эта особенность египетской жизни связана и с некоторыми другими, весьма неприятными и довольно специфическими чертами египетского мирозерцания.

Изучая египетские нравы, Кальвас обратил внимание на то, что многие египтяне, причем даже образованные, сегодня отрицают Холокост и восхищаются Гитлером. Это, полагает он, не удивительно, если вспомнить, что немало нацистов бежало после разгрома «рейха» в арабские страны. Авторитарные и националистические режимы арабского мира, утверждаемые

деколонизацией, приветствовали их с распростертыми объятиями: бывшие гитлеровцы обращались в ислам, получали арабские фамилии, становились организаторами местных армий и разведок. Египет не стал исключением: его национальный лидер Гамаль Абдель Насер предоставлял немецким беглецам видные должности. По свидетельству автора, военные, политические, психологические травмы, нанесенные арабскому сознанию сионистами, оборачиваются тем, что в Египте ни на одной школьной карте Израиля нет вообще: на его территории отмечаются только Палестина и Иерусалим. А вот там, где должны располагаться Яффа, Хайфа, Эйлат или Тель-Авив, изображена пустыня – та самая пустыня, которая, собственно, и была там семь десятилетий назад. И, разумеется, никто из художников, писателей, ученых еврейского происхождения не удостоился упоминания в египетских учебниках для государственных школ.

Многие мусульмане ненавидят евреев и Израиль, а некоторые из них и сегодня с удовольствием читают книгу «Mein Kampf», неоднократно переведенную и опубликованную на арабском. Автор рассказывает, что в Египте люди не раз спрашивали его о Холокосте: они были уверены, что это еврейская выдумка, поскольку так их учили в школе и мечети. Памятным для Кальваса стал тот день, когда он показал одной египтянке, не верящей в Холокост антисемитке, фильм об уничтожении евреев в годы Второй мировой войны. Женщина не смогла сдержать слез. Разумеется, говорит автор, есть мусульмане, которые не верят в антисемитский бред, – но таких меньшинство. Большинство же привыкло обвинять евреев, Израиль и Запад во всех недугах и провалах собственного общества. Хотя, по ироничному замечанию автора, израильско-американские интриги ничуть не мешают египтянам хотя бы просто убрать мусор на собственных, отнюдь не всегда аккуратных, улицах.

Отсутствие элементарных удобств и бытовая неустроенность, постоянно бросающиеся в глаза, причудливо сочетаются с навязчивой и показной демонстрацией достоинства и благочестия. С огромным почтением, например, в египетском обществе воспринимают мужчину, у которого есть *зибиба*. В перевод с арабского это слово означает «изюминка». Так именуется темная, похожая на мозоль, отметина на лбу правоверного, которая постепенно появляется у того, кто на протяжении многих лет по несколько раз в день бьет челом о ковер, забываясь в смиренной молитве. Содранная кожа и лопнувшие сосуды, таким образом, как бы свидетельствуют о крайней набожности; в Египте это что-то вроде почетной стигмы. Кроме того, *зибиба* выполняет и мирскую функцию. В консервативных средах мужчина с «изюминкой» на голове считается лучшим кандидатом для брачного союза. По свидетельству автора, отыскивая для себя подходящую женщину, египтянин порой «подкладывает под ковер камень – ведь только Аллах видит, – и зарабатывает серьезную «изюминку» в рекордно короткий срок» (р. 32). Понятно, что среди передовой египетской молодежи подобные практики не могут вызывать ничего, кроме насмешки. «Я не верю, что твоя *зибиба* настоящая» – так назвала одну из своих песен работающая в стиле *death metal* александрийская группа «Blood of Sphinx». Впрочем, ниспровержение исламских анахронизмов в таком косном обществе, как египетское, молодежной субкультуре явно не по силам.

Автор убежден, что единственная разновидность полезной критики – та критика, которой занимаются любя. Он, по-настоящему увлеченный Египтом иностранец, искренне пытается разобраться в многочис-

ленных антиномиях этой страны. Однако примириться с египетскими реалиями удается далеко не всегда. И дело не только в том, что *харам* и *халяль* пребывают в сложнейших диалектических взаимоотношениях, способных порой запутать местного и свести с ума приезжего. Египет и меняется, и не меняется одновременно, а недавняя революция, с которой поначалу связывали столько надежд, очень быстро обернулась подъемом новой ортодоксальности, агрессивной и фаталистичной, отторгающей любые полутона. И, следуя за автором, с полным основанием можно утверждать: «страна фараонов» еще не раз удивит нас. Вопрос лишь в том, не окажется ли это удивление шоком отчаяния или ужаса.

Очень жаль, что книга Петра Кальваса, в Польше переизданная уже не раз и номинированная на национальную литературную премию «Ника», до сих пор недоступна российскому читателю. Замечу, что написанная другим польским журналистом аналогичная книга о «неизвестной» Турции – тоже, кстати, претендовавшая у себя дома на премию «Ника», – не только издана на русском языке солидным издательством, но и стала чрезвычайно популярной². Между тем Египет вот-вот откроется для россиян заново; самое время было бы подготовиться к долгожданному визиту.

РЕЗА АНГЕЛОВ

Организация территории России в 1917–2007 гг.: идеи, практика, результаты³

Владимир Круглов

М.: Институт российской истории Российской академии наук, 2020. – 480 с. – 500 экз.

2 Шабловский В. *Убийца из города абрикосов. Незнакомая Турция – о чем молчат путеводители*. М.: АСТ; Corpus, 2015.

3 Рецензия подготовлена в рамках исследования, осуществленного при поддержке Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

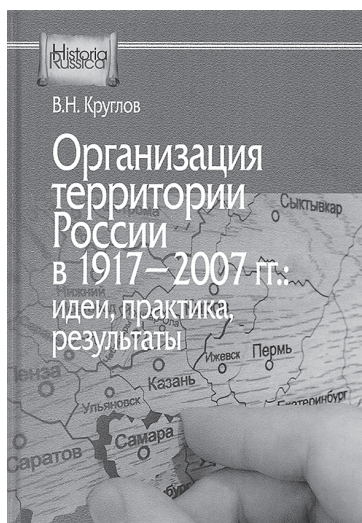
В 2020 году вышла в свет монография старшего научного сотрудника Института российской истории РАН Владимира Круглова. В фокусе автора – эволюция административно-территориального деления (далее – АТД) РСФСР на протяжении девяноста лет. Это далеко не первая работа по истории реформирования территориального устройства России, однако ей есть, чем удивить читателя. Научное сочинение отличается фундаментальностью, беспристрастностью изложения и впечатляющая источниковая база.

Монография состоит из двух частей, внутренним хронологическим рубежом для которых выступает 1987 год, каждая часть разделена на три главы. Работа снабжена удобным научно-справочным аппаратом: подробные географический и именной указатели позволяют быстро находить интересующие сюжеты. Отследить процесс трансформаций удобно по 18 картам: административно-территориального деления РСФСР в период ключевых изменений (1917-го, 1923-го, 1931-го, 1941-го, 1949-го, 1957-го, 1994-го и 2008 годов), формирования границ советских Украины, Белоруссии и Средней Азии в постреволюционное десятилетие, а также экономического районирования страны (1922-го, 1958-го, 1963-го и 2008 годов).

В основе книги лежат три проблемных блока: административно-территориальное деление страны, проекты экономического районирования и национально-государственное устройство. Сквозь призму хронологической перспективы автор показывает, как эти элементы – отдельно и в совокупности – влияли на формирование административно-политической карты России и определяли внешние и внутренние границы.

Процесс реформирования отличал синтетический характер совмещения европейских подходов с «отечественными нововведениями», главным среди которых автор

считает принцип этнического федерализма (с. 425). Еще одной ключевой особенностью является расхождение между провозглашаемым и практикой, что «проявилось в гибридности государственного устройства», когда при федеративной форме содержание соответствовало принципу унитаризма.



Книга дает возможность проследить развитие идей преобразования АТД России в историческом контексте начиная с дореволюционного периода до начала XXI века. В монографии представлен анализ нескольких сотен проектов и инициатив, поступавших от государственных деятелей, научного сообщества, лидеров политических партий, обычных граждан и религиозных лидеров. Все они предлагали свои варианты решения вопроса, который сформулировал еще в 1818 году статистик, географ и историк Константин Арсеньев: «Как выделить административно-территориальные единицы так, чтобы в их границах происходило развитие?» (с. 30), поиск ответа на который длится до сих пор. В основе большинства предложений лежали идеи «укрупнения» или «разукрупнения» регионов, а также принцип экономического районирования, сформулированный еще в 1920-е, к которому неоднократно возвра-

щались как на протяжении всего XX века, так и на современном этапе. Но, как неоднократно подчеркивает автор, бурные дискуссии 1970-х – начала 2000-х, как и предложения со стороны научного сообщества на протяжении всего рассматриваемого периода, практически не влияли на курс власти.

Трансформации АТД в многонациональном государстве не могли не затронуть интересы этносов, его населяющих. В монографии уделяется значительное внимание изучению политики в отношении национального вопроса. Объективные условия – разбросанность этносов на обширных пространствах России, их смешанное расселение – предопределили комплекс проблем при организации нового административно-территориального устройства. Власти столкнулась с необходимостью преодолевать сепаратистские тенденции, формировать официальную позицию относительно дискуссий в партии о национальном самоопределении, урегулировать территориальные споры. И сохранять хрупкий баланс сосуществования разных этносов удавалось не всегда – не обошлось без грубых ошибок и компромиссных решений, которые давали о себе знать спустя десятилетия, когда «стабильное обострение ситуации [...] вылилось в открытые конфликты рубежа 1980–1990-х годов» (с. 430).

Автор обращает внимание на то, что уже после распада СССР власть, оставаясь идеологически индоктринированной, не захотела пересмотреть уже не соответствовавшую новым экономическим реалиям территориальную сетку АТД. Представители новой политической элиты – в результате многолетнего воздействия пропаганды – были людьми, которые не смогли «отбросить старую модель мышления, неотъемлемой и важнейшей составляющей которой являлось представление “об успехах ленинской национальной политики”» (с. 431). Сохранение советского варианта устройства АТД

отвечало также требованиям региональных политических элит. Автор обоснованно предостерегает от возможности повторения «геополитической катастрофы» распада страны на отдельные республики, так как Российская Федерация сохранила принципы советского административно-территориального устройства (в том числе в развитии региональных, прежде всего этнополитических, элит (с. 432)), что может привести к повторению сценария 1991 года.

Интересным открытием для многих читателей может стать информация о процессах суверенизации, происходивших в постсоветский период в регионах европейской России, которым в исследовательской литературе уделялось значительно меньше внимания, чем территориям Урала, Сибири и Дальнего Востока:

«Самое громкое выступление подобного рода имело место летом 1993 года, когда руководители “русских” субъектов Федерации потребовали соблюдения равноправия субъектов Федерации, предоставив им статус республик со всеми атрибутами (“государственностью”, “суверенитетом” и т.д.)» (с. 296).

Идеи обретения независимости после распада СССР подхватили саратовцы, где «весной 1992 года на сессии малого Совета Саратовской области прозвучала идея образования Саратовской республики» (с. 295). В январе 1993 года нижегородский областной Совет «заявил о возможности либо провозглашения на территории области независимого государства, либо выражения недоверия правительству, изымавшему огромную часть прибыли для финансирования автономий». Весной 1993 года прозвучало предложение объединить Москву и Московскую область в республику Московию; в апреле того же года после проведения референдума областной Совет провозгласил создание Вологодской республики (с. 296).

В данном вопросе интересно отношение жителей регионов к процессу повышения его статуса: от поддержки на стадии референдума (88,3% «за» в Вологде) до безразличия к «возне, затеянной властями», связанной с законодательным оформлением суверенитета. Так, в день, когда губернатор Эдуард Россель выступал по местному телевидению с изложением основных положений конституции новой Уральской республики, «телефоны редакции были... раскалены от звонков негодующих телезрителей; они протестовали против того, что... “шоу Росселя” задерживало трансляцию... футбольного матча» (с. 297). Автор подчеркивает, что после того, как эти идеи были отклонены федеральным центром, со стороны населения не последовали «ни демонстрации, ни другие массовые акции протеста» (там же).

Главной особенностью процесса организации территории России стала борьба двух концепций – «укрупнительной» и «разукрупнительной». Автор проделал большую работу, проанализировав доводы сторонников и противников каждого подхода, тезисно изложив их основные идеи (с. 366–371), а также выделил ключевых акторов этих процессов на уровне центра и регионов.

В работе получили подробное освещение процессы укрупнения субъектов Федерации

начала XXI века, когда, вместо заявленных радикальных изменений, реформы отличала как раз осторожность. Автор уделил большое внимание ходу и результатам референдумов в укрупняемых регионах, а также действиям власти по изменению общественных настроений. Примечательно, что идея укрупнения не встретила широкой поддержки населения в регионах Сибири и Дальнего Востока, в то время как нашла живой отклик у региональных лидеров центральной России. Первопроходцем стал губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, предложивший объединить свой донорский регион с регионами-реципиентами – соседними Костромской и Ивановской областями (с. 346). Также рассматривались варианты «объединить Тульскую и Рязанскую области в единую Приокскую губернию, создать субъект Федерации на основе [...] Липецкой и Воронежской областей» (с. 347).

В заключение хотелось бы отметить, что работа будет интересна самому широкому кругу читателей, которые, безусловно, получают удовольствие от знакомства с ней.

Галина Егорова, научный сотрудник
Международной лаборатории региональной
истории России Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа
экономики»

Summary

The 136th *NZ* issue addresses a number of topics, spanning a wide range of subjects in humanities and social sciences. Although these topics belong to different fields, one can nevertheless trace certain links between them.

The issue opens with *NZ ARCHIVE*, a section featuring a chapter from *"Russian Purge and the Extraction of Confession"* by Frederick Beck and William Godin, first published nearly 70 years ago. The authors – a German physicist of Dutch descent and a Soviet Ukrainian historian, both of them had survived the Gulag and ended up in the West after the war – hid their identities under pseudonyms to analyze various theories invented to explain possible reasons behind the Stalinist purges: versions they had learned from friends, acquaintances and fellow inmates. Such theories helped a number of Soviet citizens, the majority of them dedicated Communists, to find some rationale for the mass repressions inflicted by the state on its own people. Almost forgotten today, Beck and Godin's book once played an important role in establishing an entire branch of Sovietology and was widely quoted in works on Stalinism that have come to be considered classics.

The chapter was translated by Alexander Kustarev, the author of our regular column *POLITICAL IMAGINARY*, whose essay is published alongside the excerpt. In *"Crisis in a Crisis-Free Society"*, Kustarev builds on the work of the socio-

logist Max Weber and his followers to construct a "theory of purges" that can to some extent be seen as further developing the arguments of Beck and Godin.

The theme is continued in *SOCIOLOGICAL LYRICS*, in which Aleksey Levinson attempts to rationalize another political and social psychological phenomenon: the repressive line taken by the Russian authorities lately and the society's attitude towards this new, pragmatic stage of authoritarianism.

Over the recent years, animism has gained popularity as a school of thought, provoking lively discussions in some philosophical circles. The relationship between the mechanical and the human; philosophy of things; dynamic links and entanglements between things; a possibility to animate them – all these notions, to some degree, continue the old tradition of "Nature vs. Culture" debates and even the mediaeval discussions around *natura naturans* and *natura naturata*. This range of subjects is the focus of the section "ENTANGLEMENTS: ANIMISM AND THE LIFE OF LINES". It begins with a seminal article by Tim Ingold, a professor of anthropology at the University of Aberdeen. As well as providing an introduction to the subject, *"Bringing Things to Life: Creative Entanglements in a World of Materials"* also defines a set of ideas on which to build in subsequent discussions. Denis Shalaginov further develops some of Ingold's themes, while Evgeny Kuchinov concentrates on the idea of what is known as techno-animism.

Finally, another classic in this field, Isabelle Stengers, a professor at the Free University of Brussels, proposes to “reclaim animism”, going beyond conventional philosophical notions and concepts in her article.

This section is complemented by the articles in which relationships between the technical and the human (as well as between the technical and the natural) are interpreted in a more traditional key, mostly using the language of cultural description and analysis. “ENTANGLEMENTS: BY WAY OF AN AFTERWORD” comprises two essays, beginning with “*Darwin among the Machines*” by the late 19th-century English writer Samuel Butler. Although relatively unknown in Russia, this brilliant polemicist is famous, among other things, for his critique of technological progress and Darwinism. The translator Vladislav Degtyarev expands on Butler’s essay in his own piece, developing the notion of contrast/entanglement between the mechanical and the historical. Philosophical theories of science – those essentially leave unanswered the question of the so-called “scientific truth” – are at the centre of a conversation between Richard Marshall, a regular *NZ* contributor, and Steven French, a professor at the University of Leeds.

The theme of entanglements between Nature and Culture (the latter understood as the political here) is further developed in some sense in the next section of this *NZ* issue. “THE ARAB WORLD AMID THE PANDEMIC, DESACRALISATION AND WAR” opens with a key article by the German historian, political scientist and essayist Stefan Weidner, whose title speaks for itself:

“Virus and Terror: On Unspoken and Frightening Similarities between the Coronavirus Crisis and the War on Terror”. The other two pieces in the section – “*The Kingdom of Morocco, the Bureaucratization of Islam and a New Arab Spring*” by Andrey Zakharov and Leonid Isaev and “*The Social Politics of the Taliban and Hezbollah as a Way to Legitimize These Movements*” by Margarita Medvedeva – examine the specifics of the socio-political and ideological situation in certain Arab countries of the Maghreb, the Middle East and Central Asia. The section is thematically linked to a conversation between Dmitry Ermoltsev and the orientalist Rustam Shukurov.

Another theme explored in the 136th issue is marginal movements and manifestations in postwar Soviet culture, both official and underground. To accommodate this subject, we have made a slight change to the title of one of our regular columns: POLITICS OF CULTURE appears in this issue (and only this once) as POLITICS OF (SOVIET) CULTURE. It contains Vadim Mikhailin’s piece on hidden gnostic and mystical motifs in Andrey Tarkovsky’s diploma film “*The Steamroller and the Violin*”, and on the historical and cultural circumstances behind them. Igor Smirnov offers a brief survey of the Moscow Conceptualist school, interpreting the work and (self-) reflections of its artists through their attitude towards avant-garde art and thought.

The issue traditionally concludes with a NEW BOOKS section, which features, among others, a piece by Alexander Lyusiy: a detailed review of Aleksey Popov’s socio-economic and political history of Crimean resorts.

www.eurozine.com

The most important articles on European culture and politics

Eurozine is a netmagazine publishing essays, articles, and interviews on the most pressing issues of our time.

Europe's cultural magazines at your fingertips

Eurozine is the network of Europe's leading cultural journals. It links up and promotes over 100 partner journals, and associated magazines and institutions from all over Europe.

A new transnational public space

By presenting the best articles from the partner magazines in many different languages, Eurozine opens up a new public space for transnational communication and debate.

The best articles from all over Europe at **www.eurozine.com** **eurozine**

**Оформить подписку
на журнал можно
в следующих агентствах:**

«Подписные издания»:
подписной индекс П3832
(только по России)
<https://podpiska.pochta.ru>

«МК-Периодика»:
подписной индекс 45683
(по России и за рубежом)
www.periodicals.ru

«Экстра-М»:
подписной индекс 42756
(по России и СНГ)
www.em-print.ru

«Ивис»:
подписной индекс 45683
(по России и за рубежом)
www.ivis.ru

«Информ-система»:
подписной индекс 45683
(по России и за рубежом)
www.informsystema.ru

«Информнаука»:
подписной индекс 45683
(по России и за рубежом)
www.informnauka.ru

«Прессинформ»:
подписной индекс 45683
(по России и СНГ)
<http://pinform.spb.ru>

«Урал-Пресс»:
подписной индекс: 45683
(по России и за рубежом)
www.ural-press.ru

**Приобрести журнал
вы можете в следующих
магазинах:**

В Москве:
«Московский Дом Книги»
ул. Новый Арбат, 8
+7 495 789-35-91

«Фаланстер»
М. Гнезниковский пер., 12/27
+7 495 749-57-21

«Фаланстер» (на Винзаводе)
4-й Сыромятнический
пер., 1-6 (территория ЦСИ
Винзавод)
+7 495 926-30-42

«Циолковский»
Пятницкий пер., 8
+7 495 951-19-02

В Санкт-Петербурге:
На складе издательства
Лиговский пр., 27/7
+7 812 579-50-04
+7 952 278-70-54

В Воронеже:
«Петровский»
ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а
(ТЦ «Петровский пассаж»)
+7 473 233-19-28

В Екатеринбурге:
«Пиотровский»
ул. Б. Ельцина, 3
(«Ельцин-центр»)
+7 343 312-43-43

В Нижнем Новгороде:
«Дирижабль»
ул. Б. Покровская, 46
+7 831 434-03-05

В Перми:
«Пиотровский»
ул. Ленина, 54
+7 342 243-03-51